

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

**ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА**

Главный редактор:

**М. Н. ЩУКИН**

Редакционная коллегия:

**Н. М. Ахпашева (Абакан)**

**А. Г. Байбородин (Иркутск)**

**П. В. Басинский (Москва)**

**А. В. Болдырев (Курск)**

**А. В. Кирилин (Барнаул)**

**В. М. Костин (Томск)**

**А. К. Лаптев (Иркутск)**

**Г. М. Прашкевич (Новосибирск)**

**Р. В. Сенчин (Екатеринбург)**

**М. А. Тарковский (Красноярск)**

**М. В. Хлебников (Новосибирск)**

**А. Б. Шалин (Новосибирск)**

**Владимир Титов**

ответственный секретарь

**Максим Долгов**

начальник отдела художественной литературы

**Марина Акимова**

редактор отдела художественной литературы

**Лариса Подистова**

редактор отдела художественной литературы

**Михаил Косарев**

начальник отдела общественно-политической жизни

**Дмитрий Рябов**

редактор отдела общественно-политической жизни

**Кристина Кармалита**

редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Ю. С. Лаврова

Верстка: О. Н. Вялкова

**5/2019**

## Содержание

### ПРОЗА

- Елена ЛОБАНОВА. Свет в конце июня.** Главы из романа. .... 3  
**Михаил ПОЛЮГА. К строевой годен.** Повесть. *Окончание.* ..... 65  
**Олег ЛУЗАНОВ. Непридуманная война.** Рассказы. .... 116

### ПОЭЗИЯ

- Елена БЕЗРУКОВА. Неразученные дни.** Стихи. .... 60  
**Мария ФРОЛОВСКАЯ. Новогоднее серебро.** Стихи. .... 112  
**Александр РУДЕНКО. Жасминовый чай.** Стихи. .... 125  
**Елена ФЕДОТОВА. «А дня еще много...»** Стихи. .... 128

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Екатерина КРАСАВИНА. Всюду он брал меня с собой...**  
Главы из воспоминаний. .... 131

#### *Народные мемуары*

- Валентин КРАСНОГОРОВ. Крысы.** Фрагмент воспоминаний. .... 153  
**Илья СТЕФАНОВ. Атланты.** ..... 159

### КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Александр БОЙНИКОВ. Голгофа или воскресение?**  
*Размышления над прозой Василия Килякова.* ..... 178

#### *Книжная полка*

- Владимир ЯРАНЦЕВ. И быль, и сказка.** ..... 184

- Коротко о книгах* ..... 186

#### *Картинная галерея «Сибирских огней»*

- Евгений МАЛИКОВ. «Неизвестный солдат» Евгений Иванов.** ..... 188

- Авторы номера* ..... 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Елена ЛОБАНОВА

## СВЕТ В КОНЦЕ ИЮНЯ

Главы из романа

### Кабинет — лицо учителя

Под конец весенних каникул Вероника собралась-таки вымыть окна в кабинете.

Весна нынче не спешила наступать. Тормозила, как говорят дети. В последние годы вообще запаздывали то осени, то весны. К тому же носились упорные слухи о конце света, в газетах мелькали зловещие предсказания, а какой-то ископаемый глиняный календарь заканчивался июнем текущего года. Еще счастье Вероники, что она не успевала вникать во все судьбоносные подробности — так, побаивалась изредка, урывками.

Но этот день выдался прямо-таки зловещим — хмурым, ветреным. Стекла в старых деревянных рамах дребезжали особенно унылыми головами. Глухо бухала створка в среднем окне, лишенная шпингалета и удерживаемая здоровенным кривым гвоздем.

Вероника обреченно оглядела верхние стекла. Мыть их приходилось стоя на подоконнике, однако и тогда она доставала лишь до середины. Настроение отравляли еще и шторы, когда-то бежево-золотистые, а ныне тускло-коричневые. Давно, давно пора было их снять и постирать, а еще лучше заменить на кружевные гардины, уже облагородившие добрую половину классов.

Собравшись с духом, она вскарабкалась на стол, придвинутый к подоконнику. Снизу доносился бодрый стук мяча и отчаянные вопли:

- Макс, Макс!
- Давай, блин!
- Да ты че, козел?!
- Ма-акс!!!

Учительский слух привычно напрягся, отлавливая недозволенную лексику. Но никаких подозрительных буквосочетаний как будто не долетало — по крайней мере, на четвертый этаж. Почему-то явилась мысль: а доводилось ли ей хоть раз в жизни вот так орать во всю глотку? Ничего похожего не припомнилось. Выходит, что ни разу в жизни. И теперь уже вряд ли доведется...



Со смутной досадой она покосилась вниз, и в этот момент дверь отворилась и в проеме возникла фигура завуча.

В первую минуту завуч Ольга Олеговна и литераторша Вероника Захаровна обменялись чисто женскими взглядами. Вероника оценила костюм-двойку цвета сливок — из тех, что красуются на манекенах в витринах бутиков и позволить себе которые может только женщина со статусом Ольги. Ольга же Олеговна лишь скользнула глазами по Вероникиным брюкам и свитеру, подробно изученным и коллегами, и учениками. Взгляд ее остановился на голубом флаконе с остатками «Мистера Мускула». Вот сейчас, сейчас она шагнет в класс, осмотрится и закричит, как на двоечницу: «Да что же это такое? Опять все в последний день!»

Завуч вошла в класс, посмотрела на Веронику снизу вверх и спросила:

— Что же ты родительницу никакую не вызвала? Вон в началке ма-маши так окна намыли, смотришь — и как будто ни одного стекла! — Подумав, посоветовала: — Ты возьми веник, оберни чистой тряпкой и хорошенько так между верхними фрамугами — раз-раз! Чтоб всю паутину в углах обобрать. Все-таки кабинет, сама знаешь...

— ...лицо учителя! — виновато закивала Вероника.

Ольга тоже кивнула и вышла.

Вероника перебралась сперва на стол, а уж потом на пол.

Вообще-то Ольга Олеговна сама была ее родительницей. Матерью Машки Степановой из пятого «А». Интересно бы начальница смотрелась на подоконнике! Усмехнувшись дикой мысли, Вероника дернула дверцу шкафа с уборочным инвентарем и нашарила кривенький, выдавший виды веник.

Тут раздались сексуально пришепетывающие вздохи певицы Бейонсе — телефонный сигнал, который Вероника никак не могла упротить Маришку сменить на нормальную музыку. Звонила подруга Светка, бывшая историчка, а ныне менеджер торговой фирмы.

— Ты чего, в школе до сих пор? — осведомилась она. — Все сеешь разумное-доброе-вечное? И все неурожай?

— Ну! — уныло подтвердила Вероника. — Окна же надо когда-то мыть.

— И лучше в последний день каникул! — подхватила Светка. — Нет бы расслабиться, подругу на кофе позвать... Кстати, помнишь, как Людка в спортзале окна мыла, тоже на каникулах, и какой-то бывший второгодник приперся отношения выяснять? Типа она его летом в трудовом скакалкой по рукам била. Так Людка с окна слезть боялась.

— Это ты к чему? Я никого не била! — отреклась Вероника.

— Неважно. Двойки ставила? Ну вот. Так что подумай на всякий случай: в школе люди еще есть, нет? Охрана? А то смотри, подруга...

— Да ну тебя! — разозлилась Вероника. — Шуточки! Ко мне Ольга только сейчас заходила. Не отвлекай, тут еще паутину обирать!

Но обирать паутину оказалось не судьба. Не успела она снова вскарабкаться на стол, как дверь опять распахнулась и на пороге появилась Проблема — школьная жалобщица номер один.

Проблема, она же мать Катьки Суриковой, своим прозвищем гордилась. И даже сама рассказывала: на работе заметили, что в ее присутствии портится аппаратура — отказывает принтер и зависает компьютер.

— Здра-а-авствуйте, Вероника Захаровна! — протянула Проблема тем тоном, каким няня говорит малышу: «Так во-о-от где ты спрятался!»

Она со всеми учителями общалась как строгая няня с неразумными детьми. И вновь состоялся мгновенный обмен взглядами, при котором Веронике Захаровне не было спущено ни растянутого ворота свитера, ни стоптанных каблучков, ни забывших о маникюре ногтей. Все это в доли секунды умудрилась разглядеть Проблема сквозь модные очки а-ля Хакамада. Весь ее облик: короткая стрижка, воинственно приподнятый подбородок, белоснежный воротничок, а ниже нечто строгое, облегающее (тренч или френч, Вероника вечно путала) — все напоминало знаменитую политикессу. Правда, в неуловимо провинциальном варианте.

— Здравствуйте, Алла Юрьевна, — пробормотала Вероника, в который раз покидая рабочее место.

О том, чтобы закончить уборку, нечего было и мечтать: у Проблемы явно имелись собственные планы. И действительно, она оповестила с вызовом:

— А я по поводу математики! Директор у себя?

— Да... то есть нет. Там какое-то совещание в департаменте... Но здесь Ольга Олеговна!

По лицу Проблемы пробежала гримаса.

— Ладно, пойдемте, — задумавшись на секунду, распорядилась она. И, не дожидаясь Веронику, повернулась и зацокала к выходу.

Вероника побрела следом, гадая: удастся ли Ольге устроить как-нибудь так, чтобы родительница выпустила весь пар в кабинете и не отправила жалобу куда повыше? Тем более что жаловаться, строго говоря, было на что. И не в одном пятом «А» родители недоумевали, роптали и даже грозили различными карами молоденькой математичке. Ибо та позволяла себе на уроках не только болтать с учениками о моде, эстраде и жизни звезд, но и — неслыханно! — обсуждать с детьми учительскую зарплату.

О том, какой скандалище сейчас грянет, Вероника боялась даже думать. Просто уныло плелась вслед за Проблемой вниз по лестнице. Догнать и идти вровень как-то не получалось. И так, сохраняя дистанцию, они спустились на второй этаж, пересекли рекреацию и приблизились к приемной.

Вдруг в дверях розовым шифоновым ангелом явилась секретарша Лидочка с утешительным известием:

— А Ольга Олеговна ушла! Буквально минут пять назад.

Вероника уже обрадовалась было избавлению от скандала, как он таки разгорелся. И вызвал его жалобный Лидочкин вскрик:

— Женщина! Ну не надо так дергать ручку! Замок же в кабинете только починили.

Разъярил ли Проблему сам факт отсутствия завуча или ей вздумалось испытать прочность свежепочиненного замка, но дверь она тряхнула так, что эхо пошло гулять по этажам.



Лидочка вздрогнула и еще раз пискнула слабо:

— Женщина...

И вот тут-то Проблему прорвало.

Ключевым словом в ее монологе было «хамство». Относилось оно как непосредственно к секретарше, так и ко всему учебному заведению, в котором к людям обращаются — хамство! сплошное хамство и бескультурье! — по половому признаку. (А по какому же к тебе обращаться, успело мелькнуть у Вероники в голове. По имущественному? Социальному? Дама? Госпожа? Ваше величество?) А еще в учебном заведении, продолжала азартно Проблема, сотрудники уходят с работы когда им вздумается, хотя и на работе-то от них толку никакого, судя по тому, что она слышит об этой школе. Которую ей есть с чем сравнить, поскольку сама она училась не в какой-то там захолустной, а в центральной английской, всем известной и лучшей в городе двадцать седьмой школе!

Услышав это, Вероника встала удивленно:

— Надо же! И я там...

Но Алла Юрьевна уже вернулась к школе данной, куда имела несчастью отдать единственную дочь и где детям преподносятся уроки хамства. А также уроки ханжества и лицемерия. Вот именно, ханжества и лицемерия!

На этом месте Веронике удалось не то чтобы подтолкнуть ее к двери (на такое с Проблемой никто бы не осмелился), но произвести вокруг некие пассы, сопровождаемые ритуальными возгласами типа: «Ну что вы так?.. Зачем же?.. Давайте обсудим... Да-да, в нашем кабинете», в результате которых родительница была препровождена из приемной обратно в рекреацию, а оттуда к лестнице.

На площадке Проблема сделала в монологе трехсекундную паузу и перевела огнеметный взор на Веронику. Человека неподготовленного такой заряд испепелил бы на месте. Однако Вероника Захаровна недаром провела в школе пару десятков лет. Поэтому не успело еще отгулять в лестничном пролете громовое: «А что касается *ваших* уроков...», как на лице ее установилось то терпеливое выражение, с каким учитель выслушивает попытку двоечника пересказать поэму Лермонтова «Мцыри». И с этим выражением лица Проблема была мягко отеснена вверх по лестнице вплоть до четвертого этажа.

За это время до сведения классного руководителя было доведено, что всем известно, сколько времени она, Вероника Захаровна, уделяет на уроках классным делам в ущерб учебному процессу, и что многие способные дети хоть и знают правила, однако совершенно не научены их применять, а по литературе не читали не только «Кавказского пленника», но и «Муму», и вина в этом, безусловно, не детей, а учителя, не умеющего заинтересовать ученика своим предметом. Тут и достигли кабинета литературы.

Здесь, в родных стенах, можно было перевести дух. Но Вероника вдруг ощутила в ногах дрожь — видно, сказалось напряжение от высотных работ — и буквально рухнула на стул.

Между тем Сурикова, похоже, только входила во вкус.

— А ваши любимчики? Да все дети в курсе, кто у вас любимчики и любимицы! — выкрикивала она, в пылу гнева совершенно утрачивая сходство с Хакамадой.

— И кого же вы имеете в виду? Очень интересно, — внешне невозмутимо спросила Вероника, зачем-то трогая бутылочку «Мистера Мускула».

— Ой, да вы прекрасно знаете! И все дети знают. И про незаслуженные пятерки, и про кучу отличников, — подступала к ней Проблема, сверкая очками.

— Детям иногда нужно давать шанс... И укреплять их веру в себя... Особенно при спорной оценке, — слабо возражала Вероника, вертя в руках голубой флакон.

— И особенно Маше Степановой! Что, неправду я говорю? — приблизившись вплотную, прожигала ее Проблема яростным взглядом.

— Вы про дочку Ольги Олеговны? — уточнила Вероника неизвестно для чего.

— Именно! Или, может, в вашем классе две Маши Степановых? — ядовито справилась оппонентка.

Тут Вероника собралась с силами и возразила даже несколько вызывающе:

— А вы что же думаете — дочке завуча все медом помазано? Да у меня самой, если хотите знать, мама была завуч! И что хорошего? В школе ни вздохнуть ни охнуть! А попробуй тройку принеси! Домой вечно в восемь часов тащились, когда техничка выгонит... Я уже у мамы в кабинете и уроки сделаю, и все книжки на полках перечитаю, а она все с расписанием сидит. Да вы ее должны помнить, вы же в двадцать седьмой учились? Оксана Георгиевна.

Проблема внезапно откочнула назад. А расширившиеся глаза, на оборот, словно выдвинулись вперед.

— Вы? — шепнула она и прокашлялась. — Вы... ты... дочка Оксаны Георгиевны?

Вероника поджала губы и промолчала. Проблема отступила еще на шаг.

— То есть, получается, та самая Ника? Нет, честно? Которая... ну, все эти стихи, и лучшие сочинения, и приз на конкурсе... «Слово о родном городе», да? Нам литераторша читала! Так это вы и есть?

Слова Проблемы в кабинете с неомытыми окнами звучали каким-то фальшивым аккордом. Как жестокий романс на расстроенном рояле.

Вероника криво улыбнулась, вздохнула и привычно отчиталась:

— Мама сейчас в Питере, ее брат к себе забрал. Квартиры на одной площадке. Здоровье пока ничего. Даже до сих пор занимается с учениками.

— Ну конечно! Такой преподаватель! — не удивилась Проблема. — Передайте ей привет, ладно? — И вдруг спросила совершенно не своим голосом: — А меня ты... вы... не помните? Я классом ниже училась. Меня еще Алка Оторва звали!

Она сняла очки и смотрела на Веронику умоляюще.

— Н-нет... Или подождите... Ваш класс у Галины Федоровны учился?

— Точно! Наш! — вскричала Проблема.

— Которую Галифе называли?!

— Галифе! — хихикнула она.

— И она еще на уроках говорила: «Здравствуйте, мои дорогие... и дешевые!»

— Ну! И все считали — так и надо.

Теперь уже Вероника недоверчиво разглядывала Проблему. И с изумлением обнаруживала: светлые распахнутые глаза, девчачья счастливая улыбка. Она моргнула, всмотрелась еще раз. И тогда медленно, как проявляющийся снимок, проступило: двадцать седьмая школа, юность, Галифе, ансамбль «АББА», учителя, одноклассники... И прошлое сомкнулось вокруг магического кольца.

— Ничего себе... Вот так встреча! Это... лет двадцать пять назад, получается? Четверть века?

— Ну да... Не меньше.

— Ничего себе! А вы... ты... линейки наши помнишь? В большом зале?

— Еще бы не помнить! И пионервожатую! Гнусавая такая...

— «Чилдрэн! Этэншн!»

— Ну! Ха-ха-ха!

— А вечера в школьной форме? В белом фартучке, при полном освещении!

— Ну! И сравни теперь... да?

— Ой, не говори! Ха-ха-ха!

— А как макулатуру собирали? Металлолом? Соревновались, переживали...

— Праздник! Лучшие дни жизни. Лучшие!

— А у нас окна выходили на старый универмаг...

— ...и там сверху надпись: «Лом переплавим».

— Слушай, ну у тебя и память! А я как-то пыталась вспомнить — не могу.

— Просто я не понимала, что это такое — «переплавим». У нас туда окна в первом классе выходили.

— И как я тебя сразу не узнала? Учитель литературы, понятное дело! И голос точно Оксаны-Георгиевны... В тебя еще наш Лешка Косов был влюблен.

— В меня?! Что за Лешка?

— Ой, ну главный клоун, рыжий, весь в веснушках! Он тебе еще стих посвятил. Не помнишь, что ли? «Май лав, май дрим...»

— А, этот... Так он же смеялся. Прикальвался.

— Да ничего не прикальвался! Просто открытая душа... Сейчас, кстати, в медакадемии английский преподает. Толстый-претолстый, ужас! Я ему говорю...

— Ольга Олеговна у себя. Она ждет вас.

Это были слова из другой жизни. И произнес их человек, в прошлом не существовавший. И даже не подозревавший об этом прошлом. И тем



самым как бы уничтожавший его. Тоненькая и стильная Лидочка в розовой кофточке, с модной стрижкой рваными прядями стояла в дверях и холодно смотрела на Проблему.

И Проблема тут же выпрямилась, приподняла подбородок а-ля Хакамада и, глянув на Веронику посуровевшим взором, распорядилась:

— Пойдемте! — И зацокала каблучками к двери.

Но не успела Вероника со вздохом приподняться, как цоканье замедлилось, приостановилось и голос не Аллы Юрьевны, а пятнадцатилетней Алки произнес участливо:

— Хотя ладно, Вероника Захаровна! Я сама. Вы уж... У вас, наверное, свои дела. Подождите, вернусь — помогу окна помыть.

И напоследок Вероника успела поймать изумленный Лидочкин взгляд.

### Языковая среда

Все действия в жизни Вероники делились на обязательные и произвольные.

Действия обязательные были логичны, целесообразны и нацелены на конкретный практический результат, как то: купить картошки, проверить сочинения или отвезти Туську в музыкальную школу.

Действия же произвольные не только не преследовали конкретных целей, но и отличались явной бессмысленностью. Например, вместо темы «Судьба деревни в творчестве Есенина» объяснять детям особенности хореографии Айседоры Дункан. Или, изучая «Евгения Онегина», инструктировать их, как правильно гадать по Пушкину.

Почему-то большинство бессмысленных действий приходилось на утро среды. Возможно, причина таилась в расписании: первым уроком там стояла литература в одиннадцатом, а дальше зияло пять «окон» в первой смене и три во второй. Гуляй — не хочу! И лишь напоследок слегка портили настроение два русских в параллельных шестых.

Видимо, эта грядущая свобода и ударяла с утра ей в голову. Однако среда нынешняя как будто ничего опасного не предвещала. Первый урок прошел себе тихо-мирно, с вялым устным опросом и письменным — то бишь списанным из учебника — ответом. Со звонком Вероника собрала тетради «нечитающих», чтобы обеспечить накапливаемость оценок. О «читающих» она не беспокоилась: у них оценки накапливались сами собой.

Впрочем, понятие «читающие дети» в последние годы сильно изменилось. Уже смутно помнилось, что когда-то водились в природе настоящие фанаты книги, с вечным затрепанным томиком в сумке и распухшим, черканным-перечерканным картонным формуляром в библиотеке. Эти загадочные существа с головой погружались в море печатных знаков и моментально осваивались среди героев, чувствуя себя как дома в чужих временах и странах. Книжка кончалась слишком быстро — вот единственное, что заботило их!

В тот золотой век книгами дорожили, как сокровищами. Их искали, дарили, покупали на последние деньги или, на худой конец, выпрашивали



на денек. Их берегли как зеницу ока, оборачивали компрессной бумагой или чертежной миллиметровой и закладывали самодельными закладками. Ради них забрасывали уроки, портили глаза и отношения с родителями, опаздывали в кино и даже забывали о свиданиях. И были родители, всерьез сокрушавшиеся, что «этому бездельнику только бы читать»! И были — да! да! — классные руководители, горячо уверявшие какую-нибудь хорошистку, что она, мол, и так достаточно начитанна для своего шестого класса и вполне можно бы оставить книги хоть на полгода, дабы подтянуть алгебру с геометрией и, глядишь, выйти-таки в отличницы.

О золотое читательское время! Оно ушло по-английски, не прощаясь. Просто на вопрос, читали ли они «Тома Сойера» или «Тимура и его команду», дети стали мяться и отводить глаза. О масштабах проблемы Вероника не догадывалась, пока в один прекрасный день не задала пятиклашкам сочинение (хотя какое в пятом классе сочинение — так, подюжины предложений) на тему «Как я представляю путешествие на Марс». Горькая правда открылась, когда она отправилась в учительскую проверять: у нее как раз было окно. Уселась поудобнее, раскрыла первую тетрадь... и отложила. Открыла вторую, третью, десятую... Эти дети не знали, что такое Марс! Зато ели батончики «марс» и «сникерс». И коряво фантазировали на тему сладкой жизни. Цитировали рекламу: «Не тормози — сникерсни!» Некоторые прибавляли от себя: «И марсни!» Другие простодушно решили, что Марс — зарубежное государство курортного типа, и собирались там плавать в море или кататься на лыжах... Под конец проверки Вероника впала в ступор. Понятно, что пятиклашки еще не учили астрономию. Но существует же фантастика — любимое отороческое чтение! Хотя... любимое ли?

Еще несколько лет она наблюдала, как растет это новое поколение. Можно даже сказать, что она сама его и растила. И учила. Вот только приучить читать — нет, не удалось.

Эти как-то умудрялись обходиться без книг. То есть не то чтобы отвергали их — нет, без сопротивления осваивали программу по литературе, а иногда даже проявляли любопытство к иным изданиям. Только вот для этого должны были сложиться особенные условия. Например, мороз градусов под тридцать, так чтоб в школе отменили занятия, а гулять на улице было слишком холодно. Или проливной дождь и телевизор барахлит. Тогда уж волей-неволей возьмешься за книгу.

А читающими уже считались те, кто осилил пару романов сверх программы да к тому же помнил фамилии авторов. Учителя хватались за головы... но только лет пять — десять, пока не подросли следующие читатели. И пока не появились компьютерные игры. А там и Интернет подрос.

Вот тут-то и спохватились: батюшки, кто ж у нас из читателей остался?! А оказывается, уже никого. Все поголовно в соцсети «ВКонтакте» сидят. В стрелялки играют. В крайнем случае дивиди смотрят. Кто помладше — мультики. Кто постарше — боевики и ужастики. Самые озабоченные — порно.

Делать на уроках литературы стало нечего. Пересказывать классику Вероника не умела. Читать вслух, как в избе-читальне? Так вроде бы она

не актриса. И опять же, всеобщая грамотность на дворе. И некоторым образом учебный план не позволяет.

Так и вышло, что читающими ныне стали лишь слегка знакомые со школьной программой. С некоторыми названиями и сюжетами в кратком изложении. Ну и с фамилиями авторов.

Отдельной строкой, правда, шли книги супермодные: для этих делалось какое-никакое исключение. Как-то вдруг все бросились искать Пауло Коэльо. И некоторые даже сгоряча одолели «Алхимика» или что попало под руку, благо объем небольшой. А через пару лет накупились на Пелевина — этого, впрочем, осилил мало кто. Вероника пробовала разговаривать с осилившими, однако не получилось. Разговор свелся к вводным словам и междометиям: «Ну, вообще-то, круто... типа, как бы... э-э... знаете, это не расскажешь».

Вообще, с годами Вероника все больше любила предмет русский язык. Особенно в средних классах. И теперь, стоя на троллейбусной остановке, почти что с нежностью размышляла о приставках «пре» и «при» — сегодняшней теме в шестых.

Хотя до этой темы предстояло еще дождаться десятки, доехать до рынка, подыскать кусочек говядины с косточкой — чтоб и на борщ, и на второе — и, вернувшись домой, приготовить этот самый борщ и второе. А потом отвезти Тусю в музыкалку и, естественно, не опоздать на свои уроки. Десятка между тем показываться не спешила.

День опять выдался пасмурный, серый, будто заспанный. Погода по-прежнему не спешила расщедриться на тепло и ласку. Только ветер украдкой доносил первый слабый цветочный аромат. Значит, где-то все же зацветали деревья. Эта мысль успокаивала. Хоть что-то свежее в застоявшемся мире.

В сумке завздыхал мобильник, и Вероника привычно кинулась шарить среди тетрадей и книг. Телефон, словно дразня, никак не давался в руки.

— Ма, — без разгона затараторила Маришка, — у нас в школе сегодня уборка территории, мы участок уже вскопали, я пришла домой! Могу организовать обед. И Туську в музыкалку отвезти. Ма! Ты слышишь?

— Так, — молвила Вероника озадаченно.

Старшенькая то и дело озадачивала ее. А может, она просто с трудом поспевает за бегом молодых мыслей?

— А что ты... организуешь?

— Ой, ну что-нибудь... Короче, найдем там. В крайнем случае можно растворимую вермишель. Я смотрела — три штуки осталось. Со вкусом бекона.

— Со вкусом бекона, — пробормотала Вероника. — А я уже на рынок еду, хотела говядины купить на борщ...

— Ну и купи! На завтра, — разрешила дочь. И опять зачастила: — А потом, когда Наташку обратно привезу, можно я вечером на «Волну» схожу? Ненадолго, мам, честно!

— К неформалам? — в страхе вскрикнула Вероника.



«Волной» в городе именовался некий подвальчик во дворе комитета молодежи, где поочередно находили пристанище бездомные музыкальные коллективы, непризнанные поэты и самозванные команды КВН, а также загадочный исторический клуб, к которому с недавних пор примкнула ее дочь. Носились слухи, что в этом клубе застукали компанию с марихуаной, после чего подвальчик закрывали на полгода на ремонт. Может, это были только слухи. Может, правда на ремонт. Но осадок у родителей, как говорится, остался. Тем более что с тамошними неформалами грозились разобратсья некие скинхеды...

— Ну к каким еще неформалам? — взвился в трубке Маришкин голос. — Все нормальные ребята, мы просто музыку там слушаем! И фильмы обсуждаем. И книги.

— Ты же говорила, это исторический клуб, — удивилась Вероника, вспомнив, что так и не собралась почитать эти самые книги — Толкина, что ли.

— Ну да, и исторический тоже... В общем, я тебе потом объясню. Так ты не против? Папа меня отпустил!

Спорить с Маришкой у Вероники не хватало энергии. И опять же, скорости аргументации. Вот, пожалуйста — уже и отца уговорить успела.

— Но... смотри только! Чтобы не позже девяти... А уроки? Уроки?! Марина!

— Да говорю же, ничего не задали! Уборка у нас была. Ну все, пока, мам!

Надпись на экранчике сообщила о завершении вызова. Вероника тупо изучала черные буквы на голубом фоне, пока окошко не погасло.

И в эту секунду произошел сбой в ее собственной программе. Вместо того чтобы совершить ясное и четкое действие — сесть в десятку, которая как раз вперевалку подплывала к остановке, — Вероника выбралась из толпы и бросилась навстречу совершенно другому троллейбусу, что подкатил следом. С разгону миновав две первые двери, свернула к последней, куда и была внесена мощным пассажирским потоком.

Зачем понадобилась ей тройка, набитая больше обычного по случаю удлинения маршрута до стадиона «Спартак»? Никто, разумеется, не задавал этот вопрос, ответа на который не существовало в природе. Жаждающие достичь стадиона, а также предшествующих остановок решительно отгиснули ее к заднему окну. И она покорно припала к мутному стеклу.

Как обычно после произвольного действия, Вероника ощущала восторженное головокружение, словно математик, которому после тяжких умственных усилий удалось-таки решить сложнейшую задачу. И, словно долгожданную формулу, с радостным изумлением рассматривала она убегающие дома и улицы.

Хотя рассматривать было особенно нечего. Деревья еще не облагородили зеленой каймой окраинный южнорусский пейзаж. Дома уплывали вдаль двумя лоскутными линиями, то выглядывая друг из-за друга углом или кусочком крыши, то бесцеремонно заслоняя соседей массивным фасадом. Устало терпели свою долю поблекшие пятиэтажки советских времен, сбившись в стайки и стараясь держаться подальше от хозяев новой

жизни — холеных светлых гигантов с зеркальными окнами и монументальными лоджиями. Дальше пошли одноэтажные кварталы. Стесняясь самих себя, там доживали век ветераны прошлого столетия — кирпичные, блочные, а то и саманные сооружения размером с сарай, стыдливо укрывшиеся за ветхими заборчиками. Но порой ошеломлял взгляд белый либо алый терем о трех этажах, с узорчатыми оконными решетками и величественной лестницей, ведущей не иначе как в боярские палаты!

Маршрут между тем подходил к концу. Троллейбус пустел. Не успела Вероника присмотреть местечко у окна, как кондукторша с облегчением выкрикнула: «Конечная!» — и оставшаяся группка пассажиров была низвергнута на тротуар. И только теперь пришло в голову: а что тебе, собственно говоря, понадобилось на конечной остановке? Да еще в такой низине, чуть ли не в яме?

Вообще-то Вероника была уверена, что ее родной город стоит на ровном месте. Однако приходилось верить глазам: эта остановка напоминала дно гигантского салатника. По возвышенным краям его располагались: с одной стороны перекресток со светофором, с другой — стадион «Спартак», чьи стены просматривались за чахлым сквериком. Натужно ревя, выбирался из этого углубления троллейбус. Все дома здесь имели цоколи узкие с высокой стороны и подрастающие по направлению к остановке. Довольно странно это выглядело.

И было еще до странности тихо и безлюдно. Хотя чего ожидать от окраины города? На минуту Веронике все же стало не по себе. Словно кто-то заманил ее в западню. Загнал в волчью яму.

Но уж это сравнение ей самой показалось неуместным. Тем более что вокруг уже обнаружили признаки жизни. Хлопнула дверь магазина «Продукты 24 часа» — выходит, и ночью здесь спят не все! А вон бежит, постукивая палочкой, шустрая бабулька, небось спешит забрать внучка после тренировки. Нет, свернула не к стадиону... Пойдите-пойдите, а это что за вывеска? Неужто книжный магазин? Так и есть: надпись зелеными буквами — «Книголюб», и в широком окне пестрят книжные полки.

Вот подарок так подарок! Теперь-то понятно, зачем понадобилось ей тащиться в этакую даль. Чтобы убедиться, что остались еще на свете легендарные существа из далекого прошлого — книголюбы. И сейчас она, Вероника, увидит воочию такое существо, а может даже несколько таких существ!

Радость подхватила ее и перенесла на ступенчатое крыльцо. Дверь перед ней распахнулась сама, без всякого мускульного усилия. И в следующую же минуту она увидела двоих *читающих!*

Это были мужчина и женщина. Пара. Возможно, семья. А может быть, сотрудники или просто приятели. Но даже со спины в них прослеживалось общее. И это общее было — книга. И разумеется, стояли они возле стеллажа с табличкой «Современная литература».

Веронике показалось, что где-то (в мечтах? в другом книжном?) она уже видела эту пару, вот именно эту: он — высокий, худощавый и, само собой, интеллигентный с ног до головы, она — достойная спутница, одетая неброско, но со вкусом — чего стоил только жемчужно-серый шарф,

с картинной небрежностью намотанный поверх пальто! И даже со спины оба выглядели какими-то особенными, породистыми — да, точно! Через плечо у мужчины висела на длинном ремне плоская сумка-планшет — в такой могла размещаться, например, папка с чертежами. Конструктор? Дизайнер? И конечно, фанат художественной литературы. И они что-то увлеченно обсуждают — вот бы послушать! Естественно, не вмешиваясь в разговор, а между делом, рассматривая что-нибудь по соседству...

Она потянулась к ярко-красному книжному корешку, и в этот момент что-то щелкнуло и покатило по полу. Ее пуговица от куртки! Вероникины вещи время от времени преподносили сюрпризы.

Двое машинально обернулись. Вероника быстро нагнулась за пуговицей, пряча лицо. Никто, впрочем, не собирался ее разглядывать. Разговор продолжался.

— ...горы макулатуры, — донесся внятный голос интеллигентного конструктора. — Буквально тонны! Я не в силах представить, из каких соображений они берутся за перо. Имея в анамнезе закупорку мыслей и недержание слов. Особенно женщины за сорок. Из тех домохозяек, которые так и не научились готовить.

— Кстати, графомания нередко сочетается с психическими отклонениями, — молвила спутница, — существует такая статистика. Главный признак — неспособность оценить собственный текст.

В следующее мгновение тело Вероники произвело энергичное произвольное действие в направлении двери. Очнулась она метрах в двухстах от магазина — у ограды стадиона, за пушистым укрытием вечнозеленых насаждений. Ее рука уже набирала знакомый номер.

— Светка, — выговорила она дрожащим голосом, — представляешь, тут в магазине Святослав!

— А кто это? — осведомилась на том конце. — Твой бывший?

— Ты что, забыла?! — рассердилась Вероника. — Это человек, который загубил мою жизнь!

## Орфограммы в приставках

В шестом «А» стояла сосредоточенная тишина. Синхронно двигались разноцветные шариковые ручки, и головы синхронно склонялись над партами. Это были благоднейшие минуты урока. Нежные тени ресниц лежали на детских лицах. Чистые, серьезные глаза отражали движенье мысли.

— Прекрасный день, — диктовала Вероника. — Приветливые лица, примерное поведение, преподать урок, преемственность поколений, прилежные ученики...

Ей нравилось звучание собственного голоса — спокойное и даже немного напевное.

— Принять участие в состязании, превзойти соперников, превосходный результат, преуспеть в делах, претворить мечты в реальность...

Краем глаза она зафиксировала какое-то постороннее, не относящееся к процессу письма движение. Покосилась вправо, вниз... и не пове-

рила себе. Левая рука Славки Белобородова тихо ползла по колену Дашки Сосновой. Она перемещалась неспешно, но уверенно, по направлению от периферии к центру — туда, где колени сжимались. Глаза обоих были устремлены в тетради, правая Славкина рука невозмутимо выводила слово за словом.

«Координация-то какая, — машинально отметила Вероника. — И буквы ровные... И что теперь? Дневник на стол? Тащить к директору?»

Пауза затягивалась. Поток словосочетаний иссяк. Дашка подняла на нее ясные глаза примерной ученицы. Со Славкиной рукой на коленях.

— Прескверное воспитание, — наконец пробормотала Вероника. — Искусное притворство, прискорбный факт, непристойное поведение...

Урок продолжался как ни в чем не бывало. Дети писали. Глаза отражали движение мысли. Но что это были за мысли?

А, например, географичка Татьяна, услышав на уроке мат, выволокла мальчишку в коридор. «Ты что думаешь — я этих слов не знаю?» — сказала. — Ошибаешься!» И выложила ему весь свой ненормативный запас. И помогло! Больше при ней не ругался.

Только вот у Вероники сейчас слов не нашлось. Видно, плохо готовилась к уроку. И лексикон бедноват. Да и соображает слишком медленно. Туго.

Позади скрипнула дверь и раздался отчетливый шепот:

— Вероника Захаровна!

Подруга Светлана со времен работы в школе имела обыкновение явиться поболтать посреди урока. И никогда прежде эта вредная привычка так не радовала Веронику.

— Открыли учебники! — встрепенулась она и устремилась к двери. — Упражнение двести шестнадцать — самостоятельно. Вставить буквы... Вернусь — проверю на оценку. — И грозно оглянулась на прескверно воспитанную пару.

На душе сразу стало легче. Такой уж человек была Светка — легкий. Легкая походка и всегда какой-нибудь развевающийся шарфик или летящая юбка. Или, как сегодня, цветастая накидка с прорезями для рук. Если бы Вероника увидела такую на ком-нибудь другом, точно приняла бы за карнавальным костюм. А на Светлане все сидело стильно и весело.

— Ты чего помятая какая-то? — заметила глазастая Светка и, не дождавшись ответа, распорядилась: — Давай рассказывай! Про своего рокового мужчину. Как он тебя погубил. Я прямо волнуюсь! Специально поговорить захала.

Взгляд ее, окруженный равномерным черным излучением ресниц, горел живым интересом. Вероника растрогалась. Прямо скажем, немногие люди приехали бы в школу специально поговорить с ней!

— Да что рассказывать?.. Ну, вижу, стоит Святослав в магазине, книги смотрит. Я сначала не узнала — только потом, по голосу. Ну Святослав Владимирович! Неужели не помнишь?

— Подожди... Так это режиссер, что ли? Из молодежного театра? Фу, я-то думала...



— Он, он! Стоит так и над современными писателями издевается. Особенно над женщинами. Говорит, запор мысли, понос слов, а сами готовить не умеют... И с ним фифа такая, шарф на шее в два оборота! И туда же: все графоманы — больные, всех в психушку надо. Хорошо, они спиной ко мне стояли. Я как узнала его — бегом оттуда!

Глаза Светки расширились и некоторое время как бы изучали картину, нарисованную Вероникой. Затем опять прищурились и превратились в два острых лучика. Прошлись по подруге вверх-вниз и угасли, прикрытые ресницами. На губах появилась снисходительная улыбка.

— Горе ты мое! Думаешь, он тебя помнит?

— Главное, что я помню! — мстительно вскричала Вероника.

— Я тебя умоляю! Расслабься, подруга. Это же у вас, литераторов, профессиональная болезнь — пробовать писать. Не графомания. Просто проба сил. Кто рассказ или повесть, кто пьесу... из жизни Данте Алигьери. Ну не обижайся, я ж ничего такого... Никто ж не запрещает. Просто твой Святослав таких драматургов знаешь сколько перевидал?

Вероника насупилась. Вспомнилась еще одна Светкина черта — страсть к правде. Обожала выносить приговоры. Прокурор, а не подруга.

Она молчала, явственно ощущая поднимающуюся волну злости. Волна шипела, хлопотала и грозила перелиться через край резкими и непривычными для голосового аппарата словами. Видно, такой уж конфликтный выдался день! Но она продолжала молчать, злясь теперь уже сразу на все: на встречу в книжном, на Светкин приезд и на саму себя — за то, что стоит и покорно ждет, пока Светка, великая правдолюбница, скажет...

И та сказала:

— Да пускай себе издевается на здоровье! Хоть и над писателями. Тебе-то что? Он не тебя имел в виду.

Вероника втянула голову в плечи. Она всегда ценила Светкино стремление докопаться до сути. Однако на этот раз от правды захотелось взвыть.

— Понимаешь, существует такое понятие — статус! — добивала Светка. — У каждого человека — свой. Ты у нас кто? Рядовая училка. Нет, ну честная, порядочная, все дела... Но писатель или драматург — это ж совсем из другой оперы! Он вообще родиться должен под особенной звездой...

Договорить ей не удалось: в классе что-то грохнуло, раздался пронзительный взвизг и радостный хохот.

— Ну, побежала! У меня потом еще урок, — поспешно проговорила Вероника, распахивая дверь и делая свирепое лицо.

— Тогда не дождусь, — сообщила ей в спину Светка.

— Пока. Звони, — бросила Вероника не оборачиваясь.

С правдой сегодня вышел явный перебор!

А посреди кабинета, в правом проходе, Белобородов собирал в рюкзак рассыпанные по полу ручки и тетради.

— И кто же? — спросила Вероника, обводя класс взглядом.

Ответом была глубокая тишина. Шестой «А» преданно таращился на нее в двадцать шесть пар глаз. Дашка Соснова, обладательница двад-





цать седьмой, пристально изучала собственный стол. А двадцать восьмой ученик, Славка Белобородов, продолжал собирать имущество. Сопя и тоже молча.

В этих детях, по-видимому, еще недостаточно развилась страсть к правде. А о человеческом статусе они, скорее всего, вообще не имели представления. И, как ни странно, от этого Веронике стало чуть-чуть легче.

### Я, мы, ты, вы

По вторникам и пятницам Вероника занималась репетиторством. Репетировала она шестиклассницу Ленку, соседку Светланы. В своей школе Ленка имела по русскому «три пишем, два в уме».

Вероника понятия не имела, есть ли какой-то прок от этих занятий. Ленка приходила, раздевалась, выкладывала на стол три столбика и отсиживала положенный час. Она послушно писала, подчеркивала, вставляла буквы и производила фонетический разбор. И даже могла рассказать, хоть и с запинками, про чередование гласных и спряжение глаголов. Вот только голова ее все шестьдесят минут урока оставалась вжатой в плечи, а глаза исподлобья косили в сторону настенных часов. Казалось, она терпела происходящее с одной страстной надеждой: когда-нибудь эта мука кончится!

В лицо Веронике она не смотрела, а лишь изредка затравленно взглядывала. На вопросы типа: «Не замерзла?» или «Тебе не темно?» — молча мотала головой. И ясно было, что в школе она под страхом смерти не поднимет руку, чтобы выйти к доске и разобрать простое предложение.

В придачу временами с ней приключалось что-то вроде ступора и она напрочь переставала соображать: писала как слышится и ставила запятые где вздумается. Вероника даже представить боялась, сколько ошибок в диктанте можно наляпать в таком состоянии. Зато отлично представляла телефонный диалог: «Ваша дочь совершенно не знает грамматики. С ней нужно заниматься дополнительно!» — «Но она уже полгода ходит к репетитору!» — «Странно. Что за репетитор?»

Светлана, хотя сама же Ленку и привела, ругалась: «Да откажись от нее, и все дела! Пожалей нервы!» Светке легко было говорить. У нее не состоял на учете каждый столбик.

В этот раз, похоже, Ленка явилась на занятие уже в прострации. По скачущим в разные стороны буквам Вероника определила: мозг отключен.

— Луна, спрятавшаяся было за тучу, снова выглянула и осветила окрестность призрачным сиянием, — продиктовала она.

Ленкина рука размашисто набросала: «спрятовшаяся», «выгленула» и, само собой, «окресность». Ни одной запятой в предложении не наблюдалось.

— А теперь еще раз прочитай, проверь орфографию... и причастный оборот, — намекающе посоветовала Вероника.

Ленка искоса глянула на нее, снова в тетрадь и мазнула запятую после «было». Иногда Веронике казалось, что девчонка над ней издевается. Из глубины души поднималась тихая ярость. К тому же она обнаружила



свеженькую стрелку на колготках, пока что небольшую, на кончике большого пальца, однако вполне способную к концу урока достичь такого размера, что ни в какие туфли не спрячешь. Выйти в другую комнату и снять колготки. Или переодеться в брюки. Посреди урока?

— Спину выпрями! Будешь так сидеть — сколиоз заработаешь! — предрекла она цыганским тоном.

— У меня уже есть, — отозвалась Ленка тихо и монотонно.

Она всегда так разговаривала — на одной ноте и почти не раскрывая рта. Как будто боялась наглотаться отравляющего газа.

Вероника постаралась погасить ярость. Все-таки у ребенка еще и сколиоз. А колготки можно спасти, если сидеть спокойно и не дергать ногой.

Она задумалась, чем бы зацепить Ленку — привести в рабочее состояние.

— Перечисли-ка местоимения... личные, — распорядилась она.

Иногда такое внезапное переключение давало эффект.

— Я, мы, ты, вы... — забормотала Ленка.

В этот момент дверь с легким скрипом приоткрылась. В комнату взглянул муж и сделал таинственное движение бровями. Это особое движение могло означать только одно: наконец-то дали зарплату! Наконец предприятие получило долгожданный заказ! И значит, покончено с коммунальными долгами! А также со штопаными-перештопаными колготками... Можно починить стеклоподъемник в машине. Можно купить Туське новую белую блузочку: как раз видела на рынке такую нежную, рукав фонариком, на груди рюшечки. А Маришке искать платье к выпускному: конец апреля на дворе. Насчет туфель Вероника не волновалась: размер ноги у них был одинаковый, так что годились ее собственные парадные лаковые. И вот теперь будет и платье... Лучше всего, конечно, белое: Маришка будет картинка, просто картинка! Фотомодель. Хотя почему именно белое? Приходят же на выпускной и в розовых, и в салатных, и в голубых. Круглова, помнится, вообще в черном явилась. Или можно красное. В красном будет как розочка!

В комнате стало ощутимо свежее — будто в больничной палате открыли окно и повеяло весенним ветерком. И все это случилось, пока она говорила Ленке:

— Так, так... ну, вспоминай дальше. Не получится — подсмотри в учебнике, повтори. Через две минуты расскажешь.

И легкой походкой, забыв о дыре в колготках, она направилась в кухню, притворила за собой дверь и замерла — приготовилась к приятным сюрпризам. Однако вместо того, чтобы торжественно выкладывать на стол из разноцветных шуршащих пакетов голландский сыр, бальковую колбасу и конфеты «Загадка», муж задумчиво-мечтательно улыбался, подперев подбородок кулаком. Эта улыбка подтверждала лучшие надежды. Но где все-таки сыр и колбаса?

— Наших почти всех в отпуск отправили! — объявил Николай и посмотрел победно.

Вероника кивнула, не вполне понимая природу его торжества. И тут же догадалась:

— Так ты в отпуске? Отпускные дали?

— Какие отпускные? — Он смотрел с некоторой даже обидой. — Говорю же: всех без содержания, пять человек в цеху оставили. Меня, Толяна, Витьку, а двоих ты не знаешь — недавно приняли.

— А зарплату? — все-таки не понимала жена.

— Какую зарплату? Говорю же: заказов нет!

Наконец все стало ясно. Значит, не надо никуда спешить и искать красное платье. И белое тоже. И о коммуналке можно не беспокоиться. Фурточка захлопнулась, и запахло больничным бельем и хлоркой.

— Нет, но дадут, конечно. Шеф сказал — максимум через месяц, — поправился муж. — Месяц-то можно потерпеть? Я у Толяна три штуки занял... Или что, увольняться?

— Ну зачем?.. Месяц можно, — деревянным голосом согласилась она.

— Говорил тебе сто лет назад: бери контрольные по английскому! — сердито припомнил он. — Ты для чего в английской школе училась? Жили бы как люди. А ты... Комсомолка несчастная. Репетиторство твое чем лучше?

Вероника вернулась в комнату. Ленка сидела, по-прежнему ссутулившись, и при виде учительницы опять забормотала:

— Я, мы, ты, вы...

Выражение лица было такое, словно она глотала нестерпимо горькое лекарство. Может, дома ее наказывают с особой жестокостью? Ставят в угол коленками на горох? Не пускают в Интернет?

— Он, она, оно, они...

— Каждому свое. И все в одной палате, — нечаянно заключила вслух Вероника.

— А? — удивилась Ленка и от неожиданности уставилась ей прямо в лицо.

Глаза у нее стали совершенно круглые, а бровки уехали вверх чуть не до волос. Точная копия Незнайки из мультфильма. Вероника даже улыбнулась. И девчонка вдруг улыбнулась в ответ. Первый раз за все знакомство.

— Ничего, ничего. Это я к слову, — пояснила Вероника. — А ты что-то хрипишь. Устала? Может, чайку налить?

Ленка испуганно затрясла головой. И вдруг шепнула:

— А у вас жених — блондин! Нитка белая на юбке.

Вероника осмотрела юбку, сняла нитку. По-хорошему, выкинуть бы это полусолнце-клевш: люди давно узенькие носят.

— А если на палец накручивать, можно узнать, на какую букву имя. Просто алфавит говоришь, можно даже про себя, — подсказала Ленка.

— Давненько я на женихов не гадала! — призналась Вероника. — А «про себя», кстати, существительное или глагол?

— Гла... ой, то есть... тоже местоимение.

— А-а, тоже, оказывается! Так, может, и разряд вспомнишь? Подсказываю: во-оз...

— Возвратное?



— Вот и молодец! А предложение с ним слабо составить?

— Нет, почему? — расхрабрилась Ленка. — Сейчас... «Я не могу сказать про себя ничего хорошего».

— Ну, это уж перебор! — опешила Вероника. — Совсем-совсем ничего? Может, переборщила?

— Не знаю... Может, немножко.

Ленка оживилась, открыла было рот, чтобы что-то рассказать, но внезапно опомнилась, посуровела, втянула голову в плечи и покосилась на часы. Вероника вздохнула. Урок продолжался.

## Словарный запас

Весна превращалась в настоящее лето.

Уже и липы, что росли вдоль школьного забора, выпустили нежные листочки. Дурмящие ароматы вторгались в окна. Томимые жарой старшеклассницы расстегнули еще по одной пуговке на форменных блузках.

Неизвестно почему, во всем этом расцветающем пространстве Веронике чудился оттенок фальши. Что-то будто не соответствовало чему-то. Но что именно и чему? Чего недоставало в окружающем мире, словно последнего штриха в картине?

Между тем не за горами было выставление четвертных, а также полугодовых и годовых. Вероника заполняла журналы, диктовала диктанты, проверяла диктанты. Объясняла темы, задавала сочинения, проверяла сочинения. Но смутное чувство, что упущено какое-то важное дело, не уходило. И даже как будто помнилось, что это же самое дело было упущено и прошлой весной, а возможно, и позапрошлой... Это ощущение раздражало. И раздражение, случалось, изливалось даже на учеников. Например, на Белошапкову.

Аня Белошапкина, даром что оканчивала пятый класс, имела привычку писать высунув кончик языка, как первоклашка, и время от времени шумно, со всхлипом вздыхать от удовольствия. Почему-то нравилось этой девчонке тупо выводить буквы. Тупо — потому что напротив ее букв густо пестрели красные учительские галочки и палочки. Однако они не слишком огорчали глупенькую Аньку. Ей доставлял наслаждение сам процесс писания, а работы над ошибками она выполняла с меньшим удовольствием, чем домашние и классные. Она любила писать, как другие любят вязать крючком или плести макраме.

На диктантах Вероника старалась не смотреть на эту счастливую физиономию, чтобы не выходить из себя. Быть может, организм ребенка просто-напросто требовал развития мелкой моторики? Почерк у Аньки был крупный, разборчивый и хотя не слишком красивый, но каждая буква прописана добротнo, как в начальной школе. Тетрадки, хоть и с двойками-тройками, самые аккуратные в классе. Вероника эти тетрадки видеть не могла.

Особенно бесило ее, когда, соскучившись посреди объяснения правила, Белошапкина выкрикивала в нетерпении:

— А писать сегодня будем?

— Обязательно! И при этом желательно еще и думать, — ядовито откликнулась Вероника.

Ей хотелось вырвать у девчонки ручку и разломать на кусочки вместе с колпачком.

По четвергам Белошапкива развивала свою моторику раньше всех — на дополнительном уроке для отстающих. Иногда она единственная на него и являлась. Но это ничуть ее не смущало. Так же вдохновенно, как всегда, она выводила упражнения в особой тетрадке в виде книжицы — в твердом переплете, с шелковистой закладкой-ленточкой. Со стороны посмотреть — не предложения разбирает, а стихи сочиняет. Или даже роман.

И вдруг в один из четвергов случилось небывалое: прозвенел звонок, прошли первая, вторая и третья минуты дополнительного времени, а Белошапкива все не показывалась. Когда минула и четвертая — сладкая мечта («Не придет! Поленится! Весна подействовала!») уже начала было овладевать Вероникой, но тут дверь таки отворилась.

На пороге стояла вовсе не Анька, а незнакомая длинноногая девица. Вместо форменной белой блузки на ней красовалась какая-то полупрозрачная разлетайка.

Девица не спеша прикрыла дверь и вымолвила женственным контральтю:

— Здравствуйте, Вероника...

— Захаровна, — подсказала Вероника. — Вы... из какого класса?

— Из десятого... бэ, — вздохнула красавица. — Меня тетя Света к вам прислала... То есть Светлана Петровна.

— Светлана Петровна? — удивилась Вероника.

— Ну да. Еще сказала позвонить.

Сияющий ноготок ткнулся в розовый телефон, и тот прижался к уху Вероники холодным боком. Знакомый голос защебетал:

— Верончик, солнце мое, ну окажи шефскую помощь! Это ж Генкина племянница! Похожа, да? Вот и все говорят... Зина ее зовут, Зинуля. Девчонка классная, я тебе говорю. Просто не сложилось у нее в школе, и вот к нам перешла. Я сама посоветовала: есть, говорю, и нормальные школы, с нормальными людьми. Которые могут и знания давать. И ребенок перешел, и все хорошо, а тут ваша Антонина с сочинением пристала. И сразу, главное, угрожать — оставляю на второй год! Ну не читает Зинка, я не спорю. А кто сейчас...

Вероника переложила телефон в другую руку, слегка отстранив классную девчонку Зинулю. Вклиниться в Светкин монолог бесполезно было и пытаться.

— ...может, какие-нибудь старенькие работы сохранились? Хоть на четверочку какую-никакую? А сама она не напишет. У нее ж со словарным запасом проблема! Ну знаешь, как они все сейчас: «типа», «блин» и «айпад» — вот весь лексикон. Выручи, Верончик, а? На тебя одна надежда. И Генка просит.

Беседу можно было бы завершить сразу: когда Светка говорила таким голосом, Вероника превращалась в размякший на солнце пластилин.



Но все-таки, прежде чем согласиться, она выдержала паузу и вздохнула. И только потом пообещала что-нибудь придумать.

Значит, придется отныне опекать эту классную Зинулю без словарного запаса и в бесстыдном наряде.

— Что же ты, Зинаида, не читаешь совсем? — сварливо осведомилась Вероника.

— Не-ет, ну почему-у... — лживым тоном затянула Зинаида. — Я «Сталкера»... несколько штук, «Властелина колец» тоже... А Антонина Михална говорит: пиши роль сцены бала в «Горе от ума»! Нет, я читала, конечно, но давно уже... И в Интернете ничего такого нету. Нашла только «фамусовское общество» — так она истерику устроила: не та тема, проблема не раскрыта! Вообще гнобит меня, все девочки заметили.

И сложила розовые губки бантиком.

— Вот прямо гнобит? — усомнилась Вероника. — Загнобишь вас таких...

— Нет, ну правда же! То доклад ей по Серебряному веку, то цветную таблицу спряжений распечатай, то вот сочинение дополнительное. Оценки у меня спорные... Это все из-за мамы, что она ей билет на Гришковца не достала.

— На Гришковца? Писателя? — уточнила Вероника.

— Ну нет, он же артист вообще... А мама в драме работает билетером. А на этого Гришковца не то что билетеру — завлиту ни одного местечка не дали! У москвичей же не допросишься. Ну и принесли ей... Антонине Михалне... на Восьмое марта вместо билета карточку в «Рив гош». А она оскорбилась. И теперь преследует меня. Девочки говорят: ей возражать нельзя, запомнит на всю жизнь!

— Оскорбилась, значит, — пробормотала Вероника. — Ладно, давай свое сочинение. У меня как раз пара окон... У тебя время есть? Замечательно. Вот тебе «Горе от ума», считаешь для общего развития, заодно словарный запас пополнишь. А я пока со сценой бала разберусь.

...Через два урока Зинаида покинула кабинет и, прижимая к груди тетрадь, танцующей походкой двинулась к учительской. Следом, заперев дверь, побрела Вероника. Но на пути ее окликнули:

— Вероник Захарна!

От лестницы вразвалочку шел крепкий парень в кожаной косухе, улыбаясь и поигрывая кусочком цепи, похожей на собачью.

— Не узнаете? Я ж ученик ваш бывший, Китаев!

— Сема? Ты? — Вероника взгляделась. — Повзрослел... Не узнать.

— Ну! — Он горделиво качнул головой, предлагая собой полюбоваться.

— Очень рада! — Вероника старательно улыбалась. — Молодец, что школу не забываешь.

— Ну как же! Школа, как говорится, наш родимый дом.

— Работаешь? Учишься? Женился? — расспрашивала Вероника с несколько искусственным энтузиазмом.

— Да как сказать... Всего понемногу. Не без этого, — загадочно отозвался Китаев. — А вы тут, Вероника Захаровна... как вообще? Никто вас не обижает?

И он исподлобья оглянулся и сделал резкое движение цепью.

— А кто меня может обижать? — удивилась Вероника.

— Ну так, вообще... Мало ли... Ладно. Приятно было увидеться!

И непонятный Китаев скрылся. Вероника посмотрела вслед, потом озадаченно огляделась. Никаких признаков опасности не наблюдалось в знакомом интерьере, в этих стенах, регулярно увешиваемых то стенгазетами, то детскими рисунками, то плакатами.

— Нет, не повзрослел. От силы восьмой класс! — сердито перерешивала она и снова направилась к учительской.

Однако достигнуть цели опять не удалось. Грянул звонок на перемену, и под его вибрирующий треск из углового класса выскочила Надька Бирюкова и бросилась наперерез, на бегу вынимая из сумки книгу. Обложку Вероника узнала издали и сразу притормозила, чтобы перехватить Надьку, набравшую приличное ускорение. Но Надежда была девушка рослая и, прежде чем остановиться, ухватила за Вероникин локоть и совершила вокруг нее полуоборот, словно в парном танце.

— Новая Татьяна? Ты ж моя умничка! — умилилась Вероника во время этого па.

Любимых писателей они называли по именам.

— Берите, берите. Прочтете, потом скажете, как вам.

Надька была ископаемым существом — из тех самых книголюбов, что водились во множестве еще четверть века назад. Вероника вычислила ее по особенной позе: голова опущена и подперта рукой, глаз не видно. Будто сидел-сидел человек на уроке и от скуки принялся изучать собственные колени. А на коленях-то, определила Вероника наметанным глазом, не иначе как книга... и угадала. Да не какой-нибудь глянцевого журнала, а добротный томик Агаты Кристи! Надька оказалась словно бы Вероникиным повторением в новом времени — ее молодым альтер эго. Это радовало и успокаивало, свидетельствуя: всё в этом мире на своем месте. Все как обычно, как и должно быть. И обожатели книг — вот они, никуда не делись. Жизнь продолжается!

— Ну а Борис как там, ты не в курсе? Ничего новенького?

— Обещает вот-вот. Мониторю ситуацию.

И непрочитанные страницы зашелестели в унисон с весенней листвой, и незнакомые сюжеты экзотическими цветами распустились в новых главах, и они с Надькой, расходясь, заговорщицки улыбнулись друг другу.

В потоке солнечных лучей из распахнувшейся двери учительской показалась красotka Зинуля с известием:

— Пять! Представляете, у меня — пятерка! По сочинению!

Тушь у нее под глазами была размазана, взгляд слегка безумный. И контрольто перекрывало шум перемены.

— Потихе, потихе. В сторонку отойдем, — предложила Вероника, оттесняя счастливицу к окну.

— Она при мне все прочла. В учительской. И так на меня посмотрела... А потом махнула рукой и без слов в журнал р-раз — пять-пять!

Зина глядела на Веронику, как малыши на фокусника в цирке. Только что не прыгала от восторга и не била в ладоши.

— Вероника Захаровна, вот вам спасибо! Прямо о-о-о-ромное! Мама не поверит... Как это вы так... умеете?

— Ну, не такое приходилось писать, — небрежно уронила Вероника.

— Ой, чуть не забыла!

Девушка плюхнула сумку на подоконник и, вытащив сначала косметичку-сердечко, потом кошелек, телефон в блестящем футлярике и круглую массажную расческу, наконец-то докопалась до цели и сунула Веронике желтый прямоугольник.

— Вот! Это вам. На новый спектакль. Тут на двоих приглашение. Режиссер московский, очень крутой, я только фамилию забыла. И программка... Ой, нет, программку не взяла. Но я вам принесу!

— Да не надо программку... Спасибо.

Зинуля умолкла, озадаченная.

— Вы же в театр ходите, Вероника Захаровна?

— Я?.. Да, обязательно, конечно.

— Ну тогда... до свидания!

— Всего доброго, — попрощалась Вероника замороженным голосом.

То, что не было сделано нынешней, и прошлой, и позапрошлой весной, вдруг встало перед ней во весь рост. А точнее, во весь объем страниц.

### «Катарсис, блин»

Николай, конечно, сразу сделал мученическое лицо:

— Какой театр? Я от вечера джаза еле отошел!

— Ничего себе! Вечер джаза был два года назад.

— Вот именно! А до сих пор помню, как этот, в красных тапочках, пианист... ногами топал... А как барабанную установку на сцене разнесли?!

— Ну при чем тут установка? Коль, я серьезно... Пойдем, а? Там режиссер какой-то новый, из Москвы.

Муж молча наклонил голову и уставился неподвижным взглядом в стенку. Такого выражения лица Вероника немного побаивалась. Вернее, того, что будет, если его с таким выражением все же заставить пойти. Себе дороже.

— Все ясно. Спасибо, не надо, — сухо заключила она.

Он тут же просиял:

— Ну хочешь, я Натусю в музыкалку отвезу? А, Венчик? И туда и обратно? Только в субботу или воскресенье.

— В субботу и воскресенье у них занятий нет.

— А хочешь, могу пропылесосить... Слушай! А ты Светку позови. Это ж ее племянница билеты принесла?

— Да уж позову, позову... Тебе лишь бы спихнуть.

Он умильно сложил брови и изобразил воздушный поцелуй.

Странно это было — собираться в тот же театр годы спустя. Словно старухе — на место первого свидания. И к тому же весной.





Она надела черное платье с бархатным воротником, лаковые туфли, белый в полоску жакет. Даже получилось уложить волосы.

— Стильно! — одобрила Маришка.

Туська молча и таинственно протянула кулачок. Вероника осторожно разжала: на ладошке лежала брошка-бабочка, любимое сокровище.

И вспомнилось: мама собирается на выпускной вечер, укладывает волосы, а она, Вероника, еще девятиклассница, подшивает подол нового маминого сиреневого платья. Иголка легко ходит сквозь тонкую ткань. «Не притягивай, только слегка!» — не оборачиваясь бросает мама, совсем не школьная, домашняя. Они спешат.

Вдруг мелькнуло: кто же там, в Питере, собирает маму в театр? И ходит ли она в театр?.. Только не реветь! Тушь! Все в порядке, все нормально. Просто надо позвонить. Давно не общались... Какая-то она сегодня взвинченная.

— Тебя к телефону, мам. Тетя Света.

Как это она не слышала звонка?

— Ты выходишь или нет? Имей в виду, там малый зал — нельзя опаздывать. Закроют дверь, и привет!

— Лечу!

При виде Вероники Светлана одобрительно приподняла брови. На ней самой красовался костюм цвета мяты, в вырезе сверкало кольцо, на сумочке переливалась цепочка — все как полагается для такого мероприятия. Для встречи с прекрасным, как списывают дети из Интернета в сочинениях.

Тьфу ты, сколько можно: школа, дети, сочинения! Сегодня она просто человек, просто зрительница в театре. Пришла насладиться искусством.

А ведь когда-то она чуть было не стала частью этого искусства. Этого волшебного мира. Подумать только: она беседовала с настоящим режиссером! Они всерьез обсуждали ее пьесу — да, да, ее пьесу! И пускай все закончилось ничем (на этом месте что-то больно скручивалось в области солнечного сплетения), но ведь был же, был этот миг!

Да, был и прошел. А теперь... Теперь изволь предъявить на входе билет, пересечь вестибюль и, степенно поднявшись по боковой узенькой лестнице, занять свое место в зале. Ныне ты часть зрительской массы, пассивный потребитель искусства. Ибо прошли годы, явились новые режиссеры и новые драматурги сочинили новые пьесы. И даже если тебе больно и завидно... Хотя, в принципе, никто не запрещает, например, попробовать еще раз. Еще раз... Эх, раз, еще раз!

На этом месте где-то в области затылка грянул цыганский бубен и азартные голоса мощно подхватили: «Ищцо многа-многа ра-а-ас!» Но она тут же усмирила эту какофонию. Она вытолкала дурацкие мысли вон. Она удержала лицо. Зрелая, опытная женщина, что бы ни случилось, должна держать лицо. Тем более что уже прошли вестибюль, поднялись по ступенькам и шагнули в проход партера.

Малый зал напоминал шкатулку с драгоценностями: всюду пурпурный бархат, позолота и бриллиантовые вспышки огней. Впрочем, пока



что огни горели приглушенно, мягко. Главная драгоценность — театральное действо — была припрятана за занавесом.

— Нормально так люди одеваются в театр! — шепнула она Светке, стрельнув глазами на спускающуюся по проходу пару.

Парень — в джинсах и пуловере с растянутым воротом, все швы наружу, нитки торчат, а с ним девушка — простоволосая, в клетчатом сарафанчике с мятым подолом в складку. Точно такой сарафанчик бабушка когда-то сшила Веронике из маминого платья. Только складки заставляла заглаживать, выходя в люди.

— Сейчас в моде небрежность. Стиль гранж! — просветила подруга.

Действительно, и другие зрители обрядились кто во что горазд. По ковровой дорожке двигались френчи (или тренчи?) и туники, юбки мини и макси, туфли-балетки и ботфорты выше колен. Хватало и швов наружу, и растрепанных волос... Изредка, правда, встречалась и классика: костюмы и светлые рубашки, нарядные платья и лодочки. И весь этот поток растекался из прохода по рядам, заполнял кресла.

— Между прочим, авторша должна быть где-то здесь. Зинуля говорила: собиралась присутствовать.

— Слушай, там, по-моему, подруга Святослава! Вон, в четвертом ряду.

— Кто такой Святослав? А, помню, помню, испортил тебе жизнь. Режиссер... Так это он, лохматый такой?

— Да нет, его нет. В смысле, я не вижу. Он вообще лысый теперь... А это та, что с ним в магазине была, видишь? В белом свитере, за лохматым.

— Мм... Ничего, стильная дамочка. Она жена или любовница?

— Да откуда я знаю? Может, просто из театра какая-нибудь змея. Говорила, всех графоманов надо в сумасшедший дом.

— Да тебе нервы лечить надо, мать! Все пакости помнить — памяти не хватит.

На этой здоровой ноте свет стал меркнуть. Зал погрузился во мрак, а занавес с тихим шорохом раздвинулся...

Нельзя сказать, чтобы сюжет пьесы привел Веронику в восторг. Главная героиня была немолода, некрасива, богата и цинична. Ее молодой любовник — лжив и капризен. Он изменял героине с ее племянницей, небогатой, зато и непритязательной. Тетка догадывалась обо всем, и от этого возникали забавные моменты. Публика добродушно смеялась, изредка аплодировала. И все же стены театра не раздвинулись и сцена не превратилась ни в городской скверик, ни в уютный уголок гостиной — так, условное обозначение. В общем, не Грибоедов. Сцены бала не случилось.

Хотя финальный монолог тетки, надо признать, вышел прочувствованным. Вероника подумала: уж не с себя ли писала автор? И даже полезла за платком.

Светка зашептала:

— И тебя проняло? Катарсис, блин!

Глаза у нее блестели, нос распух.

— Волшебная сила искусства! — отозвалась Вероника и тоже всхлипнула.

Актеры уже выходили на поклон. Первый ряд аплодировал стоя, остальные постепенно поднимались. Глухо хлопали сиденья. Подруга потянула Веронику за локоть, кивнула на представительного мужчину в светлой рубашке: он стоял на краю сцены и слегка кланялся, прижимая руку к груди.

«Московский режиссер!» — поняла Вероника по ее губам. Режиссеру и главной героине вручили по букету. Но он не прижал свой к сердцу, а знаками вызвал на сцену какую-то девушку, отдал ей цветы и тоже зааплодировал.

— Саша Мосова, автор пьесы, — пояснила Светка на ухо.

Автор пьесы была та самая девица в мятом бабушкином сарафанчике! Вероника не верила глазам. И сколько же автору? Девятнадцать? Двадцать пять?

Саша Мосова кланялась, как какая-нибудь недобалерина из самодеятельности, отставляя согнутую ногу назад и приседая. И держала букет как впервые в жизни. Длинные нечесанные пряди свешивались по обе стороны худого лица. Да нет, чего уж врать — хорошенького девчачьего личика.

Так вот, значит, какие теперь драматурги. Вот они — юные, смелые и умелые!

— Может, подойдешь? Познакомишься? — предложила зоркая Светка. — Она, говорят, девчонка нормальная, не гордая.

Вероника помотала головой. Кажется, у нее начинался серьезный катарсис.

## Аспекты фабулы

По воскресеньям в дом заглядывала иная жизнь.

Можно было ненадолго оторваться от тетрадей, разложить диван и, развалившись на подушках, вместе посмотреть какую-нибудь комедию. На майские праздники смотрели даже по два фильма подряд. Но Вероника заметила: через несколько минут после финала обязательно портится настроение. Может, из-за резкого перехода к прозе жизни? Не то что в детстве: выходишь из темноты зрительного зала, застегиваешь пальто и, пока идешь домой, обсуждаешь с родителями или подружкой самое интересное. И незаметно адаптируешься к реальности.

В воскресенье можно было стготовить что-нибудь повкуснее куриного супа на скорую руку. У самой Вероники недоставало кулинарной фантазии. Зато Николай брался за дело решительно и только распоряжался: «Морковку режь! Масло где? А теперь молотый перец давай!» И выходил у него то красавец холодец с веселыми вкраплениями яиц и зелени, то картофельные драники, а то и узбекский плов с изюмом. И жизнь в буквальном смысле приобретала новый вкус.

А еще в выходные Вероника могла вволю стирать. Она отлично помнила те мрачные времена, когда доверчиво принимала хитренькое устройство под названием «полуавтомат» за стиральную машину. Этот недоавтомат характер имел барственный и капризный, предпочитал гото-

вую горячую воду, а также подхалимские уговоры: покрути, миленький, белье минут двадцать! А теперь еще десять — в холодной! Операцию «отжим» игнорировал, считая ниже своего достоинства. А главное, чуть что — объявлял забастовку и демонстративно бездействовал, на какие кнопки ни нажимаешь. И тогда наступали еще более печальные времена под названием «ручная стирка».

Когда новую стиральную машину, белую и сверкающую — впрочем, пока еще целомудренно укрытую картонной упаковкой, — внесли в дом, Вероника растерялась. Вдруг проступили со всех сторон приметы убожества и неумения жить: щель в полу кухни, извилистые трещины на потолке и забытая с прошлого лета пыльная мухобойка в углу. Она заметалась, подхватывая с дороги стулья и разбросанные тапки. Но грузчики бесчувственно, не глядя по сторонам, втащили волшебное устройство и, с ужасающим шумом стянув упаковку, втокнули машину между раковиной и плитой. А Веронике не верилось: неужто эта белоснежная красавица — да, да, в ней было что-то от невесты! — отныне на законных основаниях прописана в ее кухне? Когда же машина в первый раз принялась с грохотом сливать воду и отжимать белье, визжа на высоких оборотах, Вероника испытала чувство легкого головокружения, как на опасном аттракционе. Словно исполнилось давнее желание, еще из тех лет, когда мама за руку вела ее в гости в платице с оборочками, наставляя: «Будь хорошей девочкой!» Что-то из детских мечтаний летним вечером на лавочке: «У меня будет спальня с розовыми стенами и ковер с красными розами на полу!» — «А у меня в серванте три хрустальные вазы: белая, голубая и зеленая!»

И вот — будто золотой ключик повернулся в замке, будто неведомая фея обвела волшебной палочкой две привычные комнаты, где девять лет не переставляли мебель, — все в доме наконец-то стало «как у людей»! Сама собой выросла в шкафу ровненькая стопочка простыней с пододеяльниками, а рядом мягкий кубик полотенце, и занавески раскинулись пышнее и наряднее вокруг окон, и закрасовались по углам вязаные салфетки и диванные подушки с узорными наволочками. И нашлось наконец время заштопать все носки, пришить все пуговицы к халатам и рубашкам, перемыть хрусталь в серванте. И мама радовалась за нее и, когда звонила, всякий раз спрашивала: «Как там твоя труженица?»

Но странно: даже долгожданный порядок почему-то радовал с утра минут десять, а потом линял. Для полной гармонии все еще чего-то не хватало... Да еще муж делал противное лицо и озабоченно спрашивал: «Ну, чем сегодня будешь кормить свою любимую машиночку?»

Родные же дочери к безотказному стиральному роботу оставались равнодушны. Маришка, подозрительно быстро расправившись с уроками, приникала к иному кумиру — компьютеру. Туда же, отыграв воскресную порцию гамм и этюдов, как магнитом притягивалась и Туська. Чудо электронной мысли вместе с принтером занимало почти весь письменный стол. Уроки делались на оставшемся краешке, а то и на коленках. Протестовать было бессмысленно, все доводы разбивались о возмущенное: «Нам доклад задали!» Или: «Я готовлю презентацию!» Или: «Туське тоже надо учиться!»

Иногда они что-нибудь искали в Интернете: старшая бойко тарабанила по клавиатуре, а младшая наблюдала за процессом. Но через некоторое время на экране неизбежно возникали какие-то прыгающие человечки, взрывы и монстры. И любимые девочки Маруся с Натусей, рьяно налегая на кнопки, обменивались примерно теми же репликами, что футболисты в школьном дворе:

- Ну, давай уже! Не тормози!
- Ой!
- Говорила же, здесь надо было туда!
- А ты тоже в прошлый раз!
- Так то совсем в другом месте!

И, точно как в школе, слушая азартную перепалку, Вероника чувствовала себя старухой, безнадежно отставшей от жизни. Хорошо хоть, еще оставалось за ней право прикрикнуть:

- Выключайте уже свой комп! Обедать пора.

А после обеда — скомандовать:

- Посуду — давайте сами! У меня сочинений две пачки.

И пока они ели — Маришка быстро и целеустремленно, Туська вяло и хмуро, — а потом лилась в мойку вода и звякали тарелки, она чувствовала с облегчением: дети все еще с ней и не удалось виртуальной жизни окончательно затянуть их в свою воронку.

У самой Вероники с компьютером как-то не сложилось. Образ старинного чугунного чайника прирос к ней намертво. Хотя, конечно, приходилось скрепя сердце вести электронные журналы или, если надо, набирать какие-нибудь таблицы — последние, правда, с Маришкиной помощью. Но скорость наступления цифровой эры повергала в реальный ужас. А все эти сети, поглощающие людей заживо, все эти «вконтакты» и «фейсбуки»? А бессмысленные игры, приводящие к реальной зависимости детей? Вот уже и Натуська, десяти лет от роду, горящими глазами опять уткнулась в мерцающий, лукаво подмигивающий экран! Уже вся там, в этих прыгающих монстрах! Того и гляди...

- Туська! — прикрикнула Вероника и тут же пожалела.

Ребенок вздрогнул, обернулся: бледное личико, глаза испуганные.

— Натусечка, — исправилась она, сбавив тон. — Пойди воздухом подыши, вынеси мусор. Только смотри: не через дорогу, а на нашем квартале.

— Мам, да мы сейчас закончим — тогда! — вступилась Маришка, вечная защитница.

- Нечего там заканчивать! Поважнее дела есть.

Младшенькая молча выбралась из-за стола, кинула косой взгляд. Обиделась. Ничего, вырастет — еще спасибо скажет.

Хлопнула дверь.

— Вырастет — скажет, мать меня гнобила, — флегматично заметил Николай. — От компа отгоняла, не давала развиваться и идти в ногу со временем.

Вероника ошалело взглянула на мужа. Он, бывало, шутил с серьезным видом. Но сейчас не подмигнул, не улыбнулся — только поднял го-



лову от старого номера «Приусадебного хозяйства» и посмотрел встревоженно. Еще и добавил:

— Надо же понимать, в каком веке живешь.

— Да это же... Как это? Везде же пишут: вредно влияет! Формирует зависимость!

— Мам, папа шутит. Оте-е-ец! — Маришка оторвалась от экрана и погрозила пальцем.

И тот сразу расплылся в улыбке:

— Что, испугалась?

— Да ничего не испугалась, — буркнула Вероника. — Ребенок не-глупый, вырастет — сама разберется...

— Сердится наша мать, — объяснил отец Маришке. — Творческий кризис среднего возраста. По ночам не спит, а днем на людей бросается.

— Правда не спишь, мам? А почему?

— Ну так... бывает.

— Да пишет она! Что ты, мать не знаешь? Строчит, строчит, а потом рвет. И на людях отрывается.

— А зачем рвать, мам? Ты лучше на компе набирай, а потом в специальную папку. Можно заархивировать.

Глаза у Маришки были такие ясные, такие живые... Может, она права? Может, молодым виднее? Изобрели же умные люди, помимо труженицы стиралки, вот этот монитор и клавиатуру с мышкой. Нажимай на клавиши, смотри в монитор. Не понравилось слово — стерла легким движением руки. Переставила абзацы местами. Вдруг и правда тот бессвязный бред, что стучится в голову, вовсе не бред? Вдруг она, в самом деле... еще на что-то способна?

— Напиши новую пьесу, — невозмутимо развивала тему дочь. — Тем более опыт есть. Или можно сценарий. Сейчас сценарии, я читала, очень востребованы!

— Легко сказать — напиши... — буркнула Вероника.

— А что? Возьми да напиши, — поддержал Николай. И уточнил: — Только такой, чтоб спросом пользовался. Люди на этом деньги делают.

— Легко сказать...

— Да что ты заладила? Пишут же другие. Вот Борис Акунин, например. Даже женщины некоторые. Эта, как ее... Забыл.

— Да не получается у меня, Коля! Я как-то не так это все... Не пользуюсь спросом.

— Неважно! Кто сознает свои недостатки — тот уже на пути к исправлению. Напиши что-нибудь... ну, такое... наверняка! К примеру, про Екатерину Вторую. А? Очень даже актуально. Правильно я говорю, Марин?

— Ну, я не знаю... Может быть.

— Да чего там «может быть»? Это ж не какая-нибудь простая баба — судьбоносная, можно сказать, тетка. Царица! И вообще личность. А представь, Венчик: красочный фильм... наряды там, интерьеры... дворцовые интриги, любовь-морковь...

— Да почему обязательно о царях, я не пойму? Нельзя о простом, нормальном человеке?

— Ну и про кого ты напишешь? Про соседку тетю Машу? А Екатерина Вторая — только подумай! — императрица. У нее ж, небось, приключений было... Такую фабулу можно закрутить! Только тут историю изучать надо. Ты вообще про Екатерину что-нибудь знаешь?

— А как же! «Почему при Екатерине Второй люди ходили вверх головой?»

— Императрица Екатерина постоянно заводила фаворитов, что наносило ущерб политике и культуре России.

Это произнесла младшенькая. Она успела вернуться.

— Это... откуда ты взяла, Туся?

— Нам Анжела Григорьевна на истории говорила.

И дочь обвела всех строгим взглядом.

### Безличные конструкции

— Так что там насчет среднего балла, кто-нибудь в курсе? Будут в этом году учитывать при поступлении? — Вероника оторвалась от журнала и оглядела учительскую.

— Обещают вроде, — не переставая писать, откликнулась Инна, молоденькая англичанка.

— Да кто его когда учитывал, девочки? — Биологичка Анна Петровна отложила ручку, откинулась на спинку стула и потерла глаза под очками. — Если только кого протащить — тут им и аттестат, и льготы откуда ни возьмись... А ты-то чего переживаешь, Вероника? У тебя доча разве не отличница?

— Я за Надьку Бирюкову, — объяснила Вероника. — Двойку ей влепила по дурости, еще в январе, а теперь пятерку в полугодии нельзя. А она в классе самая читающая, представляете? А может, даже в школе!

— Так думать же надо, девочки, когда оценки ставите! Ну ничего, в году пятерку выведешь. Хотя подожди... Бирюкова, говоришь? Ой, не смейся! Нашла за кого переживать. Что ей твой русский? Они ж в Австрию собрались.

— Как в Австрию? — изумилась Вероника. — Зачем?

Инна тоже подняла голову.

— Зачем богатые люди за границу едут? Девочки, вы меня поражаете. Жить хотят — вот зачем! По-человечески. У нее отец — успешный человек, бизнес у него. Съездил, ему понравилось, и вот переезжают. Сейчас же все можно.

— В Австрии классно! — Инна сладко потянулась. — У нас сосед, строитель, своя фирма у него, говорит: накоплю денег — и в Австрию или в Канаду. Вот именно в Австрию или в Канаду. Там, говорит, настоящая цивилизация! Достойный уровень жизни!

Вероника тупо смотрела перед собой, усваивая информацию. Нет, она замечала, конечно, что Надька не бедствует. Что у нее всегда хороший маникюр, например. Так мало ли девушек делает маникюр! Маришка даже... Ну, еще сумки у Надьки всегда какие-то диковинные, с пейзажами: то домик и клумба с цветами, то море и в нем лодочка. И всегда



в такой сумке — книга! Ну да... книги она тоже покупала. Новинки. В твердых переплетах. Недешево.

Странно. Почему-то казалось: если человек читает тех же авторов, что и ты, если так же упоенно глотает страницы, значит, ему хорошо. Да что там — он счастлив! Вот именно тут, в России. В родном городе.

А ей русский язык, выходит, до фонаря. Достойный уровень важнее.

И что же это за уровень такой необходимый, интересно? Понятное дело, для рядовой училки — стиралка-автомат да вот кредит за «семерку» выплатить... Ну а что еще-то человеку требуется? Горничная? Садовник? Личный самолет?

— У нас же, девочки, не страна — сырьевой придаток. Ладно мы, а что наших детей ждет?

Голос у Анны Петровны четкий, звучный. Настоящий учительский голос. И внешность соответствующая: благородная седина, задушевный взгляд из-за очков, овальная брошка у ворота. Классика жанра. Учительница первая моя.

— А сами чего ж не едете? — вдруг грубо вырвалось у Вероники.

Анна Петровна повернулась, усмехнулась укоризненно:

— Кому я там нужна — старуха? Ни денег, ни здоровья. Это вам, молодым, дерзать надо, пробиваться... а я уж здесь доскриплю. Мне теперь главное — на похороны скопить. У нас же похоронить — как за границу съездить. Не веришь, Вероника? Отвернулась, смотрю...

— Да нет, просто тесты ищу. Сейчас одиннадцатый, экзамен на носу.

— Подожди! Это туда новенький пришел, двоечник? Хма... или Хра...

— Хмара Семен, да.

— Еще мамаша скандальная, чуть что — угрожает жалобу писать?

Они вроде семь школ уже сменили.

— Не знаю, не слышала. У меня сидит нормально. Не читает только.

— Ой, берегись, Вероника! Поосторожней там с ним. Проблемы могут быть. Видела я эту мамашу...

Вероника подхватила сумку и метнулась к двери. Слушать дальше этот задушевный голос не было сил.

И даже в классе, в привычном гомоне, пришла в себя не сразу. После звонка медлила начинать урок: поздоровавшись, прикрыла окно, полистала журнал, отвинтила и завинтила ручку, проверяя, много ли осталось пасты в стержне. Паста подходила к концу, и это ее почему-то успокоило, как зримый результат проделанной работы.

Наконец объявила:

— Русский язык! Готовимся к ЕГЭ. Откройте тесты.

Одиннадцатый «Б» послушно зашуршал книгами. Эти детки возрастом «семнадцать плюс» все-таки поверили в неизбежность ЕГЭ по русскому.

— А у нас по расписанию сегодня литература! — гаркнули из рядов.

Новенький Семен Хмара дерзко смотрел со своей третьей парты. Вероника удивленно замерла.

— Встань, Хмара, — велела она.



И, кажется, напрасно велела. Стоя он был заметно выше ее. И смотрел в буквальном смысле снисходительно. Этак презрительно разглядывал ее сверху вниз. Остальные притихли. Такого в классе не водилось.

Весь Вероникин учительский опыт, кряхтя, полез в карман за словом. Не быстра она была на достойный отпор, совсем не быстра. Не в маму пошла.

— Вы не имеете права менять расписание, — четко выговорил он. — И любимчиков заводить не имеете права. У вас все отличники дутые! Вы когда спрашиваете, их заранее предупреждаете. А они вам на Восьмое марта конфеты дарят. И вообще, все учителя взятки берут.

Да, он сказал это. На чистом русском языке. Рослый темноглазый мальчик, одетый по-модному в темно-зеленый пуловер без рубашки, на голое тело. В вырезе смуглая шея, голова откинута, взгляд насмешливый.

В классе воцарилась гробовая тишина. Боковым зрением она видела лица детей: на некоторых читался живой интерес. И никто не вымолвил ни слова. Никто. Ни слова.

После она, конечно, сообразила, что должна была сказать. «Любишь литературу, значит? Прекрасно. Отвечай!» Или: «Любишь литературу? Так расскажи о последней прочитанной книге!» Или хотя бы: «А вот тебе не быть отличником, Хмара! Даже дутым».

Вместо этого она стояла и молчала — минуту? три? вечность? — а потом просто продолжила урок:

— Тест. Делаем тест. Восьмой вариант. Все открыли книги.

И все открыли книги. Примерные такие ученики. Она учила их с пятого класса. Может быть, когда-то она сама была такой же примерной ученицей. И однажды не вернула в библиотеку учебник английской литературы. Потеряла. Но сказала: я сдала, а вы не записали. И библиотечкаря поверила. А может, не поверила, только сделала вид. Все-таки дочка завуча. Через месяц Вероника учебник нашла и не знала, что с ним делать...

— Если что-то непонятно, спрашивайте, — привычно выговорили губы.

Однако всем все было понятно. Очень понятливый класс.

К счастью, урок был последним. Вероника не помнила, как собрала тесты, вышла из кабинета, добрела до учительской. По дороге с ней здоровались какие-то дети. Возможно, они рассказывали друг другу, кому и что дарили на Восьмое марта.

Как-то муж спросил: «Сколько у тебя учеников в классе?» — «Тридцать». — «Ну и где твои тридцать тысяч? У нас уборщица говорит: по тысяче на нужды учителей сдаем!»

А Надька Бирюкова уезжает в Австрию. И ей ни слова. Ну а ты что хотела — чтоб с тобой советовались? С учительницей по русскому? Не смехи.

— Мам! Ты чего? — удивилась Маришка, открыв ей дверь.

— Все нормально. Все нормально, — скороговоркой пробормотала она, сбрасывая туфли и устремляясь к телефону.



Слова гнева и возмездия жгли ей язык. А клочок бумаги с домашним номером Хмары жег ладонь.

Мамаша его, сказали, со странностями. Одинокая неврастеничка, помешанная на единственном сыночке. «Даже не пытайся что-то доказать! — предупредили. — Не нарывайся. Себе дороже!» Что ж, посмотрим. Вероника предложит ей поговорить в присутствии директора.

«Продолжим разговор в кабинете директора!» — мстительно репетировала она, тыча пальцем в телефонные кнопки. Гудки шли долго. Но и она была терпелива. Как пантера, подстерегающая добычу. Ее даже перестало трясти.

Наконец трубку сняли и раздалось какое-то хрипкое кудахтанье.

— Алло! — крикнула Вероника.

— Ал... ах-ках-хр-р-р... Алло...

— Это Полина Ивановна?

Голос звучал, кажется, вполне нейтрально. Подходяще для начала.

— Кх-кх-хе... Хто это?

— Вам звонят из школы. Новая учительница вашего сына по русскому языку. Вероника Захаровна. Здравствуйте!

— Здра... ох-кхе-кхе...

— Что с вами? Вы не можете говорить? Вам плохо?

Притворяется, что ли? Не желает обсуждать поведение сыночка? Тот уже все доложил?

— Нет. Уже лучше... Ох... Если раскашляюсь, вы не обращайте внимания. Вот сейчас сироп выпью...

— Простудились, я слышу?

Ну и хватит участия! Пора перейти к теме. Типа: «Я, конечно, вам сочувствую, но...»

— Да, в больнице. Пока после операции лежала... кх-кхе... лежала пока.

— Я, конечно, вам сочу... После операции? Какой операции?

— Желчный пузырь вырезали... во второй больнице.

— Во второй городской? Знаю, мне там аппендицит удаляли, — невесть зачем сообщила Вероника.

— А мне вот желчный пузырь, — вздохнули на том конце. — Восемь подвижных камней.

— Восемь?! Ну, это вы довели!

— Так я ж не знала...

И опять настала пауза. Теперь кашель слышался глухо, как будто через платок или салфетку.

— Я думала, это язва. У меня язва вообще-то.

— Ого! Целый букет.

Разговор неудержимо отклонялся от курса. Злополучная мамаша снова раскашлялась. Вероника терпеливо ждала.

— А сама операция? Как перенесли?

— Да более-менее. Просто в палате положили у окна, а тут ветер... Ну и сразу температура. Правда, на второй день спохватились, антибиотики кололи — сбили... Кхе-кхе... Извините. Теперь вот выписали,



а я ничего не могу. Сил нет, и кашель этот. Если б не Семка... Он и в магазин, и в аптеку, и уколы сам... Вы уж извините, если когда опаздывает — так это из-за меня.

— Хороший мальчик.

Вероника поперхнулась: это был ее собственный голос! Зато родительница, похоже, совсем не удивилась.

— Только не все это понимают, — пожаловалась она. — Ругают, ругают его...

— Мм? — лицемерно-осуждающе промычала Вероника.

— А он мне, когда на «скорой» увозили, пообещал: в этом классе, мам, точно хорошистом стану, вот увидишь! Это в вашем, значит, Вероника Степановна!

— Захаровна.

— Ой... простите, кха-кха! И точно: на прошлой неделе две четверки принес. По химии и по литературе.

— По литературе? Мм... да-а...

— А вот и он как раз! Пришел. Уже и за шприцами сбегал, наверное. И хлеб по дороге покупает.

Видимо, от радости мать снова разразилась кашлем. Вероника ждала.

— А трубочку можно ему передать?.. Алло, Семен? Это Вероника Захаровна. Мама там рядом?

— Сейчас! — смекалисто пообещал ребенок. И по-хозяйски распорядился: — Mam, в постель пора!

В трубке послышались удаляющиеся шаги.

— Сема, — задушевно начала она, — я спросить хотела: у тебя со здоровьем как? Очень беспокоюсь! Сон нормальный? Совесть по ночам не мучает?

— Да!.. Нет!.. — бодро рапортовал Хмара.

— Это потому, что у тебя ее нет, — сказала Вероника. — Абсолютно. Ты абсолютно бессовестный хам! Слышишь меня?

— Н-н... нечетко!

— И не ори! Имей в виду, — угрожающе прошипела она, — твоя мама все узнает! Я ее проинформирую о твоём выступлении. В присутствии директора. Слышишь меня? Но не сегодня. Потому что сейчас... не совсем подходящий момент. Ты слышишь?!

— Да.

— Так вот, запиши! Ручку возьми и дневник. Дневник, я сказала!

В трубке послушно зашелестело.

— Пиши на послезавтра: параграф двенадцать, часть первая. И письменный ответ, вопросы в конце темы: четвертый и пятый. Если какое-то определение непонятно, ищи в Интернете.

— А на каком сайте? — хватило у негодня наглости спросить.

— Я тебе и ссылки прислать должна?! — разгневалась Вероника. — Сам ищи... хорошист!

— Ладно... Спасибо, — все-таки вспомнил он.

Вероника положила трубку, выдохнула и рухнула в кресло. И наконец огляделась вокруг.



Вокруг все было как обычно, когда надо ехать в музыкалку. (Неизвестно почему, Веронику раздражали безличные предложения. Может, потому, что дети их с трудом усваивали? «У нас нет времени». «Пора собираться в дорогу». «Стемнело...») Маришка отрешенно замерла у компьютера. Туська лежала на диване в школьной форме. Уже собралась? Или не было сил раздеться? Бледная какая-то. Косичка растрепана, надо бы переплести.

— Натусь, ты кушала?

Перевела взгляд, кивнула молча. Под глазами темнели недетские тени. И поела небось кое-как.

— Что, голова болит?

— Просто устала, — невыразительно ответила дочь.

Прямо как мученица Ленка на уроке. Да что ж это за муки у детей? Даже участковая врач заметила: «Какая-то она у вас утомленная. Почки проверить не хотите?» Сдали анализ — вроде все в норме...

Музыкалка была недалеко, хотя ехать с пересадкой. Учительница — милая, но задавала слишком много. Натуся — ученица способная, только не успевающая заниматься положенные два часа в день. А иной раз, как сегодня, и полчаса не успевающая.

В придачу заартачился транспорт. Девяностый автобус и не думал выруливать из-за поворота. И троллейбуса было не видать — ни пятого, ни четырнадцатого. Маршрутка, битком набитая, демонстративно проплыла мимо. Уже стояла небольшая толпа. На лицо Натуськи вернулась угрюмая неподвижность. В голове у Вероники опять заматались безличные конструкции: «Здесь ловить нечего», «Там можно жить», «Надо копить»...

— Да тьфу! — со злостью вскрикнула она и сразу опомнилась и оглянулась.

Однако никто вокруг не удивился — даже, наоборот, показалось, что толстая тетка будто бы кивнула понимающе. Неужто тоже думала о загранице?

Завздыхал мобильник. Светка. Она договорилась на завтра насчет маникюра и педикюра.

— У подруги детства, бесплатно. И не вздумай сачкануть! — предупредила. — Весна на дворе, женщина! Ты что там, киснешь опять? Чего стряслось?

— У меня ученица в Австрию уезжает, — буркнула Вероника. — Единственная читающая.

Светлана имела способность с ходу оценить ситуацию. Буквально за пару секунд.

— Ну и что? В Европу. Тебе завидно? Или патриотизм одолел? Ты ж вроде человек широких взглядов. Какие-то надежды подавала: Данте там, европейское Возрождение...

— Данте всю жизнь по Флоренции тосковал. Ждал хоть какой-нибудь весточки. Да если б его только позвали...

— Ой, ладно, давай эти нюансы в другой раз. Короче, завтра жду!

И тут показался четырнадцатый, да еще двойной, а самое главное, с табличкой «В депо» — редчайшее везение, ехать без пересадки! И все



желающие вошли, и разошлись свободно, и сели кто куда хотел, и они с Натусей устроились отлично на последнем сиденье и быстренько покатали. Туська даже заулыбалась с восторгом, увидев у Вечного огня свадебную процессию: пусть и будний день, но все как полагается — жених в черно-белом, невеста в летяще-воздушном, толпа гостей и малышка в пышно-розовом...

Вдруг улыбка исчезла с лица дочери и она прошептала со страхом:  
— А ноты забыли!

Вероника недоверчиво осмотрелась. Синей папки на веревочках нигде не было. Неужто осталась в прихожей? А троллейбус шел себе, задорно подпрыгивая, и водитель объявил довольным голосом: «Следующая остановка — “Гаражная”!»

В глазах ребенка стоял ужас. Рушился привычный, хоть и утомительный уклад дня, и шаталась почва под ногами. И только могущественный взрослый человек мог спасти мир.

В голове дежурно промелькнуло: что бы сейчас сделала мама? Что бы сказала? И как это у нее всегда получалось — быстро, четко и безукоризненно правильно?

Но мама была далеко. И могущественный взрослый вздохнул, махнул рукой и рассудил:

— Ну, ничего! Один разок можно. Сходим к Елизавете Ильиничне, все объясним... И домой пойдем.

— Домой?! — не поверила Туська. И робкая улыбка опять тронула губы.

И ведь пошли-таки! Прямо от Елизаветы Ильиничны отправились. Пешком. Двинулись не спеша, прогулочной походкой напрямик по незнакомым улицам. Обсуждали интересные вещи: как правильно, например, сервировать стол и принимать гостей и что посадить на даче. Насчет гостей — это проходили в школе по этикету, дополнительные такие занятия. Вероника умилялась: какие, оказывается, тонкости известны дочери!

— А зубочисткой за столом пользоваться неприлично.

— Правда, что ли? А где тогда?

— Ну, можно в туалете или в ванной...

Про дачу тоже выяснилось неожиданное: Туська решила на свои деньги купить саженец черешни.

— Которые тебе на день рождения подарили? А не жалко?

Покачала головой:

— Папа обещал самую вкусную выбрать, лучший сорт!

Получается, не такой уж и плохой выдался день. И будущее ожидалось ничуть не хуже — с изысканно сервированным столом и самой вкусной черешней!

А пока что мимо проплывали частные дома: одноэтажные, почти игрушечные, и другие, повыше, вольно раскинувшиеся за каменными заборами. И что-то в них было общее, что-то очень знакомое... Мужчины в майках — совсем по-летнему! — мыли машины, мальчишки накачивали шины в велосипедах, женщины в пестрых халатах возились в палисадниках, переговаривались особенными, весенними голосами:



— А хочешь, тюльпанов моих возьми. Да возьми, говорю! Вот этих, красных. Ну глянь — красавцы ж, да?

И было в этих голосах что-то очень знакомое, даже родное. Может, то, что все как-то обходились без личных садовников и личных самолетов? И даже слыхом не слыхать было никаких безличных конструкций. И отовсюду пахло сиренью, а иногда — жареной картошкой. И хотелось идти и идти, ни о чем не думая, глядя, как зажигаются поодиночке первые звезды в небе и, словно в ответ, поблескивают серебристые звездочки на Туськиной кофточке.

## Разговоры двух и более лиц

Выпускной приближался неумолимо, как шаги Командора в «Дон Жуане».

Деньги на ресторан одолжила Светка. На фотоальбом и подарки учителям — она же. Предложила и дочкино платье, надетое два раза и презираемое за «бабский» розовый цвет. (Светланина дочь, выпускница юрфака, носила нынче строго черно-белое.) Но Вероника не решалась принять подарок. Очень уж не хотелось расставаться с давней мечтой — выбрать платье для Маришки! Походить вместе по рынку, полюбоваться ее фигуркой в белом, голубом, красном, сиреневом... И хотя мечта, судя по всему, даже не собиралась сбываться, она все еще упрямо ютилась на задворках памяти.

А Маришка не переживала. Жила своей юной и насыщенной впечатлениями жизнью.

Однажды вечером открыла ей дверь с каким-то странным лицом:

— Мам, ты извини...

— Что? Что такое?

— Понимаешь, нас в клуб сегодня не пустили. Проводку меняют.

— Так. И что?

— Я их сюда... пригласила. Мы ненадолго, мам! Скоро уйдем.

Только тут Вероника заметила в прихожей множество пар обуви. И женской, и мужской. Гости? Сколько же их? Сбросила туфли и вошла в притихшую комнату.

Они сидели неподвижно и безмолвно смотрели на нее. Человек двенадцать, показалось на первый взгляд. У двоих молодых людей были волосы до плеч, у одной девушки — бритый затылок и сережки по всему периметру уха. Места вокруг стола хватило не всем. Две девушки разместились на коленях у парней. Туська примостилась на боковине дивана.

Первым раздался мужской низкий голос:

— Здравствуйте.

За ним спохватились остальные:

— Ой, здравствуйте!

— Здра-встуй-те!

— Здра...

Вероника отозвалась, как в классе:

— Здравствуйте, ребята!

И опять молчание. Они чего-то ждали?

Она покосилась на пустой стол:

— Марина! Что ж ты чай не поставила?

И все с облегчением встрепенулись и загомонили.

Маришка рванулась в кухню. Девушки соскочили с колен парней и вызвались резать хлеб. В холодильнике нашелся колбасный сыр, на антресоли — банка яблочного варенья. Туська важно носила из кухни разнокалиберные чашки и стаканы.

Гости церемонно представились. От удивления Вероника запомнила не только Друду и Робина, но даже Бильбо Бэггинса. Труднее дались Владислав с Вячеславом, а также Катя и Василиса. Зато двухметровый Карлик сразу впечатался в память. Попутно выяснилось, что Маришка у них называется — Ариэль.

Разговор завязался живой и непринужденный. Жаль только, Вероника не могла в нем активно участвовать. Так и не прочтя Толкина, она ничего не могла сказать ни о расположении острова Нуменор, ни о том, его ли имели в виду Платон и Блаватская, описывая район Бермудского треугольника. Кроме того, она понятия не имела о фэнтези-фестивалях, орках, эльфах и кольцах власти. Даже странно: когда это в окололитературном мире успело произойти столько всего, о чем она и не подозревала? И с какого перепуга целые толпы людей, бросив все дела, отправляются на какой-то фестиваль?

Беседовали, впрочем, не только о литературе.

Длинноволосый Бильбо Бэггинс оказался любителем сладкого. Положив в чай три ложки сахара, похвастался, как однажды на пару с другом съел три банки сгущенки.

— Это когда бате зарплату сгущенкой выдавали.

— С голодухи — не в счет! — вмешался то ли Вячеслав, то ли Владислав. — Матери как-то тоже торты выдавали, когда завод соглашение с кондитерским цехом подписал. Прикиньте, денег нет, а в холодильнике всегда два торта! Я их с тех пор ненавижу.

Касались также социальных тем: инфляции и безработицы. Спорили, куда выгоднее устроиться: в «Макдоналдс» или промоутером. Соглашались, что разнорабочим на стройку можно пойти только «на крайняк». Друда с бритым затылком мечтательно припомнила, как одну девчонку присмотрели среди официанток кафешки в гипермаркете и переманили на этаж выше — в модный бутик продавцом-консультантом.

— В месяц штук тридцать получается... Но только у них присесть нельзя, весь день на шпильках! А увидят, что хотя бы к стене прислонилась, сразу предупреждение!

— Еще биодобавки можно продавать. Вот вам, между прочим, тоже! — неожиданно ободрила Веронику Катя или Василиса. — Они там даже предпочитают, чтобы в возрасте. Моя крестная воду «Жизель» продает, так у нее меньше полтинника в месяц не бывает.

Вероника улыбнулась ей. Что-то эта компания напоминала... Студенческие годы? Детские посиделки в общем дворе?



Тут Маришка-Ариэль возникла в дверях с растерянным лицом и стала делать матери какие-то знаки. Вероника выбралась из-за стола, и дочь оповестила свистящим шепотом:

— Там масло! Разлилось!

На полу прихожей блестела здоровенная лужа. Туфли и кроссовки, оказавшиеся в ее пределах, миниатюрными корабликами рисовались на фоне темной, жирно поблескивающей жидкости. Источник бедствия валялся тут же — двухлитровая пластмассовая бутылка из-под кваса «Очаковский». Николай хранил в ней машинное масло. Обычно она стояла возле холодильника, и вот ее случайно толкнули.

— А вообще, почему у нас холодильник в прихожей? — прозвучал неожиданный вопрос.

Туська стояла рядом, уперев ручки в бочки.

— Так уж исторически сложилось! — отрезала Маришка, вызволяя из зоны затопления красные туфельки. — Тряпку тащи!

— И ничего страшного, — успокоила рыженькая Василиса, видимо хозяйка туфелек, появляясь в дверях. — Они не такое видали.

— А у меня вообще «казаки», — хмыкнул здоровенный Карлик и выудил из масляного озера низенькие сапоги на каблуках, с металлическими бляшками.

— У вас очень гостеприимный дом, — объявила бритая Друда и покивала в подтверждение. — Можно еще чайку?

— Конечно, гостеприимный, — заверила Маришка, проводив гостей. — Они знаешь как испугались, когда ты пришла? Только зачем ты их мальчиками называла?

— А как? — удивилась Вероника. — Молодые люди? Мужчины?

— Ну, как-нибудь так... Им не нравилось.

— Ладно. Пошли за хлебом, одной темно уже.

— Мм... только расслабились! Может, папе позвонишь?

— У него же срочный заказ! Пока придет, все разберут. Тусь, посуду убери!

— А гости Маришины были.

— Ну и я когда-нибудь тебе пригожусь!

По лицу было видно, что «когда-нибудь» Туську не устраивало. Не любила она неопределенности. Но, вздохнув, смирилась.

Николай вернулся, когда Вероника уже развешивала постиранное белье. Прищурился:

— Сейчас угадаю. Стирка к ночи — для успокоения. Опять в школе нервы мотали? Комиссия какая-нибудь? Или... Ты ревела, что ли?

— Коль! — Она всхлипнула. — Ну скажи, почему так? Все люди как люди... А у нас даже холодильник в кухне не помещается! Ни платья Маришке... Она пышное хочет, я знаю.

— Да брось! До выпускного еще месяц целый. Заказ есть, сказали — вот-вот заплатят... И вообще! Об экзаменах надо думать, а не о выпускном. А девки у нас и так красивые, без пышных платьев. И нечего реветь! Вон моя бабушка после войны колоски на поле собирала,



чтоб дети с голоду не умерли. А за это, между прочим, посадить могли: статья — хищение народного имущества... Ну или хочешь, брошу завод, грузчиком пойду? Или вместе на рынок двинем, реализаторами?

Иногда Вероника не понимала: шутит он или серьезно?

— Не хочу, — на всякий случай уточнила без улыбки.

С топотом примчалась Туська в пижаме, с телефоном в руке:

— Мам, твой!

Сотовый, действительно, загадочно вздыхал.

— В такое время только любовники звонят, — буркнул муж.

Вероника сердито отмахнулась.

— Слушаю... Да, здравствуйте.

Вытаращила глаза и прошептала одними губами: «Завуч!»

— Вероничказахарна, уж простите за беспокойство, — доносилось из трубки, — случай экстренный... Вы же у нас по сочинениям ас, а тут мальчика срочно подготовить к ЕГЭ... Это моей знакомой сын. Даже не знаю, о чем она раньше думала. С мужем разводилась... Вот именно! Не могли подождать, пока ребенок школу закончит? Мальчишка — лентяй, конечно, но сам по себе хваткий. Работа, прямо скажу, непростая... и времени потребует... Не бесплатно, естественно... Так выручишь, Вероник? Возьмешься?

— А он заниматься... готов? — все-таки спросила Вероника.

Перед глазами встало мученическое Ленкино лицо. Муж развел руками и покрутил пальцем у виска.

— Все, что скажешь, будет делать. Родители насчет этого заодно. Вплоть до ремня. Папа сказал: битие определит его сознание! Хотят, чтоб каждый день занимался. Так что даже не сомневайся... и не стесняйся, они люди состоятельные... Да? Ой, ну спасибо, выручила! Тогда дам им твой телефон, можно?

— Ну... можно, — наконец великодушно разрешила литераторша Вероника Захаровна завучу Ольге Олеговне. И, нажав отбой, спросила в пространство: — Если каждый день, это как же я успею? А музыкалка?

— Успеешь, — заверил муж. — Музыкалку сестра проконтролирует, она у нас шустрая. Марусь, ты как, справишься сестру возить? Ради пышного платья?

Маришка незаметно очутилась рядом:

— Без проблем! А когда покупаем, мам?

### Развернутый план сочинения

Мальчик оказался крупненький. На голову выше мамы. И заметно шире. А лицо равнодушное, сонное. Небось просыпается только за компьютером, на глаз определила Вероника.

— Он у меня компьютерный гений. — Мама словно подслушала мысль. — Но теперь до экзамена — ни-ни. Все силы на подготовку. Мы же договорились, Андрюша?

Голос у мамы был дивный — нежный, звонкий. Не голос, а песня. Гений кивнул, глядя перед собой.



— Особенно с сочинениями у него плохо. Как-то, знаете, вообще не даются.

— А читает Андрюша? — без особой надежды поинтересовалась Вероника.

— Да, да! Особенно раньше очень много читал! — запела мама в новой тональности. — Классе в пятом, шестом. Сейчас, конечно, не до того. Тут хоть бы экзамены сдать. Еще ЕГЭ этот придумали...

— Ну, садись, — распорядилась Вероника: хотелось побыстрее перейти от вокализов к делу. — Если хотите, можете присутствовать.

— Что вы, что вы! — встrepенулась мама и решительно направилась к двери. В коридоре шепнула: — Развелись мы летом... Очень переживает! Но отец сказал: все сделаю, чтоб сын дураком не остался. Так что насчет оплаты даже не сомневайтесь, Вероника Захаровна. Как договорились: по два часа и каждый день. Вот тут за неделю вперед... — И, сунув в руку конвертик, исчезла за дверь.

Показалось Веронике или нет, что на лице у мальчика написано: «Довольна, грабительница?»

— Ну что, Андрей, будем грызть гранит науки? — предложила она с преувеличенной бодростью.

Он неспешно кивнул. Теперь в его глазах читалось: «Ну-ну... попробуй!» В таких маленьких, серых, стального оттенка глазах.

— Тема текста может быть любой, но преобладают моральные. Патриотизм, милосердие, взаимоотношения отцов и детей, влияние искусства на человека. Причем тему важно отличать от проблемы. Тема — это то, о чем говорится в тексте, а проблема — что беспокоит, огорчает автора... Андрей, я понятно говорю?

Мальчик опять солидно кивнул.

— Запишем развернутый план, называется — клише. Я даю стандартное начало для любой темы, продолжение дописываешь сам.

Он не пошевелился.

— Ну, открывай тетрадь, пиши число.

Взгляд на тетрадь. Вздох. И ни с места.

— У тебя ручки нет? Так возьми в пенале.

Косой взгляд в сторону карандашницы. Ленивое движение руки, пальцы перебирают ручки. Их много: пластмассовые, стальные и даже деревянные. Чего у них в доме много — так это ручек и тетрадей. Вытягивает серебристую, с блестящей вьющейся полоской. Рассматривает ее с детским удивлением, глаза приоткрываются. Придвигает растрепанную тетрадь. Наконец-то.

— Пункт первый — вступление. Вообще-то, оно не обязательно, баллов за него не прибавят. Но сочинение будет более цельным. Можно начать, например: «Каждый из нас когда-нибудь задумывался...» И дальше по теме. А можно так: «В век технического прогресса люди нечасто задумываются...» И опять по списку. Ты записывай, записывай варианты!

Снова кивает головой. На чистом листе — только кривенькая единица. А вдруг он вообще писать не умеет? Из какой-нибудь речевой школы...

— Можно объединить вступление в один абзац с формулировкой проблемы. Это пункт второй. Записал?

Ей отлично видно, что именно он записал: двойку и две буквы — «ф» и «п».

— Я запоминаю.

— Вот прямо так и запоминаешь? Ну, попробуй. Проблема — это как вопрос. Позиция автора — ответ. В первой части сочинения показываешь, как понял текст. Потом излагаешь свое согласие или несогласие с автором. Предложения не перегружать, главное — ясность и точность...

Его невозмутимо-сонный вид сбивал ее. Вероника говорила все быстрее, все напряженнее.

— А теперь повтори.

Вздых. Глаза под потолок.

— Сегодня я, знаете, не в форме. Голова болит.

Бешенство уже распирало ее изнутри, как воздух — туго надутый шар. Малейшее прикосновение острого предмета — и...

— А есть критерий за соблюдение этических норм? — вдруг оживился чудо-ребенок. — Нам сказали: напишете сочинение без мата — прибавят один балл! — И глянул ясно и весело.

Вероника тоже слегка улыбнулась. И некоторое время смотрела на него с этой ледяной улыбкой. Немыгающим взглядом. Пока он не заржал и не отвел глаза.

Потом проговорила медленно, с нажимом на шипящие:

— Андрюша. Я ведь не фея, а ты не Золушка. Я тебе даже не школьный учитель. Улавливаешь мысль? Если что — выход направо.

Тут он как-то уменьшился в размерах и пробормотал:

— А че, я пишу уже... Можно еще раз второй пункт? — И наконец принял выводиться невразумительные значки.

...Вечером Вероника консультировалась по телефону со специалистом:

— Мам, у меня не получается репетировать.

Мама умела слушать, иногда вставляя: «Так... И дальше?» Эти «так» и «дальше» сами по себе оказывали на Веронику бодрящее действие. Как на больного — осмотр врача. «Дышите... Не дышите!»

Еще она умела задавать правильные вопросы:

— А как он сидел? Сколько длился урок? Все записали? Пересказ плана спрашивала?

Вероника понемногу успокаивалась от своих же ответов. А потому итоговый диагноз почти не удивил:

— Я так думаю, мальчишка не безнадежный. Только веди его твердо. Заставляй пересказывать. Проверь домашнюю работу. Начнет опаздывать, пропускать — сразу сообщай матери. Если каждый день занимаетесь — выучит, никуда не денется. — И в заключение: — К тебе еще очередь стоять будет, вот посмотришь!

— Да уж, хотелось бы посмотреть... — проямлила Вероника.

Комок льда в душе мало-помалу оттаивал. Наступала оттепель. И вдруг мама спросила:



— Ника! А помнишь, как мы мимо Ростова ехали? На поезде, летом?

— Ну... да.

— Я еще сказала: может, сойдем?

— Где сойдем? В Ростове?

— Там же до Макеевки всего двести километров было. Два часа езды. Ну, пусть три...

— И... что?

Мама молчала. Но и так ясно было — что.

— Если б знать тогда, что больше не доведется... Ведь сколько лет не была! И дедушкина могилка там.

— Мама...

И что было говорить дальше: «Мама, не смотри телевизор»? «Переключай, когда там стрельба, руины, измученные голоса»? А может: «Не вспоминай детство, мама»?

Еще три года назад кто бы поверил, что будет война? Война в Макеевке, и в Харцызске, и в Донецке... Да разве она не кончилась семьдесят лет назад? Разве не рассказывала мама, как ехали по макеевским улицам советские танки, как люди выходили к дороге, кричали «ура», бросали цветы, а в одном танке в открытом люке стояла девушка с непокрытой головой и бабушка подбежала и протянула ей теплые лепешки?

И теперь все снова? Разрушенные трехэтажки, провалы выбитых окон, осевшие набок хаты без крыш... А дедушкина могилка? Вдруг сровняли ее с землей?

— Мам, ну что теперь?.. Ты как-нибудь...

— Да что уж... Звонила Ира Прокопец, — перебила мама сама себя. — Помнишь ее? В Киеве живет. Приезжала сюда.

— Ну как же, твоя ученица! Из Киева специально к тебе приезжала?

— Да нет, по каким-то делам. Позвонила, адрес записала, сказала — зайдет. Я котлет нажарила, безе испекла. А она даже порог не переступила! Сунула коробку конфет в дверях, обняла, спасибо-спасибо — и бежать. Я кричу: «Ира, подожди! Хоть безе возьми, сейчас упакую!» А она: «Нет, нет!» — и так руки развела, как будто показывала кому-то, что пустые. Как будто следили за ней... Или правда следили? Или... это что такое?

Голос у нее задрожал. И наверняка слезы из глаз.

— Да нет, ну как это — следили? Быть не может... Ну успокойся, мам!

Что еще сказать, Вероника не знала. «Все ерунда, главное — твое здоровье»? Но для мамы главное было — все. Все! И Вероника не могла сообразить, что сделать сию же минуту, чтобы утешить ее. Или хотя бы отвлечь.

Мама справилась сама. Помолчав, продолжала почти обычным голосом:

— А насчет сочинений — даже не думай! Школу вспомни. Тебе же любая тема была — семечки... И кстати, как твоя повесть? Ты же вроде повесть писала. Не закончила еще?

Повесть! Вот кто бы еще про нее помнил... Давно забросила, конечно. А может, и закончила бы, живи мама рядом? Живи мама рядом... И сразу подступили непрошенные слезы... Нет, нельзя, нельзя! Сейчас она все расслышит.

По счастью, вбежала Маришка с блестящими глазами.

— Мам, извини, перезвоню! Тут Марусе чего-то срочно...

Отбой. Теперь глубоко вздохнуть. И еще раз.

— Мариш, извини, не поняла. Ты помедленней.

Дочь приостановилась и опять затараторила без пауз:

— Там-Друда-и-Робин-ну-помнишь-у-них-проблема-надо-в-Москву-сегодня-на-билеты-еще-скидка... — Тут ей пришлось перевести дух. — А-стипендия-только-через-неделю-мы-можем-помочь?

— Сколько?

— Через неделю вернут!

— Сколько, спрашиваю?

— Всего семьсот рублей не хватает.

— Марусь, — вяло воззвала Вероника. — Ну только-только же деньги вперед дали! А платье твое?

— Ну и что? Через неделю купим. Еще даже экзамены не начнутся! И папа сказал: ему зарплату вот-вот дадут.

«Нет уз святее товарищества». В каком классе она давала такое сочинение? И разве можно сейчас что-то доказать Маришке? Вероника побрела в прихожую. Друда и Робин стояли рядышком по стойке смирно: лица преданные, глаза ясные. Поздоровались. Сзади горячо дышала Маришка, она же Ариэль.

«И ведь не отдадут! — с пророческой уверенностью пронеслось в голове. — Но, может, хоть ума прибавят...»

Деньги с ладони будто ветром сдуло. Вероника ушла, не дослушав благодарностей. Радужное будущее: воскресный рынок, веселая пестрота вещевых рядов, вскрики продавщиц: «Подберем на девочку!» — снова отодвинулось в туманную даль.

Проходя мимо мужа, остановилась:

— Коль, как ты думаешь: человек же должен в детстве переболеть доверчивостью? Это же как иммунитет, да?

— Ну да... если только в детстве.

И, к счастью, ничего больше не спросил.

Ближе к ночи она разыскала успокоительное — так, на всякий случай, знала свой организм. Но оказалось, напрасно. Через десять минут позвонила Светлана.

Сначала Вероника разговаривала в комнате. Когда муж включил телевизор погромче, перебралась в кухню. А когда телевизор затих и у Светки кончились деньги, вернулась в комнату и зашептала:

— Коль, к нам Света зайдет? У нее трагедия какая-то, кого-то убили... Мы в прихожей посидим, ладно?

Муж в темноте махнул рукой, отвернулся к стене и натянул одеяло.

Вероника не узнала бы Светлану, если бы встретила на улице. Она горбилась и потирала плечи, словно замерзла. И у нее вдруг исчезли губы.



Вокруг рта нарисовались старушечьи морщинки. Светлые, слезами будто вымытые глаза окружала краснота: покрасневшие веки и нос, багровые пятна по лицу.

— Генка слышать не хочет, а я не могу, — забормотала она с порога, направляясь в кухню.

Вероника не посмела ее остановить.

— Думаю все время... Почему так? Ну почему у нас так все происходит? Этот Кирька — сосед наш... Был. Неудачный такой пацан, нескладный, вечно то потеряет что-нибудь, то разобьет. И учился кое-как, на второй год хотели оставить... или даже оставили. Однажды, мать рассказывала, без нее в дом цыганку пустил. Тогда домофонов не было — она постучалась, воды ребенку дай, говорит, а, пока он до кухни дошел и вернулся, из прихожей материн платок пуховый утащила. И все смеялись: ну это ж Киря!.. И вот заболел чем-то... Слушай, у тебя кофе есть? Хоть растворимый?

Пока Вероника сутилась с чайником и чашками, Светка сидела на стуле сгорбившись и продолжала бормотать, глядя перед собой:

— ...неизвестно чем. Но вроде печень определили. Валентина с ним по врачам бегала, потом по знахаркам, а он все худеет, желтеет... Ни уколы не помогли, ничего. В больнице тоже лежал — не определили. Какие-то капельницы делали, а все без толку. То гепатит С ставили, то онкоологию, но лечили больше на ощупь. А уже в мае встречаю его — даже глазам не верится, какой худой! И плетется так, даже качается, прямо как старик.

Вероника осторожно примостилась на стул, подвинула печенье. Светлана взяла было одно и тут же забыла, уронила на стол и уставилась воспаленным взглядом.

— Он бы и так умер, сам собой. Ему недолго оставалось. Так нет же, суки эти! Поймали его: он зачем-то вышел в одних шортах, за сигаретами, что ли. Курил же еще, дурачок! И без документов, конечно, вообще без всего. С пустыми руками, в кармане только мелочь. Вот из-за рук его и повязали! Глянули, а вены исколоты. Хотели пришить распространение наркотиков. И ничего не слушали, поволокли его. А Валька бедная ни сном ни духом... Пока хватилась, пока в полицию, заявление сразу не приняли, ну как у нас бывает... Только потом, на опознании... А у него синяки везде! На Вальку смотреть страшно, только твердит: «За что? За что ему?» И воеет, прямо как зверь. А Генка мне говорит: дура ты, он наркоман был, что ты эту Вальку слушаешь?.. Я при нем почти не плачу, только по вечерам иногда. Сегодня чувствую — накатывает, побежала к тебе.

— Вот и молодец, — подхватила Вероника. — Тебе с молоком? У меня есть.

Сидели в тишине перед чашками. Надо было что-то сказать. А выходило только сухое, дежурное:

— Светик, ну ты себя побереги. Мальчику уже не помочь. А у тебя дочка. Девчонкам мама знаешь как нужна? А когда им станет лет за сорок, особенно... И Генка на самом деле переживает, просто не говорит. Они все такие.

Светка смотрела бессмысленным взглядом. Потом сморгнула, оглядела плиту, стол и прерывисто вздохнула.

— Вальку от работы в санаторий посылают, — заговорила спокойнее. — А она говорит: не поеду, я там с ума сойду от мыслей. А может, зря? Может, наоборот, отвлечется? Надо на нее нажать. Она меня слушается. Раньше слушалась.

— И теперь послушается. Ты ж у нас такая, Светик: все тебя слушаются.

Светка чуть напрягла губы. Как будто вспомнила, что когда-то умела улыбаться.

— Слушай, а может, в школу тебе вернуться? Как-никак живая работа, и на всякие мысли времени нет. С детьми и стареть некогда. Ну вспомни свой класс! Как в лес ездили... «зарницу» проводили... Не скучаешь?

— Утешаешь, подружка? — Она потрепала Веронику по затылку, как маленькую. — Все-таки вы, учителя, такие... тоже как дети! Не взрослеете.

И опять точно окаменела лицом.

...Николай заглянул в кухню ближе к утру.

— Что, и не ложились? — спросил хрипло. — Это Светка тебя раздергала?

— При чем Светка? — шепотом вскричала Вероника. — Просто я ничего не могу изменить! Понимаешь? Ни-че-го! Потому что не взрослею. Вот пишу жалобу на себя!

И потрясла толстой тетрадью.

## Превосходная степень эпитетов

А иногда казалось: все в целом нормально. Солнце встает поутру. Маришка с Туськой распевают дуэтом: «Не пей вина, Гертруда, пьянство не красит дам...» Мама прошла какую-то диспансеризацию — вроде бы все нормально. Какое чудесное слово — «нормально»!

И даже телефон нынче звонит приятной финской полькой.

— Ну как там Андрюша, занимается? — прощепетала в трубке родительница.

Никогда не смогла бы Вероника так жизнерадостно щебетать — словно ожидая услышать в ответ: «Отлично! Прекрасно! Просто великолепно!» Особенно если бы ее ребенок учился как Андрюша.

— Занимаемся, — отчиталась она. — С переменным успехом... Сопротивляется Андрюша. В общем, в борьбе.

И показала Маришке два растопыренных пальца. Что означало: готовность две минуты — и выходим. Искать платье.

Дочь кивнула с блаженным видом. Видимо, что-то приятное слушала в своих наушниках. Как-то она все успевала: и заниматься, и по дому, и музыку слушать. И не опаздывать. Не в маму пошла.

— Ну вы уж, пожалуйста, Вероника Захаровна, как-нибудь боритесь с ним, — раздался новый пассаж, с оттенком мольбы.

— Естественно, — без особого энтузиазма заверила Вероника. — Взялся за гуж... Уже штук десять сочинений написали. Кстати, вы рассказы по списку ему достали? Для аргументов. Чехова, Толстого, Распутина?



Маришка теперь переминалась у двери, сняв наушники.

— Ну-у... не все еще, — пропела мама виновато.

— Так поторопитесь! — отчеканила Вероника. — До экзамена две недели! — И, засовывая мобильный в сумку, пробурчала: — Хорошо хоть, отцу зарплату дали. Боюсь не дотерпеть этого Андрюшу до экзамена.

А Мариша снова улыбалась. Видно, была уже вся там — в мечтах о прекрасном платье. Рассуждала дорогой:

— А помнишь, мы бирюзовое видели? Ты еще сказала — мой цвет. Ну такое открытое, приталенное, с пышным подолом?

— У тебя и в девятом бирюзовое было.

— Не-ет, ну то же ты сама шила! И не бирюзовое, а морской волны. И короткое.

— Не короткое, а нормальное. Ты его хоть носила. А длинное, да еще с пышным подолом? Купим — а потом куда его?

— Ну как куда? На день рождения, например, в кафе... В театр, в кино тоже можно.

— В театр — это если только на сцену. А в кино ты в нем на сиденье не поместишься.

— Ну ма-ам!

— Ладно. Приедем на рынок — там определимся, — пресекла дискуссию Вероника.

Но какая-то тень недовольства уже повисла в воздухе. Что-то нарушилось. Долгожданный праздник помрачнел.

До базара доехали молча: Маришка опять в наушниках. Музыка, судя по ее лицу, была невыносимо печальная.

«Или пускай уже на один раз это бирюзовое? — мучилась Вероника. — Зато запомнится. Так ведь отец скажет...»

— А где наш базарчик?

Остановились как вкопанные: на месте знакомых разноцветных палаток зиял впечатляющих размеров котлован, огороженный красно-белой лентой. Дальше простирались павильоны, известные уютными примерочными, любезными продавщицами и неслабыми ценами.

Переглянулись уныло.

— Давно не были. Сюрприз... Ну что ж делать, пойдем туда! — объявила Вероника. — Может, и найдем твое бирюзовое. Ну переплатим немного...

— Да ладно, не надо его. Я передумала.

Вероника посмотрела удивленно:

— А какое хочешь?

Дочь неопределенно повертела рукой, пожала плечами.

Почему-то теперь ей не нравилось ничего. Напрасно старались продавщицы, отпуская комплименты.

— Вы только посмотрите, мама! Вот в этом — статуэтка, просто статуэтка!

— Марусь, как тебе?

— Не очень. Цвет какой-то...

— Не нравится розовое? Ну белое примерь, новая модель! И как раз на твою талию. Мама, ну сами смотрите!



- Оно же серое. — Голос у Маришки равнодушный.
- Где серое? Это жемчужный цвет, последний писк!
- А если это сиреневое?
- Ой, ужас! Только не рюшечки!
- Ну, я не знаю... Сама поищи.
- Вот это, может?
- Черное, с таким декольте? Мариша! Это же выпускной вечер!

И на цену обрати внимание...

— Девочка, ну ты ж в зеркало на себя смотри! Ты что, тетя сорока лет?

- Мама, пойдем.
- Куда теперь?
- Домой. Пойдем домой. Мне ничего не нравится.

Вот и расти их. Старайся, помогай, одевай-обувай. Мота́й нервы на кулак.

- Ну чего ты, мам? Потом купим. Не обязательно же сегодня.
- Марина. Сегодня. У нас. Есть. Деньги. А потом их может не быть! Слезы на глазах. Этого еще не хватало. Мама обидела ребенка.
- Марина, если ты...
- Здравствуйте!

Это еще что за тип? Длинный, всклокоченный.

— Карлик, привет!

Вот уже и просияла. Какой-то мальчишка, неформал. А на родную мать можно волком смотреть.

— Здравствуйте... Карл.

И чего хохочут, спрашивается? Понапридумывали не пойми каких кличек...

- Мама, он на самом деле Егор... Егор, мы выпускное платье ищем. Уже опять, оказывается, ищем?
- Отлично! А я как раз крупный специалист по выпускным платьям. Могу вам чем-нибудь помочь?

— Конечно, Карлик! Мама, думаю, не против?

Отчего же маме быть против? Она всего-то год мечтала выбрать нарядное платье. Вдвоем со взрослой дочерью.

— Конечно нет.

Какие там платья? Он на них вообще не смотрит. Мелет всякую чушь, а Маришка и рада — хохочет. Клоун.

— ...короче, оторвались по полной! А вот глянь, как тебе?

Странно: дважды проходили мимо этой витрины, а не заметили такое платье. Очень даже приличное. По крайней мере, получше черного и серого.

— Мам, я примерю? — И бегом в магазин.

И они с этим клоуном следом.

— Я так подумал: его же можно будет и потом носить? Как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Универсальная вещь!

Что она, собственно, к нему прицепилась? Неплохой, в сущности, паренек. Глаза умные.

— Угу, вроде ничего...



Наконец портьера примерочной распахивается.

Продавщица ликует:

— Ну, мамочка, оцените! И вы... тоже.

Нет, это не Маришка! Незнакомая красавица с сияющими глазами, вся в чем-то кремовом, сливочном, то переливающимся, то как будто шестящем...

— Смотрите: это тройка. Атласная нижняя юбка, шелковый сарафан с отделкой, шелковое фигаро. По фигуре все село превосходно, видите?

— Маруся! Это прямо... твое. Это... правда превосходно! — бормочет Вероника, но тут ее мягко отстраняют.

Клоун Карлик, он же Егор, интересуется въедливо:

— А сильно мнется? Полиэстера в нем сколько? — И снисходительно слушает объяснения:

— Да что вы, натуральный шелк тридцать пять процентов! Атлас вообще натуральный! Ну, сами понимаете, деликатная стирка, не больше сорока градусов... Подплечники снимаются. И скидку, конечно. Но только рублей сто пятьдесят, двести, больше не могу — не хозяйка... Ну ладно, триста. Ради красивой девушки!

И откуда он взялся, этот Карлик-Егор? Уже и принял пакет с дивным костюмом и важно кивнул продавщице. Уточнил деловито:

— Обувь берем?

А ведь действительно, теперь, пожалуй, хватит и на туфли.

— Значит, нам во-он туда.

Привел в дальнюю стекляшку, всю облепленную надписями «Распродажа», и объявил командным тоном:

— Нам белые. На выпускной!

И тотчас принесено было четыре коробки требуемого размера. Не прошло и десяти минут, как Маришка вышла обратно, обняв коробку с сокровищем — лаковыми, точно в тон костюму босоножками.

«Бывают же такие необыкновенные дни! — размышляла Вероника. — Когда наметишь — и сделаешь, загадаешь — и сбудется, затруднишься — и помогут... И даже пустой трамвай подъезжает, не успеешь ступить на остановку».

— А этот Егор — он тебе нравится? — осторожно спросила Маришку под уютное дребезжание по рельсам.

— Ой, мам, он мне просто друг! — почему-то возмутилась красавица дочь.

Да, красавица и умница. И к грозному ЕГЭ готовится сознательно, не то что некоторые ученики... А кстати, ученики!

— Сколько времени?! — вскричала Вероника не своим голосом. — Я про урок забыла!

Но судьба и тут повела себя благосклонно. До урока с мучителем Андрюшей оставалось еще сорок минут. Можно выдохнуть.

Явился он, правда, пораньше — едва успели глотнуть чаю.

— Твой любимый ученик, — объявила Туська, возвращаясь от двери в новом сестрином фигаро.

— Угу. Здравствуй, Андрей, проходи! — пригласила Вероника. — Мариш, ты мои тесты не брала? А, вот они.

Андрей присел на краешек дивана.

— Ну, показывай домашнее задание.

— А я... — Он замялся, как будто что-то проглотил. И договорил с усилием: — Больше не буду заниматься.

И посмотрел непривычно широко открытыми глазами.

— Не поняла. Это что, шутка?

Хорошее настроение не хотело покидать ее.

— Не буду у вас заниматься, — повторил он, на этот раз с легким раздражением.

«А у кого?» — чуть было не ляпнула она, да вовремя спохватилась. Нельзя задавать бестактные вопросы. Не устраивает один репетитор — люди берут другого. Нормальная практика.

— Отец сказал: дураком я был — дураком и останусь, и нечего на меня деньги тратить.

— Отец сказал, — эхом откликнулась Вероника. — Вот оно что.

Андрей кивнул. Он утомился, произнося длинную фразу. И теперь с облегчением молчал. Ожидал сигнала уйти.

— А что я с тобой третью неделю вкальваю, как шахтер, это ничего? — кратко осведомилась Вероника.

Парень поленился пожать плечами — только слегка приподнял брови. Мол, что поделаешь, если такая у вас странность.

— Что я в тебя за двадцать занятий всю орфографию вколотила? — с нарастающей яростью продолжала она. — А еще пунктуацию в простом предложении и план сочинения? Это все коту под хвост?

Он отодвинулся, глядя с опаской. Вероника сжала губы и сцепила пальцы. Глубоко вздохнула и села на стул.

— Значит, так, друг мой Андрюша. С сегодняшнего дня ты занимаешься бесплатно. Работаем по прежнему расписанию, день в день. И попробуй только пропустить занятие! Попробуй не сдать ЕГЭ нормально!

Глаза опять расширились. В них читался жалобный укор. Мальчик не понимал.

— Ты что же думаешь: я со всеми за деньги занимаюсь? — продолжала Вероника помягче. — У меня, между прочим, подруги есть, родные... А мы с тобой каждый день общаемся — уже почти родственники!

— Ну хорошо хоть, что почти, — буркнул он, нехотя доставая тетрадь.

## Маленькие трагедии

— А вы в этом году не выпускаете? — обернувшись, спросила Веронику учительница с первой парты.

— Нет, мои только в пятом. Теперь уже, получается, в шестом.

— Да, здесь в основном невыпускающие. Смотрите, какие спокойные лица. Сразу видно: просто сопровождают, привели чужих учеников на последний ЕГЭ. Притом ЕГЭ по выбору, от школы — одного-двух.

— А мне кажется, в чужой школе всегда как-то спокойнее.

— Особенно когда учебный год закончился.

К спокойствию располагал и класс — кабинет географии. Карты на стене, большой глобус, коллекция минералов — все призывало отвлекаться от школьных будней, помечтать о дальних странах, путешествиях...

— Вам не кажется, что географы — самые счастливые из учителей?

— Может быть... Тут, кстати, не обязательно учителя — есть психологи, библиотекари. А учителей половина уже в отпуске.

Приятно было поболтать с коллегами, не проверяя между делом тетради и не дергаясь от звонка. И обстановка подходящая: в углу на парте бурчит электрочайник, на учительском столе чашки на подносе и вазочки с конфетами-печеньями.

— Я шестнадцатого уйду. А вы когда?

— Мне рановато еще: дочка — выпускница. Вот закончит — и уйдем вместе.

— О, поздравляю! И как ЕГЭ сдала?

Называя цифры любопытствующим, Вероника всякий раз тайно торжествовала. Знала, что услышит дальше.

— Ого! По математике? Блестяще...

А вот следующую большую тему следовало пресечь.

— И куда собира...

— Смотрите: чай уже закипел. Вам принести?

Учителя разделились на две группы. Вероникина расположилась ближе к доске, и разговор принял профессиональное направление.

— Вот так годы и летят, не успеешь оглянуться. А мы всё в планах, в тетрадях. Глянешь в зеркало перед выпускным — привет, старушка!

— Но все-таки с детьми чувствуешь себя моложе, согласитесь! И каждый день что-то новое.

— Это точно. Идешь и не знаешь: тебя сегодня то ли на замещение пошлют, то ли во дворе деревья белить.

— Или завуч на урок явится.

— Или дети стекло разобьют...

На задних партах преобладали темы житейские. В паузу оттуда доносилось:

— ...интеллигентная такая женщина, только всегда печальная. Спросишь ее: «Как дела?» — а она: «Не будем о грустном. Лучше про свои расскажите». Как-то говорю: «Ну когда же я от вас услышу, что все нормально?» А она махнула так рукой — типа, куда там! И правда, жила в завалюшке, и единственный сын в тюрьме, в какую-то историю его дружки втянули. А еще она от запоров сильно мучилась, бедная...

Ближние гнули свою линию:

— Я под конец года просто ничего не хочу. Ни-че-го. Верите?

— Еще бы! Эмоциональное выгорание называется. У нас однажды историчка уехала за больным отцом ухаживать, а нам ее тридцать часов раскидали. У меня вместе с моими сорок один в неделю получил. И представляете, такое удивительное состояние наступило: мне все до лампочки! Написали контрольную на двойки — наплевать. Сорвали урок — ну и флаг вам в руки. Даже кофточку себе на последний звонок

не сумела выбрать: ни одна на всем рынке не понравилась. Вот только здоровье сыночка еще как-то волновало. Рассказала нашему психологу, а она мне говорит: «Попробуй есть бифштексы с кровью». Даже смешно: семья впроголодь живет, а я буду бифштексы наворачивать!

В ответ раздавались сочувственные междометия и вздохи.

С другого конца класса слышалось:

— «Да неужели наконец-то? Все-все хорошо?» — «Все прекрасно!» — говорит и прямо сияет. И что вы думаете? Оказывается, воцерковилась. Стала к причастию ходить, на службы, как там полагается. «После первой исповеди пришла домой, — говорит, — и молюсь: Господи, как я теперь очистилась душой, так очисти же и мое тело!» И что вы думаете? С тех пор никаких запоров. Каждое утро процесс как по расписанию!

Тем временем передние оживлялись:

— А вспомните молодость, девочки! Сколько было сил, сколько страсти! Я с первым выпуском чего только не творила: и концерты, и викторины, и в музей, и в цирк! И никто не удивлялся, вроде так и надо. Начальству, естественно, по барабану: типа, причуды у меня такие. Только одна-единственная девочка в восьмом классе, Олечка, как-то подошла и говорит: «Спасибо вам, что вы нас на море свозили!»

— А помните, в девяностых какой-то указ вышел — посещать детей на дому? Ну как не помните? А в нашей школе было. Вот кровь из носу, но посети за месяц весь свой класс! Завуч вечно с таким праведным лицом: «Ну хоть раз в месяц должен классный руководитель порог ученика переступить?» У меня, помню, ровно тридцать человек было. Хорошо, что жили все рядом, возле школы. Раз идем с подружкой, и собака бежит. Я говорю: «Не бойся, она не кусается, это моего Петренко собака». А она как захохочет: «Так тебя здесь каждая собака знает?»

— А я «Моцарта и Сальери» ставила. С шестым классом, на минутку! «Моцарта и Сальери». Маленькую трагедию. Полный пушкинский текст, все от слова до слова. Сейчас вспоминаю — сама себе не верю. Главное, никто ведь не заставлял. Слепому скрипача девочка изображала, у нее скрипка была. Сама играть, правда, не умела, да там особо и не нужно. А Моцарт мой хоть и в музыкальную школу ходил, а свой Реквием никак не хотел учить. Но ничего, заставила. Восемь тактов. За три пятерки по русскому.

— «А может, и хорошо, что он в тюрьме! — долетало сзади. — Может, на свободе его бы уже в живых не было!» И так убежденно возглашает... Я стою, не знаю, что сказать. А она как разошлась, глаза горят! «Подождите, — говорит, — я вот еще по тюрьмам пойду Евангелие проповедовать! И вот тогда уже все просто отлично будет!»

— Да-а... — вздыхает кто-то.

И зависает тишина. Только булькает разливаемый чай. Позвякивают ложечки в чашках. Шуршат конфетные обертки.

Однако долго молчать учителя не привыкли.

— И что теперь? Сравните, сравните! — предлагает полная женщина через проход от Вероники. — На работе одна мечта: скорей бы домой! Скажете, нет?



— Ну нет, не-е-ет! — подключается к теме задняя группа. — Есть еще одна: скорей бы зарплата!

— Отпускные!

— Чтоб наконец-то ремонтом заняться.

— Дачей! Дачей!

И вот уже весь класс гудит, как какой-нибудь седьмой «В» на диктанта, когда звонок уже прозвенел, а тетради еще не собрали.

— А мне сын недавно говорит: «Мам, ты даже когда в магазин посылаешь, строишь речь как сочинение, по плану: тезис, аргументация, краткие выводы...»

— Девочки, у меня в этом году клубника — я вам передать не могу! Пахнет так, что вкус затмевает.

— Знаем, знаем: круглая. Так она же не лежит совсем.

— А чего ей лежать? Это ж клубника! Проглотить — и дело с концом.

— Кто-нибудь знает хорошего мастера по ремонту? На малые объемы? Мне плитку на балконе положить и в прихожей обои поклеить.

— Уж обои можно и своими силами! Тем более в прихожую. Какая там площадь у вас?

— Кстати, девочки, хозяйке на заметку: из ненужной книги можно сделать вешалку для ключей. Только обязательно в твердом переплете, каком-нибудь красивеньком. Прикрепляешь к стене в прихожей, а к ней — любые крючочки...

— Что-о-о?! Вешалку — из книги?

Вероника выкрикнула это одновременно с другой женщиной, только что вошедшей в класс. И они дружно пронзили «ключницу» испепеляющими взглядами.

— Ладно-ладно, — стушевалась та, — не настаиваю. Пожалуй, неудачная идея. Вы библиотекарь? — извиняющимся тоном спросила у Вероники.

— Библиотекарь — я! — вызывающе объявила другая.

Лицо и голос ее казались смутно знакомыми.

— Но дело не в профессии. Дело в отсутствии... я не знаю... нравственных принципов!

— Коллеги, коллеги, — забеспокоилась любительница клубники. — Не будем ссориться! Конечно, мы все должны уважительно относиться к книгам. Даже в наш век, когда гаджеты...

— Я узнала вас, — вдруг сказала библиотекарьша все еще сердито, подходя к Веронике и садясь на соседний стул. — Вы пишете прозу.

Вероника почему-то не удивилась. Видимо, за последнее время на нее свалилось слишком много новых впечатлений. Лишь на минуту зазвенело в ушах, и часть следующей фразы она пропустила.

— ...в литературно-художественном альманахе, — говорила эта женщина. — Мне приходится совмещать, бегать туда-сюда. Пока выходим ежеквартально. Не читали? Я принесу вам. Администрация, с одной стороны, поддерживает, а с другой, сами понимаете, финансы... Но у нас еще такая проблема: маловато материала. Есть у вас рассказы, повести? Конечно, нас интересуют прежде всего неопубликованные вещи.



Тут выяснилось, что и память у Вероники ослабла. Она решительно не помнила, есть ли у нее рассказы. И по-прежнему не могла сообразить, почему лицо собеседницы кажется ей знакомым.

— Я к вам в школу приходила, но вас не застала, — продолжала та. — Меня, кстати, Жанной зовут! Меня к вам Святослав направлял... в смысле, Святослав Владимирович, режиссер. Помните его? Он еще какую-то вашу пьесу хвалил.

— А скажите, Жанна, у вас есть серый шарф? — спросила Вероника.

### Попытка монолога

Ночью приснилось море. Но не ласковое шелковисто-синее, каким его с детства любила Вероника, а серое, холодного стального оттенка. Да ведь и лет-то сколько прошло, взгрустнулось ей во сне. Может, море только в детстве синее? Войдя в воду, она неожиданно легко заскользила по серым волнам — и вот уже, не успев даже запыхаться, тормозила у скользкого красного шара буйка! Она чувствовала, что может плыть и дальше, куда вздумается, может промчать еще столько же в любую сторону! Так, значит, эта стихия все еще подвластна ей, как когда-то? И радостно огляделась: щедрое солнце, полуденный пляж, блики в волнах...

Наяву же с утра было прохладно. А точнее, холодно. Каприз июня, вздумавшего притвориться апрелем. Но замерзла Вероника не на улице, а уже в редакции альманаха, на пороге кабинета с табличкой «Проза и публицистика».

— Присаживайтесь, — пригласила Жанна, хозяйка этого ледяного царства, и привстала за столом.

На ней был длинный бело-серый жилет с серебристой брошкой в виде звезды. Что-то от Снежной королевы.

Она захлопнула какую-то книгу, бросила карандаш на стол и вдруг улыбнулась совсем не по-королевски:

— А я вас поджидаю. Уже давно повесть прочла. Кофе будете? У меня в термосе натуральный.

Она протянула чашечку-наперсток, и от первого же глотка Веронике стало теплее. Даже как-то расхотелось сразу обсуждать повесть. Хорошо бы просто посидеть здесь в уголке. Освоиться. Собраться с духом. Не спеша, крошечными глотками выпить кофе...

Но через полминуты у нее само вырвалось:

— Ну так что скажете? — И после небольшой паузы: — Можно правду-матку.

После чего осталось только поставить чашку на стол, сцепить пальцы и притворно улыбнуться.

Жанна тоже вежливо улыбнулась:

— А что тут скажешь? И форма, и содержание — все есть... в общем-то.

И замолчала. Ничего больше не прибавила.



Вероника оцепенела. Это молчание ничего хорошего не сулило. Сейчас обнаружится, что альманаху урезали финансирование. Или что редакционный портфель заполнен на три года вперед. Или что в сюжете повести...

— Опять судьба маленького человека, — с легким укором, все еще улыбаясь, заметила Снежная королева.

Все понятно. Королевам — им ведь подавай рыцарей, суперменов и исторических личностей. Под соусом из роковых страстей. Сейчас еще скажет...

— А вы не думали сделать героиней какую-нибудь незаурядную фигуру? — спросила Жанна. — Ну, допустим...

— Екатерину Вторую, — подсказала Вероника.

— Екатерину?.. Почему бы и нет? — согласилась королева, она же библиотечкарь. — Все-таки в прошлый раз выбрали не кого-нибудь — Данте! Чувствовали, что в современной литературе идет поиск героя. Настоящего героя, понимаете? Масштаба Раскольникова, Пьера Безухова. Из женщин — Наташи Ростовой, Татьяны Лариной.

— А чего их искать? — пожала плечами Вероника. — Татьяна Ларина у нас в школе работает. И не одна, а целых две. Тоже литераторши. Любят природу, романы читают, учеников в театр водят. Одна даже замужем. Зато вторая на пианино играет. Милые такие идеалы.

— Что вы говорите! — рассмеялась Жанна и сложила руки на столе, как ученица. — Так у вас, может, и свой Пьер Безухов имеется? И даже Раскольников?

— А Пьеру-то что в школе делать? — удивилась Вероника. — Он человек статусный, небось какой-нибудь политический деятель, представитель оппозиции.

— Или, например, правозащитник, — поддержала игру собеседница.

— Ну да... А Раскольников — человек не публичный. У него, я так думаю, своя компьютерная разработка: игры, квесты и все эти примочки.

— Программист? — разочаровалась Жанна. — Ну нет, я не согласна! Мелковато для него. Там ведь глобальное мышление, склонность к духовным поискам! Уж скорее мораль, философия, религия.

— Это потом, в итоге, — отрезала Вероника. — В результате жизненных коллизий. Сначала пусть пройдет испытания, нравственный переворот, а уж потом, возможно, и воцерковится.

— Сурово вы с ним!

Жанна, кажется, обиделась. Даже встала и, нахмурившись, прошла от окна до двери. И оттуда спросила с вызовом:

— Ну а насчет Наташи Ростовой как? Какие у нее перспективы?

— Да неплохие, я думаю, — пожала плечами Вероника. — Женские-то интересы никуда не делись. Может, мать-героиня, жена видного человека. Большой дом, пятеро детей, образцовое хозяйство... А может, хозяйка какого-нибудь ООО, «Русская свадьба» например. Лучшие ведущие, свадебные ритуалы, всякие там обереги, платя на любой вкус...

— Или ведущая телепередачи про семью, — подхватила редакторша. — С чаем, с разговорами, приглашенными семейными парами...



— Ну да. Социальная роль женщины... тележурналистика...

— А как насчет пения, не пригодится? У нее ведь голос!

— Голос — это да... проблема, — задумалась Вероника. — По-хорошему, ей бы консерваторию окончить. Однако сейчас и другие возможности есть: частные уроки, всякие конкурсы. Победить на каком-нибудь шоу — и вперед! Даже если просто в числе финалистов. И можно начинать концертную деятельность.

— Но видного-то человека своего она все равно встретит, как считаете?

— Естественно. И не одного!

Обе хихикнули, как школьницы.

— И семью захочет?

— Обязательно. Ну уж тогда, конечно, прощай, сцена!

— А ведь какие надежды подавала!

— И не говорите.

Посмеялись с удовольствием. И в самой глубине души опять зажглась надежда... Все-таки проглядывало в этой Жанне что-то свое, знакомое. Что-то очень молодое.

— Только вот ваша героиня, уж не обижайтесь, от силы на кузину Соню тянет. Помните, бедная родственница Наташи? Толстой еще называл ее — пустоцвет.

Та-ак... Значит, показалось. Никакой надежды. Просто длинная прелюдия к отказу. Пустоцвет, значит.

Сейчас главное — сдержаться. Выслушать до конца. Собраться с силами. А уж потом — последний рывок.

— Да еще и пенсионерка... Вы где, кстати, ее взяли? Есть конкретный прототип? Какая-нибудь, наверное, родня?

— У меня соседка на нее похожа... отчасти.

— Понятное дело, задача достойная: милость к падшим, призыв к милосердию. Но у вас же полная бесконфликтность! В советское время это называлось — мелкотемье. Ваша старушка еще сравнительно здорова, вполне дееспособна. А ее заботы так банальны! Ну что она может дать читателю? Растерянность перед жизнью? Преданность своим допотопным понятиям? Воспоминания? Но она не артистка, не пилот, не бывший снайпер...

А вот теперь доказать! Ваше слово, автор!

— Но мне кажется, она ведь не то чтобы совсем... а способна чувствовать, любить... У нее есть внутренний мир... По крайней мере, по сравнению со многими.

Опять этот языковой ступор! Опять все слова куда-то подевались! А ведь казалось, что они с Жанной буквально с детства знакомы. В одном отряде в детском лагере были. Носили одинаковые серые шорты и кричали речевки под барабан: «Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд!» И потом переписывались еще года два...

— По-вашему, любить способны только одинокие пенсионерки? И потом, Вероника, — можно без отчества? — вы разве не в курсе, какие сейчас проблемы перед человечеством? Экология, терроризм, эсхатоло-



гические настроения! Конец света у всех на устах! Конечно, разрабатываются программы защиты от астероидов, стратегии выживания при изменении климата, но все-таки...

Молчание. Слова, ах! Ну хотя бы монолог Чацкого под занавес. Сюда я больше не ездук! Карету мне, карету!

— Я о таком стараюсь не думать... Какой смысл? Разве от меня зависит? И вообще, я читала, смерть — это как тоннель, а в конце все-таки какой-то свет...

Как жалко звучал ее голос! Как нелепы были попытки оправдаться!

— В общем, вы меня извините, Вероника. Я... ну, просто честно вам говорю: не это сейчас нужно читателю. И не думайте, что я презираю одиноких женщин — сама такая, старая холостячка.

Этим словам Вероника не поверила. Не улыбаются так одинокие люди. И брошек в виде звезд не носят.

— Лично вы мне очень симпатичны. Заходите как-нибудь, правда! Поговорим о современном образовании. Наверняка вам есть что сказать. Может, организуем интервью. А художественная проза... Ну согласитесь, не всем же нужно писать. Настоящий автор живет совсем другими образами — яркими, полнокровными. И умеет строить их из мельчайших деталей: какой-нибудь подслушанной фразы, случайного взгляда...

— Но ведь я еще могу исправить, — непослушными губами выговорила Вероника. — Никогда не поздно учиться!

Жанна смотрела соболезнующе.

— Видимо, Святослав Владимирович тогда обнадежил вас... Он вообще очень добрый человек, романтик.

На столе у редакторши запиликал сотовый. Она развела руками и еще раз, напоследок, виновато улыбнулась.

Возможно, среди палачей тоже встречаются милые, приятные люди.

## Недостающие детали

За какой-нибудь час ледниковый период сменился глобальным потеплением. Веронике было нечем дышать. Ладони вспотели. Блузка на спине взмокла.

А может, она просто со всех ног летела по улице — прочь, прочь от этого ледяного дворца? И отлетела, похоже, уже на приличное расстояние. Справа и слева тянулись незнакомые дома. На рекламном щите значилось красным по белому: «Наши цены приятно порадуют вас!» Дальше встретилась парикмахерская под названием «Клюква» — не хватало только «развесистой» впереди!

Надо было узнать, где здесь ходит трамвай или хотя бы маршрутка. Но подходящих прохожих не попадалось. Проществовал величественный старик с палкой — из тех, к которым не подступишься: подбородок кверху, губы брезгливо поджаты. Так и видится изможденное лицо жены, выглаживающей через мокрую марлю эти стрелки на брюках, и как она тайком жалуется дочке: опять, мол, с соседом сверху поругался, что дети

кричат и бегают туда-сюда. Да еще и матом покрыв! А сейчас люди всякие, нарвется — могут и двинуть... А много ли ему надо?

Процокала каблучками девица в щедром декольте. Гигантские приклеенные ресницы, губы и ногти полыхают адским пламенем, на ходу бросает в сотовый, как плюется: «Да! Нет! Нет, я сказала! Вот и пусть лежит! Не твое дело! А потому что!» Это, надо думать, подружке, выпрашивающей куртку со стразами или леопардовые лосины.

А вот ребенок лет десяти гладит рыжего кота. Этого можно бы спросить, но жаль отвлекать: так трепетно движется рука мальчика, так сластно щурит глаза кот! Они еще едины в том счастливом мире, где ничто не делится на черное и белое, нужное и ненужное. И возможно, у мальчика есть бабушка-пенсионерка и он делится с ней секретами и замыслами, а она рассказывает разные случаи из жизни. И слова ее не кажутся ему ни банальными, ни допотопными.

Зазвонил сотовый. Муж.

— Ну как встреча? Что редакторша Жанна?

Он не забыл!

— Да так... нормально.

— А голос чего дрожит?

— Потом... потом все детали.

— Ну ладно. Давай, до вечера!

Все как всегда и нет причин киснуть — вот что он хочет сказать. Все будет нормально! И конечно, он прав.

А что редакторша Жанна?..

Так вы видите меня насквозь, Жанна? Вы все обо мне знаете?

Ошибаетесь. Ошибаетесь! Это я вижу вас насквозь!

Я слышу, как временами учащается ваша речь, вижу, как блестят глаза и улыбка непрощено является на лице. Я чувствую вашу усталость, когда вечером, покинув свое ледяное царство, вы входите в подъезд, все еще бодрым, упругим шагом, и только в старом дребезжащем лифте позволяете себе прислониться плечом к стенке и чуть расслабить колени. И я знаю, что за дверью, отколов звезду и собрав волосы в пучок, вы становитесь самой собой — усталой, средних лет женщиной, которая может, конечно, снова превратиться в королеву, но для этого нужен особенный звонок от особенного человека... Чаще же вы проводите вечера за столом, заваленным книгами и рукописями, с бутербродом и чашкой зеленого чая, потому что неохота готовить для себя. И вы были бы рады, если бы я позвонила.

Но я не позвоню. Лучше я напишу о вас — стильной, талантливой, с неудержимой улыбкой и внезапными, никому не видимыми слезами. Ведь давным-давно, когда мы были едины со всем миром, мы сидели у пионерского костра и пели одни и те же любимые песни. И когда я принесу вам свою книгу, Жанна, мы хоть ненадолго вернемся в мир детства. И может быть, нам удастся придумать что-нибудь такое, что ни жар, ни холод, никакие эсхатологические настроения этот мир не одолеют!

Во всяком случае, почему не попробовать?

Елена БЕЗРУКОВА

## НЕРАЗУЧЕННЫЕ ДНИ

\* \* \*

Мама поцеловала, отвела в детский садик: играй с другими!

А эти другие растеряны, как и ты.  
И воспитатель не так мое  
произносит имя  
режущим звуком с вышколенной высоты.

Мама, не вижу лица твоего овала,  
но, как луна, оно высветится ввечеру.  
Мама, щека, куда ты поцеловала,  
меньше горит на ветру.

Бог целовал, с рук отпуская:  
живи с другими!  
(Шумно и душно в детском его саду.)  
Он обещал: «Как день за своротком сгинет,  
так я за тобой приду».

Долго гляжу в окно, в его цвет чернильный.  
Ты там смотри, не забудь меня насовсем!

Твой поцелуй горит на щеке так сильно.  
Я не пойму зачем...

\* \* \*

Говори мне, если сможешь сказать, —  
отвыкается.  
Сердце к сердцу, не смежая глаза, —  
обжигается.  
Но припомни, как оно, говори!  
Недоверчиво...  
Слышишь, бьется у природы внутри  
человечинка?

Слышишь, в мире городов и небес,  
там, за пазухой,  
дремлет тихое одно из чудес? —  
Вот, рассказывай!

И когда потянешь ниткой клубок,  
скажет зрение,  
что и мир вокруг — всего лишь дымок  
от горения.  
Накаляя целый мир изнутри  
в стужу вечную,  
человеческое сердце, гори, —  
больше — нечему.

И настанет утро, и принесет  
ветра светлого...  
Ты не знаешь, для чего это все?  
А для этого...

\* \* \*

Снеговая простуда, любовь-голытьба,  
аритмия прозрений, нелепых, как чудо,  
отведи эту ночь с воспаленного лба,  
как ладонь убирая прохладную чью-то.

Чтобы выпить воды непроснувшейся, встать  
между полночью липкой и ведьминым часом  
и отправить полуночных вестников вспять,  
через утлую речку за каменным счастьем.





...Мне четырнадцать лет. Я все знаю дотла.  
Я ночных переправ собираю канаты.  
И скучны мне любые другие дела  
за порогом рассвета, распада, расплаты.

Но с утра — за щелчком забурлит кипяток  
полосканья людской непроветренной речи.  
И опять перегон, и опять кровоток,  
и опять это страшное вочеловече...

\* \* \*

Я возьму лишь рябь на лужах,  
палых листьев дребедень,  
выглянувшую наружу  
маленькую птичью тень,  
голубя летящий крестик,  
теплый ветер, дальний гром  
и закопанный секретик:  
яркий фантик под стеклом.

Я возьму лишь еле-еле  
посветлевшее окно,  
незаправленной постели  
неостывшее тепло,  
склад в коробочке бумажной  
первых опытов души —  
все, что, ах, казалось важным,  
настоящим и большим!

А теперь, в саду неверья  
и в степи небытия —  
где волшебные деревья,  
обнимавшие тебя?  
Где пропахшие морозцем  
на пороге мать с отцом?  
Вот она лишь улыбнется —  
и прощен ты, и спасен.

Кто ты, кто ты, где ты, где ты?  
Привкус счастья, обмани.  
Голубой комочек света,  
неразученные дни.



Часовая скачет стрелка  
через маленькую жизнь.  
Почему все стало мелко?  
В чем ошибка?  
Расскажи...

\* \* \*

Ветрено...  
Это ангел безрассудства  
крутит-вертит в небе  
диск-веретено.  
Я ловлю его присутствие,  
как ниточка, которой  
все равно,  
из чего она случилась.  
Как струна, не признающая  
металл.  
Только — музыка и милость,  
только пляшущего ветра маета...

Пропадом.  
Провода твои летучие  
огнем непримирения горят.  
Будет дождь за поворотом,  
но за это нынче не благодарят.  
Потому что без надрыва  
в затерявшемся дожде глухонемом  
не для каждого открыто,  
как трава растет и шепчет перед сном.

Зарево  
угасания дневного,  
перехода в круговую равновесь.  
Зря вы так  
разбегались, умирали, а в конце припева оказались здесь,  
где негромкое цветенье  
и вода, идущая по стеблю в свет,  
где нам не было знаменья,  
да и нас, чего там, не было и нет.

Весело  
нити, волосы, соломинки

летят, о воздух издавая смех.  
Вот — весна  
с голубых побегов смахивает снег.  
Что же ты  
про себя так много думал в пустоту?  
Прожито.  
А никто и не окликнул на лету...

\* \* \*

Спи, потому что  
я не прихожу наяву.  
Нашатырем и будильником  
не отвлекайся.  
В сумерках лошадь бредет  
сквозь большую траву,  
белая, как лекарство.

Спи безмятежно, тогда мы ее не спугнем.  
Из темноты залети — мотыльковая участь.  
Видишь ли, белая лошадь невидима днем.  
Это иная сущность.

Это сбежавшая от разорений и войн,  
выжившая и простившая многократно  
чья-то душа беспризорная —  
выкралась вон  
и не нашлась обратно.

Вот и является в сон  
по траве большой  
девочке, черной, точно воронья стая.  
Девочка повод берет и второй душой —  
белую —  
прорастает...





Михаил ПОЛЮГА

## К СТРОЕВОЙ ГОДЕН

Повесть\*

### 14.

В городе Карши разделились: одни поехали дальше, к самой границе, в Термез, другие, в том числе я, сошли на станции и отправились в город.

Странный этот город — Карши. Мне он помнится небольшим, пыльным, неустроенным; помнится, что долго ехали от вокзала до воинской части, что возле гостиницы, где остановились офицеры, высох и облупился фонтан; что летная часть, в казармах которой нам предстояло провести двое суток, такая же пыльная и неустроенная, как и город. Но оказалось, что память обманчива и недостоверна. Теперь-то я понимаю, что мы оказались тогда на городской окраине: где еще, кроме окраины, могла располагаться летная часть?..

— Так, оболтусы далеко, — выстроив нас у фонтана, начал инструктаж с укативших в Термез «химиков» повеселевший майор. — Надеюсь, вы умнее. Мозги еще не пропили? А диспозиция на сегодня такая: разрешаю съездить в центр, покататься на качелях-каруселях, съесть мороженое. Но чтобы без вина и девок! Вести себя осмотрительно: местные будут заманивать в гости — угощение, плов, нальют стопарик-другой... И — пропал без вести. Что значит — пропал? А то значит, что втихую придушат, в степи зарюют. Или проснешься в Афганистане. Как? А так! Дикие окраины родины. Потому всем оставаться настороже. Ну а завтра в военкомат — за «молодыми». Что не ясно?

Мы кивнули головами, каждый думая о своем. Всем было понятно, что майор хочет нас припугнуть, и все-таки осадок остался: никому не улыбалось заснуть в Карши, а проснуться в Афганистане...

Перепелкин уехал в Термез, и я отправился на экскурсию в одиночку. В центре город оказался иным: шумным, заполненным непривычной для глаз, ярко и необычно одетой публикой, красочным и изобильным, как восточный базар. Повсюду, едва ли не на каждом углу, шла оживлен-

---

\* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2019, № 4.



ная торговля, пахло жареным мясом, пряностями, на застеленных коврами низких диванах чинно восседали старцы в полосатых халатах, пили из пиал чай, степенно смотрели на окружающий мир, как будто знали о нем нечто недоступное остальным.

Я прошелся по базару, съел в какой-то тесной забегаловке шашлык, не оказавшийся таковым (до сего дня не знаю, что это было, — крупно смолотое мясо, приправленное луком и скатанное в шарики, нанизанные на тонкие деревянные палочки). Затем купил двести грамм шоколадных конфет, сел на скамейку и стал придумывать, чем бы еще себя занять. Солнце просеивалось сквозь листву, было жарко и душно, хотя день клонился к вечеру. Еще было тоскливо и одиноко, но до срока возвращаться в казарму, видеть чужие лица, общаться с малознакомыми людьми тоже не хотелось. Не пойти ли в кино на вечерний сеанс? Едучи в автобусе, я видел в окно кинотеатр под открытым небом, афиши на деревянном щите, будочку кассы с открытым окошком. И в самом деле, не пойти ли?..

Кинотеатр оказался небольшим, провинциальным: вкопанные в землю деревянные лавочки, экран, над головой открытое бледно-фиолетовое небо с первыми прозрачными звездочками и текучими тенями-облаками. Публики собралось немного, лавочки все больше пустовали. Я сел на одну такую и стал дожидаться начала сеанса. Но киномеханик мешкал, вечер не наступал, и я волей-неволей задумался о том, что все в этом мире непредсказуемо и, в общем-то, случайно, но — только для человека, тогда как мир, природа, время существуют по определенному распорядку, который невозможно обойти или нарушить. Так может, и человек так живет, не догадываясь об этом, и все для него заранее определено, судьба выстроена от рождения до смертного часа? Тогда, выходит, я приехал в этот город не просто так и в кинотеатре оказался отнюдь не случайно?..

И как бы в подтверждение этих мыслей с соседней лавочки поднялась и под села ко мне молоденькая узбечка, очень милая, стройная, черноглазая, с темно-смоляной косой, переброшенной через плечо. Она посмотрела на меня, по-птичьи склонив хорошенькую головку, улыбнулась краешком губ, подала раскрытую коробку шоколадных конфет:

— Угощайтесь!

Голос у девушки был бархатный, певучий, говорила она без акцента, и, когда говорила, верхняя губа ее приподнималась, обнажая белые зубы, слегка уже вымазанные подтаявшим шоколадом.

Я потянулся к коробке, но, вспомнив о конфетах, купленных на базаре, полез в карман, вытащил и подал в пригоршне девушке:

— И у меня есть... Попробуйте мои...

В ту же секунду над головами у нас скользнул сноп света — и фильм начался. В сгустившемся полумраке, вольно или невольно коснувшись моей руки, девушка легко вздохнула, села свободнее, ближе, как будто изначально была вместе со мной.

Сердце у меня зашлось: что-то будет дальше?..

И тотчас проклятый майор вспомнился со своим инструктажем: «Будут заманивать...» Вот, значит, как заманивают! Но для чего? Чтобы проснулся в Афганистане?



Я весь напрягся, сжался и, забыв о фильме, стал представлять картины одна другой ужаснее. То виделось, что целуюсь с девушкой в темном сквере, а недобитый басмач караулит меня с ножиком в руке в тени тополей. То на каком-то подворье, опять же после поцелуев и выпитого вина, клонюсь в сон — и наутро просыпаюсь в Афганистане. Наконец — что вовсе не просыпаюсь...

Рядом сидела девушка, такая интересная, такая доступная, что захоти я только — и можно взять ее за руку, заглянуть в глаза и даже, чем черт не шутит, поцеловать в бархатные губы. Но уже, как злой ангел, витал над нами майор, и все им было отравлено, все предвкушения и надежды: пожатия рук, взгляды, робкие поцелуи.

«Ну почему мне так не везет? — думал я, не зная, как поступить. — Или дурак я конченный, заячья душа, или — пропади все пропадом!..»

Фильм шел, девушка все так же сидела рядом, но показалось — уже что-то поняла во мне, что-то такое, отчего плечи ее опустились, лицо поскучнело, уголки губ привяли. И уже коробка конфет была положена между нами...

Перед концом сеанса я, для видимости посмотрев на часы, поднялся и, не прощаясь, пошел восвояси — на автобусную остановку, в летнюю часть, к пролежанным матрасам и пыльным, закопченным потолкам казармы.

## 15.

И потянулся поезд назад...

Перед отправкой на перроне толпился народ — в костюмах, в халатах и тюбетейках, в цветастых платьях и таких же косынках, с вещевыми мешками, сшитыми из плотной холстины, чемоданчиками, авоськами со съестным. Мы пытались построить призывников в шеренгу, но они упорно разбредались, тянулись к притихшим отцам, уныло поглядывали на высушенных солнцем стариков, коричневолицых, седобородых, что-то отстраненно жующих (как шепнул кто-то с многозначительным смешком — анашу). Некоторые из отцов, не утерпев, потянулись к нам, заглядывая в глаза, вкрадчиво расспрашивали, качали головами. Подошли и ко мне: «Куда поедем?» Услыхав, что на Украину, одобрительно закивали: «Украина — хорошо, на Украине все есть, богатая Украина!»

Наконец призывники построились. Утром у военкомата, как я слышал, случился пьяный дебош, да и майор предупредил накануне: «Глядите, чтобы они перед отправкой не назюзились! Напьются — сбегут, где потом искать?» И я, человек в ту пору наивный и бесхитростный, насупил брови и пригрозил шеренге:

— Найду у кого водку — разобью на голове!

Кабы знать, что из этого выйдет, никогда бы не говорил такое...

А вышло вот что.

С трудом разместили призывников, растолкали по вагонам, так что мест всем не хватило и некоторым пришлось спать на самой верхней, ба-



гажной полке. Зато в отдельном купе каждого вагона ехали офицер и два сержанта. Нам с Перепелкиным повезло на майора.

Что это были за несколько дней пути, я, наверное, никогда в деталях не вспомню. Первым делом, едва поезд тронулся, майор отправился по вагонам — проверять, все ли в порядке, не случилось ли происшествий, — и надолго пропал. Мы с Перепелкиным успели перекусить сухим пайком, выпить чаю с галетами, выспаться, а его все не было. Прошли по вагону — призывники по большей части лежали на полках, многие — не снимая халатов и примостив под голову заветные вещевые мешки. Темные восточные глаза глядели на нас настороженно, печально, уныло. И мне тотчас припомнился первый день моего призыва, такая же настороженность, уныние и печаль. «Ничто не ново под луною», — всплыла в памяти строка из Карамзина. Что ж, пройдет время, и вы, ребята, пообвыкнете, как я...

— Что за запах? — спросил меня Перепелкин, едва я возвратился в купе. — Чуешь? Хорошо пахнет, у меня даже слюну погнало.

Мы высунули в проход головы — запах шел из купе проводника.

— Пойти посмотреть, что ли? — завздыхал Перепелкин, и лицо у него вытянулось, стало голодным и несчастным.

Я только усмехнулся в ответ.

Тут хлопнула дверь тамбура, и появился майор. Был он без фуражки, рубашка на груди расстегнута, лицо сытое и умиротворенное, шел вразвалку, покачиваясь и улавливая стены прохода расставленными руками.

— Салам алейкум! — степенно кивнул он проводнику, выглянувшему из купе на стук двери, и проследовал дальше. — Орлы! — сказал и нам, усевшись на свое место и привалившись спиной к перегородке. — Обстановка? Вижу! Молодцы! Орлы!

От него пахло спиртным, луком, колбасой — что иное может образовывать такой стойкий, сшибающий с ног запах?

— Вы тут, случайно, не того?.. — хитро ухмыляясь, взмахнул он пальцем.

— Как стеклышко! — гордо, не без обиды за столь нелепое подозрение отвечивал я. — Разве можно?

— Вам? Вам можно! Но — самую малость... Что у вас припрятано, ну-ка?

Мы с Перепелкиным обалдело уставились друг на друга: вот так так! И зачем только я страдал на перроне призывников? Может, у кого-нибудь из них и нашлась бы бутылочка, да кто же теперь в том признается?!

Скрепя сердце я пошел в конец вагона, где в предпоследнем купе, как мне показалось, расположились разумные и самостоятельные ребята. Они о чем-то толковали вполголоса, но при моем появлении разом замолкли и тот, что выглядел постарше, подвинулся к окну и освободил место для меня.

Запинаясь и уводя глаза, я спросил, есть ли у кого-нибудь водка.

— Очень нужно! — добавил тоном, с каким заводят речь о лекарстве.

На меня посмотрели как на идиота, переглянулись, кто-то сокрушенно пожал плечами. Затем тот, что постарше, понимающе подмигнул,

скользнул вглубь вагона и через секунду-другую возвратился, прикрывая за отворотом халата поллитровку:

— Возьми, друг! Все, что есть...

Я благодарно кивнул.

— Эй! — крикнул он мне вдогонку. — Что еще надо? Мясо, лепешки?..

Но больше ничего не понадобилось. Когда я вернулся, в нашем купе уже хозяйничал узбек-проводник, судя по всему расторопный, смекаливый малый. В глубокой тарелке исходил паром плов, запах которого возбудил нас с Перепелкиным несколько минут назад, рядом лежали лепешки, пучки зелени и вяленая баранина, наструганная полосками. Среди этой роскоши я молча водрузил добытую поллитровку. Повеселевший майор благодарно притянул меня за рукав к столу, где уже восседали проводник с Перепелкиным, и сам себе скомандовал:

— Ну, наливай — не проливай! Теплая, зараза!..

— Хорошо! — сказал проводник. — Водка теплый, плов — горячий...

— А мы — еще по одной!..

И пошло-поехало.

Утром майор просыпался, умывался, брился, приводил себя в порядок и отправлялся по составу. В течение дня его, как правило, не было, но я знал, что к вечеру он явится, благостный, размякший, но не отведавший еще всех искушений, и спросит: «Ну, что тут у нас?» И если очередная бутылка на столе не появится, нахмурит брови и просипит недовольным тоном: «Плохо! Плохо служите, братцы!» Уж на что только ни исхитрялись подружившиеся со мной призывники: бегали в поисках спиртного по другим вагонам, выскакивали на остановках в магазины, присматривали на перронах мелких торгашей, — но нам все труднее удавалось разжиться поллитровкой. И все-таки майорскую традицию — закончить день рюмочкой — мы с Перепелкиным не нарушили ни разу. Тот ему было счастье, нам — успокоение, проводнику — радость! В два дня мы уничтожили запасы вяленой баранины, закончились и лепешки, но великолепный узбекский плов (никогда более не довелось мне отведать такого) каждый вечер подавался к нашему столу.

А потом мы прибыли в Харьков, простояли на запасных путях около суток, выпили напоследок и пересели на другой поезд.

## 16.

Как я был доволен, как гордился собой, что за время поездки не влип в какую-нибудь мутную историю! Правда, майор на похвалу поскупился, его больше занимала мысль накатать рапорт на «химиков» за их пьяную выходку на ташкентском перроне. Но как бы там ни было, я возвратился в Черновцы в приподнятом настроении. Да еще, как оказалось, соскучился по Коробке, что было само по себе странно, но вполне объяснимо: все-таки год жизни не мог не оставить на памяти замету...



Всех нас, вместе с призывниками, прямо с вокзала отвезли на автобусах на территорию мотострелкового полка — большую, обустроенную, зеленую — и, как показалось, тотчас о нас забыли. Офицеры, прибывшие с нами, незаметно исчезли один за другим, майор, к которому мы с Перепелкиным привыкли за несколько дней пути, отправился по начальству с докладом, а мы блуждали по городку как неприкаянные. И я решил сбегать в Коробку, посмотреть, что да как, — ведь командировочное предписание все еще лежало в кармане, и потому встреча с патрулем меня не пугала.

В учебке было на удивление тихо, гулко, безлюдно. Новоиспеченные сержанты разъехались к местам новой службы, оставшиеся маялись в наряде. Я сел на свою кровать, заглянул в тумбочку, перелистал какую-то книгу. Нет, все-таки казарма — не родной дом: там не возникло бы это ощущение никому не нужного, инородного тела...

— Явился? — внезапно услышал я сиплый голос прапорщика Рыжова.

Подойдя, прапорщик покосился на меня злым петушиным глазом, как будто примерялся, куда клюнуть, потом погрозил скрюченным пальцем:

— Ты ботинки в каптерку сдал? Не сдал! Зимой босиком ходить будешь.

Он еще раз погрозил, прищурился и с видом праведника, исполнившего свой долг, прошептал по казарме дальше.

Ах ты старый козел! Впервые за год службы в армии я почувствовал, что могу вот-вот слететь с катушек: комок злости подкатил к горлу, кулаки произвольно сжались, а в подвздошь точно вытяжкой потянуло — будь что будет! Я знал, что в таком состоянии могу сорваться и натворить бед, и, как умел, окорачивал себя, сдерживал необоримое желание — немедля выкинуть какой-нибудь фортель...

Не помню, как несся я из Коробки в мотострелковый полк и, отыскав «своих» призывников, переделся в отобранные у них гражданские шмотки, как предупреждал напуганного Перепелкина, что вернусь через день-два, как перелезал через забор и мчался к автовокзалу. Опомнился я только в автобусе — прислонившийся головой к темному стеклу, с застывающей колотушкой в груди и с осознанием, что, возможно, совершаю нечто непоправимое. Но уже поздно было перерешать...

В пять утра ошарашенная мать открыла дверь дома и расцеловала меня. Невразумительные объяснения о причинах моего появления, по всей видимости, не удовлетворили ее, но она промолчала: в конце концов, я, уже взрослый и в определенном смысле самодостаточный человек, отвечал за свои решения и поступки сам.

День, который провел дома, тоже не помню: что-то ел, лежал в ванне, бродил по городу, показавшемуся вполне безразличным к моему появлению и почему-то чужим, потом сел в ночной поезд...

В мотострелковом полку Перепелкина я не нашел. Сердце екнуло: что-то будет? Переодевшись, поплелся в Коробку, проклиная себя за глупость. Там меня тотчас прихватил взводный.

— А вот и мы! С приездом, — сказал он тоном, ничего хорошего мне не обещавшим, и выразительно покрутил у виска пальцем. — Что ж, сам виноват. Пойдем, друг любезный, командир роты давно тебя дожидается.

Подполковник Штеренберг сразу попытался взять меня в оборот:

— Где был?

— К девушке ходил, — не моргнув глазом, соврал я. — Давно не виделись, соскучился.

— К какой девушке? Кто такая? Где живет?

Я заявил, что не буду отвечать на эти вопросы. Готов понести любое наказание, но честное имя девушки позорить не стану.

— Да ты еще лгун, оказывается! — вперив в меня выбеленные стальные глаза, взвился командир роты. — Как знаешь. Только учти, мне все известно. Хороши, нечего сказать! Один — в вендиспансере, другой — дезертир.

«Перепелкин! — тотчас сообразил я. — Проговорился, скотина!»

— Никак нет, я не дезертир! Съездил домой и через сутки вернулся.

— Молчать! Он еще рассуждает! — крикнул подполковник Штеренберг и обернулся к взводному: — Приказываю. Птичкину... то бишь Перепелкину — выговор после возвращения из лазарета. Этому, — кивнул на меня, — десять суток ареста. Немедленно препроводить на гауптвахту! Доигрались: в штабе дивизии уже знают... Позор!

## 17.

Жуткое, приводящее в дрожь слово «гауптвахта»! Сколько ледящих душу историй, сколько баек и домыслов о порядках, царивших там, ходило среди нас, служивых! И вот теперь испить чашу сия предстояло мне...

Одноэтажное серое здание комендатуры, отгороженное от внешнего мира непроницаемым забором, с широким заасфальтированным двором, по виду мирное, как домик добропорядочного обывателя, располагалось едва ли не в центре города. За забором шуршали по брусчатке автомобильные шины, слышался неторопливый стук каблучков, в трехэтажной школе напротив то и дело разливался звонок и в распахнутых окнах показывались любопытные головы старшекласниц. Но стоило мне переступить порог комендатуры, как солнечный свет потускнел, сменился сумеречным, как бы просеянным сквозь невидимую кисею.

— Ремень снять! Все, что в карманах, — на стол! — приказал помощник коменданта, изучавший мои бумаги; потом окинул меня недобрый взглядом, вызвал дежурного по гауптвахте и приказал: — Этого — в третью камеру.

В дверном проеме, ведущем в чистилище, я на мгновение обернулся — у сержанта Яковца, сопроводившего меня в комендатуру, было такое скорбное лицо, какое бывает у человека, провожающего в последний путь усопшего...

Вслед за дежурным я вышел в коридор с выкрашенными светло-серой краской панелями и рядом пронумерованных дверей с врезанными глазками. Первая дверь была почему-то раскрыта, на грубых широких



нарах полулежали два лейтенанта в кителях без ремней и, посмеиваясь, о чем-то вполголоса говорили. Заметив мой недоуменный взгляд, дежурный зевнул:

— Вчера перепились в ресторане. Ждут поезда на Львов, для офицеров «губа» — во Львове. Повеселились ребята. — Он загремел засовом и распахнул передо мной третью по счету дверь: — Заходи. Двое уже сидят, и ты посиди. Ничего, скучно не будет.

Дверь за спиной захлопнулась, взвизгнул задвигаемый засов.

Я огляделся с порога: вот, значит, где... Небольшая комната без окон, под потолком — зарешеченная лампочка, темно-серые стены грубо, рельефно оштукатурены, откидные нары подняты и пристегнуты. Посреди камеры — привинченный к полу стол, за столом двое: сержант и рядовой. Сержант — не то азербайджанец, не то армянин, с темными густыми бровями, длинным носом и хитрым, нагловатым выражением живых глаз — из тех людей, каких я всегда инстинктивно сторонился: слишком горячая у них кровь, такие сначала бросаются в драку и только потом думают, к чему это приведет. Рядовой — из наших, из славян, — по виду добряк, но простодушный и недалекий, а потому непредсказуем, может легко подпасть под чужое влияние. Придется с обоими держать ухо востро. Ну и компания, вот так так!..

Сидевшие за столом, в свою очередь, изучали меня. Наконец сержант протянул под столом ногу, вытолкнул оттуда табурет и с горловым смешком-клекотом, с каким тамада на Кавказе зазывает к столу дорогих гостей, сказал, указывая на мои эмблемы:

— Медицина пожаловала. Проходи, садись. Третьим будешь...

— Если нальете, — угрюмо отпарировал я, прошел к пристегнутым нарам и подергал за замок.

— Что дергаешь? Намертво! Перед отбоем отстегнут. А пока — вот тебе табурет.

Я сел, и сержант тут же протянул мне через стол руку и назвался:

— Анвар.

Потом указал на рядового:

— Этот, с голубыми погонами, — Колян. Сидит за любовь, я — за драку. А ты за что? Весь спирт в санчасти выпил? Давай, выкладывай!

Я сказал, что не о чем рассказывать: обыкновенная самоволка.

— Ладно, не хочешь — не говори, — милостиво разрешил Анвар, но глаза его потемнели, стали более пронизывающими и цепкими, словно он изучал, кто я таков, и прикидывал, стоит ли со мной связываться. — Ты, вообще, как — в первый раз? Я — во второй. Полгода назад, при старом коменданте, загремел — десять суток от звонка до звонка. Насмотрелся тогда. Рано утром — подъем и на маршировку. Позавтракали — холодный чай с хлебом — и на маршировку. И так целый день, до отбоя. Зима, мороз, двор снегом замело, а он: «Выше ногу, тyani носок!» Я ноги стер так, что ступить не мог, ходил враскорячку. А когда освобождался, скотина комендант двое суток добавил: не понравилось, как смотрел на него, когда тянул носок. Так что повезло тебе, и нам заодно: новый комендант еще не освоился, не дурит, сидеть можно. А, Колян?



Тот пробурчал что-то неопределенное и криво улыбнулся.

— Вот я и говорю: глупый ты человек, зачем влюбился? Эй, не кричи! Эй! — Ловко увернувшись, Анвар перехватил на замахе руку Коляна, завалил того на стол грудью и, удерживая так, продолжал как ни в чем не бывало: — Она ему — то люблю, то не люблю, а он — в самоволку и под домом у нее сидит, ждет. Она в окно выглянет, рукой махнет, но не выходит. Хитрая, а? Он на второй день — опять в самоволку, опять сидит, ждет. И на третий день... А на четвертый — он уже здесь сидит, на «губе». Зачем такая любовь? Скажи, доктор? Не любит она, Коля, прикидывается. Балованная!

— Пусти! — ударял по столу ладонью Колян, пытаюсь вырваться и синая лицом. — Много ты понимаешь... Пусти, убью!

— Все, отпускаю, испугал! — ослабил хватку, а потом и вовсе поднял над головой руки Анвар, зыряка разбойничьими глазами в мою сторону: понял ли я, как он силен и ловок, оценил ли, заужал ли его? — Это я для доктора рассказал. Он ведь тоже рванул в самоволку не просто так... Да, доктор?

Но я нарочито зевнул, выставил на стол локти, подпер ими подбородок и стал смотреть сквозь сокамерников, как смотрят сквозь людей, до которых нет никакого дела...

## 18.

Жизнь есть везде — в навозной куче, на Марсе, даже в космосе: говорят, некоторые виды бактерий прилетели на Землю вместе с метеоритами. Есть она и на гауптвахте — чаще всего бессмысленная, тоскливая, но иногда вдруг удивляющая, как цветок, пробившийся сквозь асфальт.

После завтрака нас вывели из камер, вручили метлы и велели подмести двор. Работа, признаться, пустяковая: маши себе метлой и щурься на солнце. День начинался теплый, ласковый, светлый — особенно это бросалось в глаза после сумеречных камер и надоевших разговоров ни о чем.

Позевывая, взялись за дело, шаркали метлами по асфальту — неспешно, лениво, нехотя. Потом расшевелились, посылались смешки — мальчишки в погонах и в работе отыскивали игру: устраивали толкотню, боролись, вздымали пыль, превратив метлы в хоккейные клюшки. Благо нас оставили во дворе одних: куда денемся, если забор высокий, а ворота заперты на замок?

Какой-то конопатый, ладно сбитый ефрейтор с хитрой, прохиндейской физиономией то ли из баловства, то ли по какой-то иной причине отыскал у гаражей лом, поддел крышку канализационного люка и заглянул внутрь:

— Есть! — просиял он. — Целехонькая...

И мы посмотрели — на дне неглубокого колодца лежала бутылка вина, судя по этикетке — знаменитого среди выпивох портвейна «Три семерки».

— А вот мы ее сейчас!.. — воскликнул донельзя счастливый ефрейтор и нырнул в колодец.



По всей видимости, бутылка попала туда совсем недавно, но была уже вымазана подсохшими стоками.

— А мы ее оботрем, — нежно, словно девушке на первом свидании, пропел ефрейтор, елозя по бутылке полой гимнастерки. — Теперь откупорим. А теперь...

Он воровато оглянулся на распахнутую дверь комендатуры, прильнул к горлышку жадными губами и, не передыхая, заглотнул треть содержимого. Затем не без сожаления пустил бутылку по кругу. Я пить отказался, и Колян сделал торопливый глоток вместо меня. А через несколько секунд порожняя бутылка полетела в колодезь, откуда и появилась, и крышка захлопнулась.

— Уф! — воскликнул ефрейтор и мечтательно закатил глаза. — Еще бы один такой люк — и сиди, радуйся...

— Угу! — подхватил Колян, слизывая с верхней губы рубиновую полоску портвейна. — Угу-гу!

— Вы как два филина: «уф», «угу»! — засмеялся, скаля зубы, Анвар. — Только от того, что сидишь, радости никакой. Вот скажи, Колян: пока ты здесь, твоя женщина — она где, с кем?.. Все, молчу! — поднял он руки горе, как давеча в камере, и мне вдруг подумалось — преднамеренно доводит до белого каления простодушного Коляна.

— Посмотрите лучше, какие девочки строят из окна глазки! — отвлек нас возглас разбитного ефрейтора.

Девочки?! Мы тотчас задрали головы и уставились на раскрытые окна школы — там на втором этаже высывались, мелькали, лежали локтями на подоконниках несколько расхрабрившихся старшеклассниц. Они хихикали, махали руками, что-то кричали, но их голоса, приглушенные расстоянием и городским шумом, едва до нас долетали, и ничего нельзя было разобрать.

— Девочки! — пробормотал обалдевший Колян и стал подпрыгивать, размахивать руками и делать только одному ему понятные знаки, точно Робинзон Крузо — проплывающему мимо острова кораблю.

— Ну вот, была любовь — и нет любви, — философски изрек Анвар, глядя на Коляна с насмешливым прищуром восточных глаз. — Нарисовались новые обстоятельства — появились другие девочки. Стыдно, Коля! Или — не очень?

— Отстань!

Тогда Анвар, все так же ухмыляясь, встал между мной и Коляном, обнял за плечи и, поочередно тыча пальцами в наши погоны, красные и голубые, подмигнул девчонкам, веселящимся в проеме окна: «Который?» Те на мгновение задумались, потом одна из них скрылась в глубине класса и тут же появилась снова — в накинутаой на плечи *красной* кофте.

— Вот так, Колян: самая, заметь, красивая — и не твоя. Так что спокойно сиди, а когда выпустят, плюнь на это гиблое дело — на женщин, иди и служи. И в самоволки больше не бегай. А то — как мартовский кот на крыше... — Потом Анвар обернулся ко мне и похлопал по плечу: — Нравишься ты женщинам, джигит! Была бы эта, в окне, моя — я бы тебя

зарезал. А так — живи и радуйся, у меня в Баку невеста, на чужих не заглядывается, не то что *эта*...

Сказал — и отошел, а мне вдруг стало до слез грустно и одиноко.

## 19.

На этом приятные моменты в нашем «великом сидении» на «губе» не окончились.

Утром следующего дня нас отправили на товарную железнодорожную станцию — разгружать вагоны. Прибыв, мы первым делом уселись на бревне, и ефрейтор с Коляном засуетились, завертели головами — у кого бы стрельнуть сигарету, а то и две. Но благодетель нашелся сам: мастер участка, жилистый, дерганый, с обветренными скулами и красными от недосыпа глазами, набежал, обнес каждого початой пачкой «Примы», тряхнул спичечным коробком:

— Закуривайте, солдатики! Надо подсобить... Вагон вторые сутки на разгрузке стоит. Как бы ускорить, а?.. За простой голову оторвут, и премии не видать как своих ушей. Вы курите, курите, за мной дело не станет.

— Ящик пива! — сказал как отрезал сметливый ефрейтор.

— Будет! Сам доставлю — свежайшее... Только постарайтесь, солдатики, не подведите! А я побежал за пивом.

Когда он, петляя по железнодорожным путям, скрылся за товарняком, Колян вдруг засомневался:

— Обманет!

Но мы с таким негодованием посмотрели на него, что он стушевался и поспешно уточнил:

— Может быть...

Как добросовестно, не покладая рук работали мы в тот день — никакой урод из комендатуры не смог бы заставить нас так пахать! И при этом тот, или другой, или все разом нет-нет да поглядывали в сторону, куда ускакал мастер: почему так долго? где обещанное? пиво где?

— Обманул! Ну, что я говорил? Тьфу, гнида! — сплюнул вязкую слюну Колян, когда последний ящик был выгружен из вагона.

В изнеможении, изнывая от жары и усталости, мы сидели на бревне у будочки путевого обходчика и старались не смотреть друг на друга. С тихим лязгом проплыли мимо нас буксируемые на сцепку с составом вагоны, сипло взвизгнул гудок локомотива, громыхнули соприкоснувшиеся буфера. Потом на мгновение стало тихо, чирикнули под крышей воробьи, пыхнул нагретым железом летучий ветерок — и тут откуда-то из-за будки послышался нежный, стеклянный звук стукнувшихся боками бутылок...

Но все хорошее имеет свойство быстро заканчиваться.

На другое утро нас не отправили по работам. А после завтрака в камеру заглянул помощник коменданта, тот самый, с недобрый взглядом, но на этот раз озабоченный и взъерошенный, как угодивший в переплет воробей. Он мимолетно и как-то потерянно посмотрел на нас, зачем-то



подергал крышку стола, как будто хотел проверить, хорошо ли тот привинчен к полу, и, уже с порога, с запинкой выдохнул:

— Вы вот что... Сейчас будет с проверкой прокурор... Так вы скажите: газеты читать дают, кормят и все такое прочее... Или у кого-то есть жалобы?

— Никак нет! — воскликнули мы в один голос.

А сами многозначительно переглянулись: черт принес этого прокурора! И слово-то противное, жутковатое, и непонятно, что ему может понадобиться от нас, этому прокурору! Наверное, старый въедливый хрыч — станет везде соваться, приставать, допрашивать с пристрастием...

Но прокурор оказался молодым старшим лейтенантом, приветливым и заботливым. Он на самом деле расспрашивал, как нас кормят, дают ли читать свежие газеты, информируют ли о событиях в мире, — и при этом сдержанно улыбался каждому, сочувственно кивал головой и, казалось, где-то в глубине души был с нами заодно. Поэтому вопрос «за что сидите?» показался вполне безобидным, едва ли не праздным.

— За самовольную отлучку, — с беспечной откровенностью поведал я.

И тут странная, кошачья искра проскочила в глазах прокурора.

— Самовольная отлучка? — недоверчиво, с нажимом переспросил он и пристально посмотрел мне в лицо. — А в постановлении сказано: самовольное оставление части.

Холодный пот тотчас прошиб меня. Более всего боясь дрогнуть, увести взгляд от допытывающих прокурорских глаз, я как можно увереннее ответил, что в роте что-то напутали, я ходил к девушке, что постановление, видимо, составлял старшина, а у него нелады с уставом, что...

— Ну-ну, посмотрим! — холодно процедил прокурор и вышел из камеры не прощаясь.

Надо ли объяснять, что было со мной в последующие час-два?

И только за обедом моя дальнейшая судьба несколько прояснилась.

— Ну как прокурор? — спросил Анвар у дежурного. — Что накопал?

— А что — прокурор? — нехотя отозвался тот. — Прокурор давно уехал.

Гремя походным бачком, дежурный зачерпнул черпаком и шлепнул в алюминиевую миску порцию горячей перловой каши, подал посудину мне — и тут у меня случился сбой дыхания: отвертелся, пронесло!..

— Закрыл вашего ефрейтора и уехал, — не отводя от меня взгляда, вдруг добавил дежурный. — Дурак этот ефрейтор! Сиди, не болтай, а он понес, что заболел на учениях, попал в госпиталь, а из госпиталя — напрямик домой, к маме. Неделю отсиделся, а потом — здарсьте вам, явился! Хотел командир его покрыть, сюда спрятал. Так ты сиди, не болтай! А теперь что? Теперь у него отдельная камера, нары отстегнули, постель с подушкой-одеялом дали, маму из деревни вызвали. Теперь он подследственный, теперь у него права. Только ненадолго, до трибунала. А там и дисбат заждался... Вот оно как!

Первым, кого я встретил по возвращении в часть, был мой недавний попутчик Перепелкин.

— Я бы — никогда в жизни... — начал оправдываться он, сочувственно помаргивая девичьими ресницами, будто собирался заплакать. — Но только ты уехал, всех отправили по своим частям. Остаться, переждать — никакой возможности. Пришел в роту, а там спросили о тебе — и к командиру: куда ты девался? Мол, не расскажешь — посадим обоих! Ну, я сказал...

Мне вдруг стало и смешно, и жаль Перепелкина.

— Сказал — и ладно. «Губа» все-таки не вендиспансер. Здоровье как?

— Откуда знаешь? — смутился тот. — Треплются, ржут как кони... Ну, а ты чего?! Никакой это не триппер, чтоб ты знал!

— А что тогда?

— Доктор сказал: загрязнение члена...

— Что?

— Иди к черту! Если хочешь знать, со мной еще несколько наших, из поезда, в медчасть положили. Кто думал, что азиатки тоже *этим* болеют? А говорили, что у них воспитание строгое...

В казарме я первым делом увидел, что моя тумбочка выпотрошена. Что искал прапорщик Рыжов, до сего дня остается для меня загадкой. Но кое-что и ему перепало — книга «Игра в жмурки» была изъята как вещественное доказательство: вот, значит, из-за чего!.. Женщина во всем виновата...

Сослуживцы-сержанты были на занятиях, и какое-то время я слонялся по роте без дела и все гадал, исчерпана ли моя провинность пребыванием на «губе» или иная участь уготована для меня. Превалировала надежда: ведь мне уже повезло один раз, когда выскользнул из лап прокурора, — почему бы не повезти и во второй? А вдруг подполковник Штеренберг решил отмазать меня, как попытался отмазать злополучного ефрейтора его замечательный, неведомый мне командир?..

Так прошел час, другой, третий... Рота пришла в движение, курсантов выстроили на плацу, провели переключку, и первый взвод строем отправился на обед. А меня все не звали, не приказывали, не потешались, не укоряли...

Наконец дежурный вызвал меня к командиру роты.

В кресле подполковника Штеренберга, спиной к окну, сидела какая-то важная птица с полковничьими погонами на плечах — как бы и не злая птица, но какая-то вся подобравшаяся, нахмуренная, безжалостная. Секунду-другую полковник изучал меня исподлобья, потом коротко приказал:

— Рассказывай!

И я, запинаясь и сглатывая слова, поведал незамысловатую историю — о том, как заблуждался, наивно думая, что командировочное предписание дает мне право отлучиться в свободное время по своим делам,



что раскаиваюсь в этом своем незнании и обязуюсь — более ни за что и никогда...

У важного чина поползли кверху брови, и он вопросительно оглянулся на подполковника Штеренберга, сидевшего тихо, как мышь, у края стола:

— Да он вроде как нормальный. А говорили, что — того...

— Я вам уже докладывал... — отозвался придушенным голосом ротный. — Вы знаете мое мнение...

— Знаю. Приказ уже подписан. Пусть огласят приказ — и дело с концом. — И больше не глядя в мою сторону, опустил лицо в бумаги, лежавшие перед ним на столе, коротко приказал: — Свободен!

Я козырнул и вышел вон.

А через полчаса взводный в присутствии всего сержантского состава роты зачитал приказ по дивизии: младшего сержанта имярек за самовольное оставление части разжаловать в рядовые. Тупыми маникюрными ножницами сержант Яковец срезал на мне лычки, при этом остальные были сдержанны и серьезны, словно дело происходило не в кабинете взводного, а как минимум на эшафоте.

— Ну что, улыбчивый, подставил майора Калину? — сказал напоследок взводный и смерил меня презрительным взглядом. — Иди собирайся, вечером — поезд на Мукачево. Будешь теперь служить там.

## Часть третья

### Ужгород

*До службы в армии спал хорошо, потому что знал: меня охраняют. Во время службы спал плохо, потому что сам охранял. После службы вообще не сплю — знаю, как охраняют...*

Неизвестный автор

#### 1.

Но послужить в Мукачево мне не довелось.

— Это как понимать? — уткнувшись в мои бумаги, восклицал начальник штаба дивизии, цыганисто-чернявый, худой, звенящий, как разозленная оса, подполковник. — Обещан художник, а прислали кого? Оставление части... Здесь что — исправительный лагерь или штаб дивизии? Не-ет, *таких* в штабе не будет!

Он глянул на меня тяжелым, свинцовым взглядом, как будто собирався приговорить к расстрелу, в раздумье почесал за ухом, потом сорвал трубку и потребовал соединить с начальником штаба войсковой части 74222. Через секунду до меня долетел звук отдаленного, невразумительного, как треск сверчка, голоса.

— Майор Томашевский! — перекрывая этот сверчковый треск, зазвенел в трубку подполковник. — Ты просил художника — получи. Какой художник? Обыкновенный. На нем не написано какой. Через полчаса документы будут готовы — и отправится к тебе в часть. А там сам разбирайся. Все ясно? Тогда будь здоров, отбой!

И снова я оказался в поезде. Несколько древних, трясуших вагончиков неспешно тянул дизельный локомотив. Мимо окон проплывали незнакомые пейзажи — то покатые зеленые горы, то курчавые равнины, то высывались из-за густых садов красные черепичные крыши, непривычные и странные для меня по тем временам. Но я настолько устал, добираясь из Черновцов через все эти горные перевалы и глубокие, как ущелья, равнины, что теперь только сонно моргал глазами и мало что запомнил из того пути, все дальше и дальше увлекающего меня на запад.

В какой-то миг я потерялся во времени и пространстве, а когда очнулся и приоткрыл глаза, то первым делом увидел загорелое лицо, совершенно мне незнакомое, грубоватое, будто из дерева выструганное, разглядел на этом лице улыбку и то, что улыбке этой недостает двух боковых зубов. Напротив меня сидел сержант-общевойсковик в расстегнутом кителе, без галстука и, судя по всему, ждал, когда я окончательно проснусь. К нему жалась девушка, по виду молдаванка, черноглазая, темноволосая, с трогательными усиками над верхней губой и шафранным отливом покатым скул.

— Что же ты, земляк, спишь? — зашумел ломким баском сержант. — Я вторые сутки гуляю, а сна — ни в одном глазу! Садись к нам, выпьем!

— Так ведь скоро Ужгород, — удивился я. — А если на вокзале патруль?

— Какой — скоро! Сорок пять километров, а этот дизель будет пыхтеть часа два. Успеешь напиться, протрезветь, снова напиться... Есть повод: отпуск заканчивается, еду в часть — когда еще выпить доведется? А жена сопровождает, чтоб по дороге к кому-нибудь не прибилась.

— Жена?

— Какая разница? Ты мне кто, Илонка? Жена? Ну и я говорю, что жена.

— Какой ты муж? Ты — пьяница! — загадочно улыбнулась девушка, так что не разобрать было: вправду сердится на сержанта или со мной шутит. — Каждый день навеселе.

Сержант хохотнул, шлепком ладони о донце выбил из бутылки пробку, разлил вино по стаканам.

— Сама виновата. «Познакомься, вот мой крестный». Назавтра: «Пойдем в гости к кумовьям». И так — каждый день. Вот и теперь: «Солдатик спит, бедный, ему есть нечего, давай угостим». А какое у местных угощение без вина? Ну, выпьем! За любовь! Где твоя утка с яблоками, Илонка?

Девушка заторопилась, расстелила на столике чистый рушник, достала из корзинки зажаренную утку в промасленной бумаге, развернула, смущенно цокнула языком:



— Ножку уже съели. Там, на вокзале. А паляница только из печи... Яйца вареные, лук... Ешьте, не стесняйтесь! Чего ж вы щиплете? Отламывайте побольше, возле грудки — белое мясо, а внутри запечены яблоки...

— Ты одной рукой ешь, другой держись за стакан, не выпускай! — сказал сержант и снова взялся за бутылку. — Вино молодое, домашнее, но, я тебе скажу, с ним надо осторожно: голова свежая, а ноги не идут. Она меня этим вином и заманила: выпей, выпей, а как вечером уходить — ног не чувствую, как будто нет у меня ног. Раз заночевал, и во второй, а на третий — женился: все равно от нее не уйдешь... Ведьма! — сияя, добавил он.

Илонка и бровью не повела. Взяла стакан, пригубила, отерла ладонью влажные губы — и я мельком увидел, что руки у нее обветренные, пальцы крупные, с коротко остриженными ногтями и заусенцами у ногтей.

— Держу я его, как же! — усмехнулась она, как усмехается мудрая, все понимающая женщина. — Сколько раз гнала — не идет. Я, говорит, отслужу — домой не поеду. Отца с матерью вызову, чтобы свадьбу — тут... Но если будет вино пить — спроважу: езжай на свой Урал, здесь и без тебя пьяни много.

— Но-но — выгоню! Это кто пьянь? Крышу на сарае кто перекрыл? То-то, выгонит она!.. А колодец кто чистил?.. Давай, кореш, выпьем, пока она — не совсем жена.

И еще выпили, и еще...

А дизель все плыл, и движение за окном становилось неощутимым, как если бы и не движение это было — леса, горы, садов и крыш, — а их отражение в текучей воде...

Вынырнул я из этой текучей воды в центре Ужгорода, на конечной автобусной остановке. Черт его знает, как я там оказался, куда подевались по приезде мои попутчики — сержант с Илонкой, как забрался я в дребезжащий автобус! Помню только, что расспрашивал дорогу к воинской части, заплетая языком и с трудом удерживая равновесие, как то ли шел, то ли снова куда-то ехал и хотел только одного: как можно скорее добраться до места назначения и прилечь где-нибудь в уголке. Даже встреча с патрулем уже не страшила — только бы поскорее!

Но верно говорят: где трезвому кирдык, там пьяному счастье и удача. И через полчаса, в момент нового просветления, я увидел себя стоящим перед неизвестным мне капитаном с повязкой дежурного на рукаве, и капитан этот глядел на меня снисходительно и насмешливо, как на чудово заморское.

— Тэк-с! — протянул наконец он и увел взгляд куда-то в сторону, мне за спину. — Вечер уже, в штабе никого, через десять минут отбой. Пусть завтра с ним разбираются. А пока, сержант, выделить койку в комендантском взводе — и... всем спать!

«Где сержант? Какой сержант? Нет никакого сержанта!» — подумал я, и тут мне почудилось, что капитан, уходя, вполголоса засмеялся — а может, и не засмеялся, а прочищал горло...



## 2.

Где и как засыпал, не помню. А проснулся в казарме комендантского взвода триста двадцать седьмого гвардейского мотострелкового Севастопольского ордена Богдана Хмельницкого полка имени Советско-Болгарской дружбы. Жидкий утренний свет лился из забранных решетками окон, но свет этот застило лицо, мне незнакомое, показавшееся спросонья весьма непривлекательным. Склонившись так низко, что я уловил запах пота и табака и от этого запаха меня замутило, незнакомец глядел на меня с любопытством, не моргая, а когда заметил, что я приоткрыл глаза, хрипатым голосом произнес:

— Подъем! На зарядку становись!

— С какой стати? — отозвался я, едва ворочая языком.

— Плохо, да? Чайку бы?..

— Не твое дело! Ты кто?

— Ладно, спи. Я — сержант Пастух. Ты во взводе не числишься — черт с тобой, спи на здоровье. Штабные все равно раньше восьми не появляются. А там — как начштаба решит...

Тут я снова ощутил приступ тошноты и поспешно закрыл глаза...

Проклятое молодое вино! Я едва оклемался к тому моменту, когда за мной явился помощник дежурного и препроводил в штаб.

— Художник? — глянул на меня исподлобья моложавый майор — по всей видимости, тот самый начальник штаба полка Томашевский — и, уловив запах спиртного, брезгливо покривил тонкие губы. — Отличился на прежнем месте? Здесь не надейся, даже не думай! В общем, так: размещайся в комендантском взводе, становись на довольствие — и в штаб. Будешь писарем-чертежником. Не справишься, станешь гонор показывать — мигом тебя пристрою... сам знаешь куда. Через полчаса в штабе совещание, потом поставлю задачу на сегодня. Исполнять!

Я промямлил «так точно», козырнул и боком выскользнул из кабинета.

«Да, этот Томашевский — явно не майор Калина! — по пути в казарму думал я, борясь с подступающей приливами тошнотой. — Надо держать ухо востро — этот не пожалеет, отделаться гауптвахтой не удастся».

У забора, под кустом калины, меня вывернуло остатками вчерашнего пиришества, и почти сразу пришло облегчение.

— А вот и ты, — с тяжким вздохом встретил меня на пороге каптерки сержант Пастух. — Знал, что вернешься: здесь еще двое штабных приписаны — Пантеев и Тукмаков. Занимай койку, на которой спал. Ну ты и кадр, если честно! Вижу, стоит перед дежурным какой-то синяк, пьянее пьяного, но не качается, стоит ровно, как столб. На погонах вместо лычек — выгоревшие полоски. За что разжаловали, колись? Добро, потом расскажешь. А пока беги в штаб, майор Томашевский ждать не любит. Если взъестся, разговор будет короткий...

Отперев комнату писаря-чертежника, я огляделся. Высокие потолки и голые стены, на окнах плотные, светонепроницаемые шторы, из мебе-





ли — три длинных чертежных стола, несколько стульев, полупустой книжный шкаф без стекол и огромный несгораемый сейф, похожий на гроб. Гиблое место, нежилое...

— У-у! — невольно взвыл я, по-волчьи задрал к потолку голову, но эха не получилось: звук голоса утонул в складках штор.

В эту минуту дверь распахнулась и вошел майор, сразу показавшийся пожилым, потасканным, сморщенным, с темно-коричневыми складками на лбу и в уголках рта, с крупным носом, мохнатыми бровями и выпирающим кадыком.

— Прибыл? — с порога бросил он, плотно прикрыв за собой дверь, достал из брючного кармана бутылку вина и втолкнул мне в руку. — Спрячь! — указал он глазами на сейф. — Я — на совещание. Черт, опоздал уже!..

И заковылял из кабинета — странным, зажатым шагом, как ступают люди, страдающие геморроем. А я, оставшись один, с ухмылкой подумал: не все так плохо в Датском королевстве...

И часа не прошло, как майор вернулся — больше прежнего, показалось мне, помятый и потрепанный, еще и заметно прихрамывающий на одну ногу.

— Уехал в штаб дивизии... — молвил он, по всей видимости, о Томашевском, швырнул фуражку на подоконник, отер платком мокрый лоб, потом кивком головы указал сначала на дверь: запири на ключ, — потом на сейф: открывай...

Я молча повиновался.

— Стаканы — в шкафу на нижней полке. Экий нерасторопный, посмотри за старыми картами. Да не за игральными — за войсковыми!.. Чего нюхаешь, они чистые. Стаканы грязными не бывают, просто из них давно пили. А то, что на дне, — винный осадок, иначе говоря, виноградный сахар... Глюкоза, одним словом. Привыкай, пацан! Гвардейский полк — это тебе не клизмы в санчасти ставить!

Разливать майор взялся сам: себе — полный стакан, мне — на одну треть.

— Молод еще пить на равных, — заметив мой недоуменный взгляд, веско сказал он и, морщась, выпил, затем достал из кармана две помятые конфеты, одну подал мне: — Лучшая закуска — «Премьера», мои любимые. Ну а теперь, пацан, давай знакомиться. Я — заместитель начальника штаба полка и твой непосредственный начальник. Зовусь Дмитрий Ионович Бровко. Ну а ты кто таков? Как здесь оказался?

### 3.

И таки да, как говорят в Бердичеве, — в Датском королевстве на самом деле оказалось неплохо. По крайней мере, на первый взгляд.

В первый же день пребывания в полку я выпил вина, а еще узнал кое-что интересное о людях, с которыми свела меня переменчивая судьба.

— Противный человек, выскочка, — сказал мне о майоре Томашевском захмелевший Дима Бровко, которого я почему-то начал про себя



величать по имени, и заглотнул второй стакан вина — уже в одиночку. — В полку недавно, а уже всех против себя настроил. Сидит на работе до ночи, и все вокруг него должны сидеть. Спиртное, между прочим, в магазинах до девятнадцати ноль-ноль, в кафе — наценки. Все сидят, ждут — ушел домой Томашевский или еще токует. Может ни с того ни с сего вызвать, а ты в это время пиво с таранкой употребляешь. Он не пьет, вот его жаба и душит. Трезвенники, они все такие. Глянешь на человека: лицо желтое, глазки крохотные, рот узкий, злой — он и есть, трезвенник. Тьфу, самое вредное существо на свете!

Майор вылил остатки вина в стакан, выпил одним глотком, с сожалением посмотрел на порожнюю бутылку, потом достал из кармана початую пачку «Беломорканала», сунул в рот сигарету, чиркнул спичкой, пустил изо рта кольцо дыма.

— После проветришь, а то ведь унюхает... Он еще и не курит, ко всему!.. — Запрокинув бутылку, вытряхнул в рот несколько затаившихся капель, лизнул, причмокнул и подал посудину мне. — В штабе не оставляй, вынеси в мусорный бак, а то ведь найдут и настучат. И сразу: кто пил? Дима Бровко пил, кто ж еще! Ну, я пошел, пацан. А ты не уходи: явится, станет смотреть, кто на месте, а кого нет... Тут ты и скажешь: Дима Бровко, то есть я, никуда не уходил, сейчас только выскочил по делам на минуточку. Где-то я в полку, понял?

«Яволь, штурмбанфюрер!» — мысленно крикнул я, вытянув подбородок и с трудом сдерживая ухмылку.

— Смышленный, будет из тебя толк, — похвалил Дима Бровко, но, уже в дверях, чуть слышно прибавил к похвале ложку дегтя: — Если не скурвят эти суки...

Поздно вечером, перед самым отбоем, из штаба дивизии прибыл майор Томашевский. Он вошел неслышно, словно крался по коридору на цыпочках, подозрительно оглядел комнату, втянул чуткими, как у борзой, ноздрями воздух, что-то таки учуял и недовольно покривил тонкие сухие губы:

— Чем занимаешься?

— Навожу порядок — в шкафу, в сейфе.

— Майор Бровко где?

— Вышел. Только что. Куда-то в полк...

— Только что? В полк? — недоверчиво протянул Томашевский. — И куда именно? Искать где?

— Не могу знать, товарищ майор.

— Гм! — хмыкнул Томашевский и презрительно поджал губы: ври, да не завирайся! Но ничего более не сказал, да и о чем было говорить, если и без того все ясно...

Когда начштаба вышел, мне подумалось, что вид у него усталый, глаза красные, точно песком засыпанные, и что весь он похож на обиженного, но донельзя упрямого и своенравного переростка.

Где-то на плацу раздался приглушенный штабными стенами, сильный голос трубы: в гвардейском мотострелковом полку горнист играл отбой. Что если не пойти, явиться в казарму, когда все уснут? Я ведь только числюсь в комендантском взводе, значит, и спрашивать с меня сейчас некому.



Отдернув штору, я взобрался на широкий подоконник и стал смотреть, как по обе стороны полутемной улицы загораются желтые фонари, тускнеют последние малиновые сполохи над черепичными крышами, играют смутные тени на тротуаре под молодой нервной липой, когда теплый ветер начинает перебирать на ней чуткие, трепетные листочки.

Итак, первый мой день в полку заканчивался тихим закатом. Что сулит новый, неясно. Может, первые ощущения обманчивы, все может быть. Но теперь я думал, что давно не был так спокоен и умиротворен, как в эти неторопливые, безмолвные мгновения вечности, на бегу приостановившейся для меня. Все-таки верно говорят: худа без добра не бывает...

Я пришел в казарму, когда совсем стемнело. В коридоре мирно тлели лампочки, в умывальной комнате кто-то монотонно шваркал по кафельному полу шваброй, а в конце коридора, взгромоздившись задом на низкую тумбу, восседал дневальный. На стук отворяемой двери он дернул плечом, нехотя слез и стал поджидать, когда я подойду.

— Ну? — спросил он, и его закрученные усы расплзлись в остророжной улыбке. — Был отбой...

— Разве? — нагло осклабился в ответ я. — Не заметил. Дел много.

— У штабных всегда так, — быстро согласился дневальный и улыбнулся еще шире и добродушнее. — Куда спать? У начштаба не поспишь! Говорит: а если завтра война? И добавляет: дома спать будешь.

Я сказал, что мне не особо хочется, бессонница мучит.

— А меня в сон так и тянет, особенно возле этой тумбы. Как снотворное, пропади она пропадом: только гляну — рот дерет, так бы и лег... Василий, — подал руку дневальный, — фамилия Колодий, а прозвище — из-за усов — Чапаев, Василий Иванович.

Назвался и я, потом не без ехидства спросил, сильно ли ему досаждают с прозвищем. Василий заморгал, выпятил нижнюю губу и дунул в усы, и его простодушный, бесхитростный вид тотчас отбил у меня охоту ехидничать на счет этого простецкого парня.

— И черт с ними, пусть дразнят, все равно сбривать усы не буду. Мне Стася так и сказала: не сбривай, у тебя без усов лицо пластилиновое. Это почему, это как — мягкое, что ли?

— Доброе, наверное. Добряк ты, Вася, на лице написано, вот она, Стася, и боится, что какой-нибудь жлоб обидит.

Чапаев доверчиво глянул, засопел, засиял, так что шея пошла красными пятнами, и полез задом на тумбу.

— Твоя койка рядом с моей, — сообщил, приваливаясь спиной к стенке и расстегивая ворот гимнастерки. — Если что будет нужно, ты не стесняйся. А пойдем в увольнение, я тебе город покажу. Там есть одна пельменная... — Он закатил глаза, причмокнул, потом хитро подмигнул: — А ты, значит, в штабе? У Димы Бровко? Замечательный мужик! Законченный алкоголик, а еще — полковая попрошайка. Как понимать? А нечего понимать. Кто он? Майор! С младшими по званию пить уже запахло, старшие по званию не наливают.

В эту минуту из каптерки вышел сержант Пастух — без гимнастерки, в тапках на босу ногу, и вразвалку подошел к нам. От него пахло гале-

тами и тушенкой, и выглядел он умиротворенным и сытым, как и положено «деду», да еще — с ключом от каптерки в брючном кармане. Лениво помахав пальцем Чапаеву, снова сползшему с тумбы, Пастух покосился на меня, всмотрелся и, приблизившись вплотную, потянул носом воздух.

— Ну ты жук! — воскликнул он и, указав дневному на меня, пояснил с завистливым смешком: — Опять от него вином пахнет.

#### 4.

Наутро, сразу после завтрака, я отправился в штаб. Как замечательно, как здорово, что у меня появилось свое убежище: комната, запирающаяся на ключ, окна, глядящие в город, чертежные столы, на которых можно прилечь, укрывшись шинелью, вероятно припрятанной моим предшественником на нижней полке книжного шкафа. Лишь бы не спугнуть, не отворать хрупкое солдатское счастье...

За этими благостными мыслями я не заметил, как в комнату вошел майор Томашевский.

— Где майор Бровка? — неприязненно спросил он.

Я ответил, что не могу знать — сам только что появился в штабе.

— Как только придет — сразу ко мне. И вот еще: пока у тебя нет допуска, осмотришь, что нужно. Плакатные перья, гуашь, цветные карандаши, ватман, линейки — сам знаешь что. Определи и составь список. А я потороплю с допуском. Скоро командно-штабные учения, а тебя допускать к войсковым картам нельзя.

Томашевский ушел, а я принялся составлять список.

Миновал час, полтора. Под конец второго часа за дверью послышались неверные шаги и в комнату запинаящейся, подагрической походкой вошел майор Бровка. Он был хмур, глядел подозрительно, исподлобья и как будто жвачку пережевывал потрескавшимися губами.

— Вас майор Томашевский... — начал было я, но Бровка зло отмахнулся: знаю! — проковылял к сейфу и ткнул пальцем в приоткрытую дверцу:

— Что у нас там?

— Ничего. Откуда?

— Плохо работаешь! — прорычал он, испепеляя меня презрительным, негодующим взглядом. — Ленив, безынициативен!

— Так у меня всего семьдесят копеек...

— У меня... подожди-ка... — Он порылся в кармане, пересчитал, звякая медяками. — У меня пятьдесят семь копеек. Если сложить, на бутылку хватит. Давай, дуи! Только мигом! Как за лекарством больной маме!..

В смятении выйдя из штаба, я стал прикидывать в уме, как выбраться за территорию полка и не попасться. Попадешься — о последствиях после всего, ранее уже случившегося со мной, страшно даже подумать.

Возле казармы я присел на скамейку, и, вероятно, вид у меня был такой унылый и прибитый, что направлявшийся в курилку новый мой приятель Вася Колодий, Василий Иванович, приостановился и, не решаясь подойти, помахал издали мягкой ладошкой.



«Ты-то мне и нужен!» — подумал я и рванул к Чапаеву.

— Сдал дежурство, — сказал тот и, как ночью у тумбы, выпятил нижнюю губу и дунул себе на ус. — Курну разок — и в койку. А ты чего такой кислый?

Я объяснил.

— Тоже мне проблема! Берем чайник, идем к забору — там, за гаражами, Шанхай. Цыганский табор, чтобы понятнее. Они там, цыгане, полуоседлые-полукочевые, черт их поймет какие. А Шанхай — потому... потому что... Сам увидишь почему. Там всегда у забора кто-то из них дежурит. Ты ему деньги или что еще — чистые подштанники, например, или стираное хэбэ, — а он налетит в чайник самодельного вина. Вино дрянь, но по ногам бьет. Идем, что ли?

Пошли к Шанхаю. В укромном уголке, укрытом от посторонних глаз с одной стороны боксами и гаражами, с другой — чахлой зеленью низкорослых деревьев, мы с Чапаевым нашли дырку в заборе, кое-как затянутую колючей проволокой, и выглянули наружу. Замечательная картина открылась моему взору. На обширном пустыре жались один к другому крохотные домики, напоминающие собачьи будки, вместо дверей и окон на многих колыхались старые цветастые одеяла. Зато на плоских жестяных крышах то там, то здесь торчали самодельные телевизионные антенны.

— Видал, как люди живут? — толкнул меня плечом Чапаев и смешливо фукнул в усы. — Телевизор смотрят.

Между тем из ближайшего домика выскочил кудрявый, разбойничьего вида цыган и, виляя по протоптанной в репейнике дорожке, засеменил к нам. Впереди него неслась всклокоченная дворняга и, налетев, залаяла, злобно повизгивая, затанцевала, отскакивая и снова нападая.

— Ай! — подбежав к забору, прикрикнул на дворнягу цыган и пнул ее носком мягкого сапога. — Вина, солдатики? Вино хорошее, лучший виноград! Надо две пары белья. Есть белье?

— Белье завтра. Сегодня деньги, — сказал цыгану Чапаев и показал мне глазами: что же ты, давай...

Я просунул в дырку руку с зажатыми в кулаке медяками.

— Это деньги? — цыган встряхнул на ладони мелочь и покривился. — Ай, белье надо! Принесите белье, дам много вина. А на эти деньги — полчайника, и то много. Виноград дорогой, хороший...

## 5.

И пошло-поехало...

Очень скоро, быстрее, чем рассчитывал, я получил допуск к работе с секретными документами; полковой секретчик выдал мне стопку новых карт, и с утра до ночи я перерисовывал в них карандашами, красным и синим, схему войсковой операции с оригинала, привезенного майором Томашевским из штаба дивизии. Признаться, это была несложная, но нудная работа, и вскоре она мне до чертиков надоела. Я начал вольтануть, все чаще заглядывался в окна на проходящих мимо девушек и спящих в липовой кроне воробьев. А карты все прибывали, и вот уже я не укладывал-



ся в дневное время суток и работал по вечерам, а то и вовсе задерживался до глубокой ночи. Разумеется, я не выспался, глаза от солнечного света стали слезиться, потом навалилась усталость. А Томашевский все подгонял и уже требовал изготовить «между делом» то таблицу, то плакат, то какой-нибудь бессмысленный, как думалось мне, лозунг.

Одно радовало: майор Бровка запил и исчез на несколько дней, так что о нем не было ни слуху ни духу. В штабе злословили, что к нему на дом был отправлен посыльный, но, рассмотрев того в глазок, за дверью затаились. Кто знает, так ли было на самом деле или посыльному попросту померещилось, но благодаря этому обстоятельству я и думать забыл о молодом вине, дырке в заборе и цыгане, нуждающемся в солдатском белье. А если и вспоминал, то с сардонической усмешкой, представляя, как захмелевший писарь-чертежник, то есть я, нетвердой рукой вычерчивает на карте схему очередного боя и вместо западного направления спросонок заворачивает красные стрелки то на юг, то куда-то далеко на север...

Но вот напряжение стало постепенно стихать, карты были изготовлены в нужном количестве, плакаты и таблицы развешаны по стенам, а учения все не объявлялись, — и у меня все чаще появлялось свободное время, а заодно со временем — возможность пристальнее оглядеться по сторонам.

Тогда-то я и стал понимать, чем линейная воинская часть отличается от учебной.

В один из дней, после ужина, по пути в штаб, я услышал, как кто-то окликнул меня по имени. Из боковой аллеи, из-за чахлах елочек появился солдат, мне незнакомый, — сутулый, узкоплечий, утомленный, печальный и весь как бы запыленный. Подойдя, он подал руку, вяло стиснул мою ладонь, улыбнулся, и тут я вспомнил его по золотой коронке, тускло блеснувшей на резце. То был Чудновский, красавчик еврей из Бердичева, симпатичный, вежливый, с правильными чертами узкого лица и темными, смородиновыми глазами. Но теперь я не узнал бы его, если бы не эта коронка: в свое время мы подтрунивали из-за нее — мол, только настоящий еврей исхитряется хранить золото на себе, а именно — во рту...

— Что смотришь? Не узнаешь? — спросил Чудновский, одергивая на себе полы выбившейся из-под ремня гимнастерки. — Ты-то здесь откуда?

Я неохотно ответил — как мог кратко, по сути.

— Ясно. Были лычки — и сплыли, — глянув на мои погоны, сочувственно вздохнул он. — А теперь где? При штабе? Счастливчик! А я вот... — Разведя руками, тем самым как бы приглашая взглянуть на себя со стороны, вздохнул еще раз. — Гребаная армия! Гребанный полк! Жизнь гребаная, понимаешь?!

— Что так?

— Да вот так! Жуткая депрессия, старик. Я не знаю, не знаю... еще год, всего год остался, а мне дня много... Хочется перемахнуть через стену и дать деру. Или пойти в наряд, взять автомат и расстрелять весь рожок... Армяне, урюки, чичи, хохлы... «Деды», сержанты, прапора... Жизни нет, я для них — дрищ, салага, салабон... Сломался, если честно...



уже давно... И хуже всего, они догадались, что сломался. Год отслужил, а в «помазки» прописать не торопятся — слабак, говорят. Ну да, слабак! А слабак — он что, не человек?

— погоди, так что же ты... — Я вдруг осекся и потерял голос.

Чудновский горько pokrивился, болезненно подернул плечами.

— Не пожалуюсь? Ты дурак или прикидываешься? Сегодня пожалуюсь, а завтра споткнусь и расшибу голову о толчок. Или что-нибудь еще случится... — Он глянул на меня искоса, как уцербный смотрит из подворотни на сытого и довольного, и выдавил с тихой ненавистью: — Знаешь, иди-ка ты... в свой штаб... Жалею, что тебя встретил.

И, не прощаясь, повлекся от меня в свою боковую аллею, плулая ногами и шаркая по пыльному асфальту разбитыми сапогами.

— Не пропадай! Заходи, если что... — запоздало и покаянно крикнул я согбенной спине Чудновского, словно был в чем-то перед ним виноват.

Сердце у меня колотилось, дрожь в пальцах не утихала, — и это были не только жалость и сострадание, но что-то еще, касавшееся уже лично меня. И это что-то, жуткое, безжалостное, безысходное, кружило весь последний год вокруг, но, будто гроза-обманка, погремело, сверкнуло неподалеку и прошло стороной. Пока прошло. А если бы не прошло? Ведь я тоже был слабаком, ничем не лучше несчастного, надломленного Чудновского.

Тогда я был атеистом, теперь же первым делом отправился бы в храм, затеплил свечу и долго шептал бы слова благодарности ангелу-хранителю. А в тот год...

Я просидел до глубокой ночи в штабе, но так и не смог притронуться к ватману и гуаши. Когда же пришел в казарму, первое, что увидел, были тени, бесшумно снующие у дальней койки.

— Тс-с! — весело шикнула на меня одна тень, обернувшаяся сержантом Пастухом. — Слышишь, как храпит? А ведь предупреждали: не спи на спине! Ну, урюк, сам виноват!..

На койке, отбросив одеяло и широко раскинувшись, сладко похрапывал рядовой Усманов, салага весеннего призыва. У него в изголовье темнела согнутая фигура штабиста Пантеева с тюбиком зубной пасты наизготовку, в ногах склонился ефрейтор Гаврилюк, который осторожно прилаживал между пальцами у спящего бумажные фитили.

— Зажигай! — скомандовал Пастух.

Чиркнула спичка, осветив красно-желтым пламенем предвкушающие, довольные физиономии участников действия, вспыхнула бумага.

— А-а! — спросонья задвигал, заколотил в воздухе ногами Усманов и едва не подавился зубной пастой, которую выдавил ему в приоткрытый рот хихикающий Пантеев.

— Велосипед, велосипед! — залился радостным смехом сержант Пастух. — Гляди, крутит педали!.. Паста, она полезная, урюк... Будешь еще храпеть, в следующий раз дерьма из толчка наберем — нажрешься. Понял? Не слышу: понял? Попробуй только скажи «моя твоя не понимает», так и заеду в рыло!

С тех пор я всегда сплю накрывшись с головой одеялом — так чтобы только щель для воздуха оставалась у самого лица...



В одно из воскресений мы с Чапаевым отправились в увольнение.

Накануне набросали план: позвонить родным, осмотреть город, пойти в кино. Что, кроме этого, может быть в увольнении хорошего? Девушка? Ее еще найти надо, не всякая захочет водиться с солдатом: мало ли, приголубит — и на дембель, ищи его по свету потом.

С самого начала все пошло как по маслу. В полупустой, гулкой стекляшке телеграфа быстро соединили с далеким домом, и я успокоил мать, что все у меня хорошо, просто замечательно, и, кажется, впервые за последнее время, памятуя о встрече с Чудновским, был с нею искренен: и вправду — хорошо...

Потом в небольшой кофейне у пешеходного моста через речку Уж я по наущению Чапаева впервые попробовал заварной черный кофе. Чашка была крохотная, пошло — горчайшим и отвратным, и стоило это «удовольствие» ни много ни мало целых двадцать копеек!

«Ну как?» — вопрошали восторженные глаза Чапаева.

Не допив, я молча отодвинул чашку на середину стола.

— Это в первый раз кажется, что пахнет горелым сапогом, — убеждал меня Чапаев, когда мы вышли на набережную и стали у чугунного парапета. — А когда-нибудь, попомни мое слово, распробуешь и станешь заправским кофеманом.

Впоследствии так и вышло, но тогда...

— Какая-то она вялая, едва живая, — указал я на зажатое каменными стенами речное русло, замусоренное черными, гнилыми ветками и усеянное булыжниками, между которыми вились мутно-желтые ручейки воды.

— Дождя давно не было, — отозвался словоохотливый Чапаев, — а будет дождь — увидишь... Сумасшедшая река! В полчаса вздуется, поднимется вот до той отметины — тогда держись! Мосту бы уцелеть... Смотри, а вот детская железная дорога! Давай прокатимся вдоль реки?

Неподалеку, в конце набережной, на маленькой станции готовился к отправлению поезд — два вагона и паровоз, уменьшенные в размере, совсем как игрушечные. На платформе стоял подросток в форме железнодорожника и готовился ударить в колокол, у будочки-кассы толпились дети и взрослые — и вся эта картина была светлой и радостной, как воспоминания детства. Но сегодня, сейчас одна только мысль о прикосновении к детству пугала меня, я страшился воспоминаний и гнал их от себя, чтобы еще раз не разворошить горечь отторжения прошлого, притаившуюся на дне души.

— Ну уж нет, катайся сам!

— Не хочешь — не надо, — легко согласился со мной Чапаев. — Поедем в другой раз. А пока потопаем к Ужгородскому замку. Там, скажу я тебе, такой замок!..

Замок, и в самом деле, был замечательный: каменные десятиметровые стены, вокруг — широкий ров, некогда заполненный водой, а теперь заросший невысокой травой, словно солнечная лужайка, каменный мост, перекинутый к воротам. Во дворе — статуи Геракла, борющегося с мно-





гоголовой змейей, и проводника умерших душ Гермеса, а еще — хищная, остроклювая бронзовая птица турул (сокол), изготовившаяся не то к нападению, не то к полету. Но замок, статуи, птица, рыцарский зал оказались в тот день не ко времени и не к месту: какая-то давняя, не отпускающая тяжесть, угнездившаяся глубоко во мне, отвлекала от праздного созерцания.

Наконец я не вытерпел и потянул Чапаева за рукав:

— Послушай, у тебя сколько денег?

— Пять рублей с мелочью.

— У меня — три рубля и восемнадцать копеек. Пойдем выпьем.

— А я о чем! — обрадованно блеснул зеленоватыми, кошачьими глазами тот и заторопился: — Пора в пельменную.

Я недоуменно пожал плечами: при чем здесь пельменная, когда?..

«Там увидишь», — хитро и завлекающе подмигнул мне Чапаев.

Нигде более не задерживаясь, мы проскочили пешеходный мост через Уж, завернули в боковую улочку, затем еще в одну, и еще...

— Здесь кинотеатр рядом, — сказал Чапаев, отворяя неказистую дверь и пропуская меня вперед. — Перекусим — и в кассу за билетами...

Пельменная была крохотной, допотопной, на несколько столиков-стоек посреди зала и у окна. За прилавком стояла буфетчица, рыжая, желтоглазая, сметливая, и принимала заказ у военных — старшего лейтенанта и капитана. Увлеченные разговором, оба они даже не глянули в нашу сторону, когда мы с Чапаевым пристроились позади: посмеиваясь, прихватили тарелки с нарезкой и бокалы с пивом и отошли к ближней стойке. Были и еще посетители: два мутных, сизых типа, переминаясь с ноги на ногу, пили из стаканов вино и скребли вилками по тарелке, ковыряясь в одном на двоих овощном салате.

Мы заказали пельмени, при этом Чапаев прибавил со значением: «И обязательно компот!» — рассчитались и отошли с тарелками в дальний угол зала.

— Тебе не кажется, что нас надули? — шепнул я Чапаеву, припоминая расценки, указанные в меню. — Как-то дороговато... А где компот?

— Тс-с! — приложил палец к губам Чапаев и оглянулся на офицеров.

И тут в окошке для сбора грязной посуды, отгороженном от остального зала выступом стены, показалась рыжая буфетчица.

— Возьмите компот, — сказала она нам и скрылась, оставив в окошке два стакана с темно-рубиновым вином.

В смятении я оглянулся на офицеров: как ни в чем не бывало они пили пиво, жевали, смеялись вполголоса и, казалось, даже не думали о том, чтобы обернуться и посмотреть — что там у нас за компот?..

## 7.

Командно-штабные учения все откладывались, и вот наконец во второй половине августа поступил приказ о привлечении полка к международным войсковым учениям стран Варшавского договора.

На рассвете полк был поднят по тревоге и приведен в полную боевую готовность. Личный состав экипировался, старшины выдавали получен-



ный на складе сухой паек, механики проверяли технику, водители выгоняли из боксов бэтээры и, дымя непрогретыми, ревущими двигателями, выстраивали их в колонну.

Не обошлось и без курьезов: завелось только три мотоцикла из восьми, закрепленных за комендантским взводом, на остальных отсутствовали цепи, колеса, один даже оказался без двигателя. Разъяренный, багрово-красный от прилившей к лицу крови, командир полка полковник Генералов долго орал у бокса на перепуганного старшину, поминая цыган, Шанхай и ту самую мать, о которой приличные люди не говорят вслух, потом приказал загнать мотоциклы обратно в бокс, от греха подальше. А несколько человек из взвода и меня велено было растолкать по бэтээрам.

К обеду полк выдвинулся на учебный полигон и сосредоточился там, чтобы ночью совершить марш-бросок через Ужокский перевал.

Как это часто случается при долгой подготовке к какому-либо событию, обнаружилось, что не все необходимые бумаги составлены, и майору Бровко приказано было задержаться в штабе, устранить недочеты и к началу марш-броска догнать полк на полигоне — непростительная ошибка, объяснимая только неразберихой и спешкой.

— Где майор Бровко? — кричал в трубку осипший Томашевский. Но того и след простыл, докладывал сбившийся с ног дежурный офицер. — Как только явится, передайте приказ: немедленно, сию минуту — на полигон! Через полчаса выступаем...

— Мы к нему домой посылали машину — нет его дома, — оправдывался дежурный, как будто и вправду в чем-то был виноват. — На всякий случай оставили посыльного у подъезда. Какие будут приказания?

— Какие, к черту, приказания! — крикнул начштаба и, прикрыв ладонью мембрану, клекотно, грязно выругался. — Ждать больше некогда. Выступаем.

Фуражка у него съехала набок, вид был потерянный, убитый: потное лицо смялось, глаза слепо смотрели сквозь штабных офицеров, тонкие пальцы то беспокойно вертели карандаш, то барабанили по карте, то сцеплялись между собой в замок.

— Отдать команду по полку: выступаем! — глянув на часы, повторил он еще раз. — Командир полка уже в голове колонны. Товарищи офицеры, по машинам!

Через минуту-другую двигатели взревели, колонна пришла в движение и медленно, длинной стальной гусеницей выползла на дорогу.

Я оказался в хвосте гусеницы, в замкнутом нутре бронетранспортера, на жесткой скамье десанта, — и когда машина зафырчала, дернулась и с рывка набрала разгон, почувствовал, как мало веселья предстоит мне этой ночью. В лобовой части сидели двое: механик-водитель и сержант, командир бэтээра, — и едва машина заскрежетала, запрыгала и понеслась, сержант обернулся ко мне и прокричал с неприкрытой, веселой злостью:

— Держись, а то зубы посчитаешь! Это тебе не штаб — штаны протирать.



Тотчас бронемашина вильнула, я слетел с сидения, и если бы не успел выбросить вперед руки, треснулся бы головой о стальной люк по правому борту.

Всю ночь я оставался начеку: на короткое время проваливался не то в подобие сна, не то в зыбкую полудрему и тотчас подрывался и проверял, крепко ли держусь за спинку сидения. Потом с усилием моргал свинцовыми веками, тер глаза и тщетно пытался рассмотреть, что там впереди, за узкими окошками лобовых окон, но видел только стриженные затылки водителя и сержанта да молоко светящихся фар на толстых стеклах. Тогда, чтобы как-то отвязаться от наваливающегося сна, я принимался проговаривать некогда, в другой жизни, любимые, а теперь почти забытые строки:

В густой траве пропадешь с головой.  
 В тихий дом войдешь, не стучась...  
 Обнимет рукой, оплетет косою  
 И, статная, скажет: «Здравствуй, князь...»\*

Подумав, с трудом припоминая первое слово — «однажды», «годами»? — и мелодично растягивая звучание строк, прибавлял:

Годами когда-нибудь в зале концертной  
 Мне Брамса сыграют, — тоской изойду...

И, наконец, — мучительно-горькое, с наворачивающимися слезами:

Жил-был я.  
 (Стоит ли об этом?)  
 Шторм бил в мол.  
 (Молод был и мил...)  
 В порт плыл флот.  
 (С выигрышным билетом  
 жил-был я.)  
 Помнится, что жил.

Когда перевалило далеко за полночь, по колонне был объявлен привал. «Гусеница» съежилась, сползла на обочину, притихла. В чреве бронемашин мигнули лампочки, свет ударил по глазам — и ко мне на сидение перебрались сержант и механик-водитель, завозились, зашуршали сухими пайками.

— Эй, штабной! — встряхнул меня за плечо сержант. — Просыпайся, пора жрать.

Я пробормотал — якобы сквозь сон: спасибо, не голоден.

— Ну и... как знаешь. «Спасибо» сыт не будешь.

А механик-водитель, чавкая тушенкой, по-жлобски гоготнул:

— Не хочешь жрать — поделись. Мы схаваем, тебе — спасибо.

\* Приводятся отрывки из стихотворений соответственно А. Блока, Б. Пастернака, С. Кирсанова.

На Яворовском полигоне, что в тридцати километрах от Львова, второй день проходили международные учения стран Варшавского договора. Краем уха я слышал, что кроме нашего полка в учениях принимали участие подразделения Польши, Болгарии и Чехословакии, но так ли это на самом деле, узнать мне не довелось: все это время, два дня и большую часть ночи, я не отходил от чертежного стола в штабной машине. Карты двоились у меня перед глазами, а боевые расположения частей все менялись, ставились новые задачи — и эта игра серьезных мужчин в придуманную войну выматывала нас. У майора Томашевского глаза были красные, как у кролика. Майор Бровка, нагнавший полк уже на полигоне, наоборот почернел, щеки его ввалились, и он стал похож на попавшегося на мошенничестве цыгана.

— Я не спрашиваю, где вы были, — убегая с докладом о прибытии полка, обронил полковник Генералов, когда Бровка появился у штабной машины. — В военное время я бы вас расстрелял. К стенке — и все тут! А сейчас не до вас. Приступайте к выполнению обязанностей.

— Ну? — спросил Томашевский, когда узик командира полка скрылся за купами деревьев.

— Что «ну»? — огрызнулся Бровка и в сердцах шлепнул о стол папкой с привезенными документами. — В штабе я был, в штабе! Этот дурак дежурный все напутал.

Он натужно закашлял, и тотчас от него потянуло тройным одеколоном, как тянет от выпивохи, пытающегося таким немудреным способом перебить алкогольный запах...

К концу второго дня напряжение начало спадать. Стихли отдаленная канонада и автоматно-пулеметная трескотня, не пролетали над верхушками деревьев ревушие вертолеты; посыльные от комполка, метавшегося между «полем боя», штабом и наблюдавшим за ходом учений начальством, больше не появлялись. Но едва я вздохнул с облегчением, как майор Томашевский в мгновение ока порушил мои надежды:

— Поужинаешь — и быстро назад: ночью придется поработать. Спать? А спать дома будешь.

И тут, в который раз за время службы, вожжа попала мне под хвост. «Черта с два! — мысленно возразил я Томашевскому. — У меня другие планы на вечер».

А планы были авантюрные, если не сказать идиотские. В те годы я был страстным футбольным болельщиком, и именно в тот день, вернее — вечер, в ответной игре чемпионата СССР по футболу встречались киевское «Динамо» и ереванский «Арагат». И вот ничтоже сумняшеся я надумал во что бы то ни стало посмотреть этот матч. Но как?

Штаб полка развернулся в лесополосе, по одну сторону которой был собственно полигон, по другую — большое незасеянное поле. Еще накануне во время короткого обеденного перерыва я ухитрился рассмотреть несколько сельских крыш по ту сторону рыжевато-зеленого травяного пространства. И вот теперь решение явилось само собой — вместо ужи-



на рвануть через поле по убегающей наискосок грунтовке к этому селу и попроситься на телевизор в первой попавшейся хате, потом вернуться тем же путем на «всенощную» к майору Томашевскому.

«Замечательный план!» — уговаривал себя я, торопливо вышагивая по песчаной, мягкой грунтовке. Большое нежаркое солнце садилось за дальним лесом; горько и настоянно, как в зеленой аптеке, пахло полевыми травами и нагретой пылью, из поlynных зарослей у обочин то и дело выпархивали и разлетались с негромким хлопанием и фырком пугливые птицы.

Глоток недозволенной свободы, думал я. Но где? На Западенине, где выходцев из Центральной и Восточной Украины, как утверждали злые языки, за глаза величают москалями. И вдруг — я: пустите, люди добрые! А там под хатой схрон, на горище — смазанный пулемет, и хозяйева только и ждут, когда приблудятся такие легкомысленные идиоты, как я. Что если это моя последняя авантюра в жизни?

«Может, вернуться, пока не поздно?» — нашептывала мне благо-разумная частичка сознания.

«Но ведь в Карши тебя тоже предупреждали — и что? — сопротивлялась авантюрная. — Что хорошего вышло? Ты мог познакомиться с прелестной узбечкой, а сдрейфил, стушевался, удрал! И сейчас сбежать хочешь?»

Но была еще и частичка ослиного упрямства, и эта частичка, не слушая доводов тех двух, подгоняла меня вперед.

На окраине села, во дворе большой, крытой шифером хаты я рассмотрел женщину средних лет, возившуюся с закопченным чугуном, — она, как я понял, мяла толкачом вареные очистки вперемешку с зерновым отсеком для поросят, так называемую *товч*. Я постоял у калитки, переминаясь с ноги на ногу, потом кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. Женщина разогнулась и недоуменно смерила меня взглядом сухих черных глаз.

— Добрий день! Будьте так ласкаві... Мені б по телевізору подивитись футбол... — промямлил я, с трудом припоминая украинские слова, хотя в равной мере владел как русским, так и украинским языком.

Женщина помолчала, потом воткнула толкач в густое варево, подошла и, подозрительно поджав губы, неохотно отворила низенькую калитку.

— Я звідти, з полігону, — бормотал я, указывая взмахом руки в сторону, откуда пришел. — У нас військові навчання. Я тільки подивлюсь і піду, ви не хвилюйтесь...\*

На меня все так же внимательно и настороженно смотрели два темных глаза.

«Да ведь она может решить, что я дезертир или вор! — осенило меня внезапно. — Как я не подумал об этом? И что теперь? Включит телевизор, а потом кликнет соседей на подмогу? Или муж с вилами где-то рядом?..»

\* Я оттуда, с полигона. У нас военные учения. Я только посмотрю и уйду, вы не волнуйтесь... (укр.)

Но женщина включила телевизор, кивком головы указала мне на стул и вышла из комнаты. Вытянув шею, я увидел через окно, что она вернулась к своему чугунку и снова заработала толкачом.

«Ну вот, удалось... — отлегло у меня от сердца. — Только хозяйка какая-то странная: хоть бы слово молвила... Но какой я наглец все-таки!»

## 9.

Я был донельзя счастлив: наши тряханули армян — 3:1!

Но при этом несколько раздосадован и удивлен: весь вечер хозяйка, то и дело мелькавшая в комнате, не обращала на меня ровно никакого внимания, точно и не было в хате чужого, инородного тела, то есть меня. Даже чаю не предложила, хотя в наших краях непременно угостили бы гостя, каков бы он ни был: не званый, не очень желанный, — лишь бы не вражина конченный.

Но главное, я был не на шутку встревожен, покинув наконец не очень дружелюбный кров и выбравшись за калитку: вокруг, куда глазом ни кинь, клубилась темь непроглядная. А ежели и не темь — чего со страху не померещится! — то туман не туман, сумерки не сумерки, а какое-то сизое марево, застывшее поле, грунтовку, а более всего — дальнюю лесополосу, в которой затаилась наша штабная машина.

Черт бы его подрал, это бескрайнее поле! Я мчался, едва ли не интуитивно угадывая путь-дорогу, но вскоре принужден был остановиться: грунтовка внезапно раздвоилась, потом третья стежка нарисовалась — и все три побежали в разные стороны. А ведь тогда, ранним вечером, дорога была одна!

В недоумении и тревоге я огляделся, справедливо рассудив: ежели огни у меня за спиной, значит, и село там, поэтому идти нужно в противоположную сторону. Но случилось невероятное: далекие, скупые огни проблескивали не только позади, но и по сторонам, по всей окружности поля!

Холодок пробежал по моей спине, стало зябко, пустынно и неудобно.

Но делать нечего, я выбрал песчаный рукав, который показался более широким и разъезженным, и побрел наугад — в густеющем на глазах мраке. Уже млели над головой рассыпчатые августовские звезды, луна наливалась тягучим медовым цветом, и в то же время я все меньше различал грунтовку, все чаще забредал сослепу в полынные силки и капканы, спотыкался, нырял носками сапог в невидимые ухабы.

Наконец надвинулась сплошная, непроглядная кромка леса. Я шел все медленнее и осторожнее, памятуя о неглубокой защитной колее, прорытой между лесополосой и полем, и нащупывая подошвами неровную почву. И тут, в провальной ночной тишине, я уловил негромкий звук голоса — совсем рядом, протяни только руку. Речь была странная, гортанная, на незнакомом языке, — и, прежде чем я осознал это, необъяснимый, волчий инстинкт заставил меня неслышно лечь на землю и затаиться: мало ли что там...

Разговаривали двое — как обычно говорят в ночной тишине сторожкие охотники, чтобы не спугнуть зверя. «Болгары?... Или мадьяры?... —



пытаясь распознать национальность поговору, подумал я. — Черт его знает, кто такие. Но лучше от них подальше: все-таки ночь, и если они часовые...»

Тут что-то сухо и резко треснуло, свистнула пуля — и все похолодело у меня в груди. Какого дьявола?! Резвятся на свободе? Прицельно стреляют? В кого и зачем? Просто так? Мудозвоны, вояки гребаные!

Затаив дыхание, я вжался в землю так, что песчинки, комочки и сухие ломаные стебли травы больно врезались в скулу и край подбородка. Потекла минута, другая... Сердце у меня колотилось, как грохочет телега, скачущая по булыжной мостовой, и мне все казалось, что этот стук, раскатываясь окрест, вот-вот будет услышан неведомыми стрелками. Но в ответ не долетало ни звука. И вот уже я услышал, как кольшутся у лица травинки, потревоженные ветром, как струйками стекает с подошв песок и где-то совсем близко шумят в вышине макушки сосен. Затем снова послышались голоса, но теперь они отдалялись и гасли, пока не растворились в глухой ночи.

Отжавшись на руках, я прислушался, поднялся и, пригибаясь, на полусогнутых скользнул обратно в поле. Потом пошел, потом побежал. Было ясно, что идти к лесу теперь нельзя. А куда можно? Где я не встречу дурака с автоматом или часового, измордованного войсковым уставом и страдающего бессонницей? Скорее всего, там, где тлеет затуманенный ночной свет, — по ту сторону проклятого, неизбывного поля...

На затаившейся сельской окраине, за сквозной изгородью из натянутой между деревянными столбами проволоки я увидел темный остов колхозной фермы. Тяжелая дверь была заперта изнутри, за пыльным оконным стеклом тлея лампочка — и при виде этого покойного света на меня накатила такая свинцовая усталость, что хоть ляг и умри. Но я не рискнул постучать в дверь, хотя очень того хотелось, а обошел ферму и, набредя на раздерганный стожок прошлогодней соломы, не раздумывая зарылся в него с головой.

Сон был мучительный, как забыть неизлечимо больного...

Рано утром, едва рассвело, я был уже на ногах. Отряхнув с гимнастерки солому, подергивая плечами от недосыпа и озноба, я выбрался на неровную проселочную дорогу и побежал в сторону темневшего неподалеку леса. Две бабы, повязанные платками, в сапогах и теплых жакетах, шли мне навстречу.

— Так вон же он, полигон, — певуче отозвалась одна, махнув рукой в сторону, куда убегала дорога.

— Километра полтора будет, — прибавила вторая.

И я помчался что было духу, как борзая, все-таки напавшая на искомый след...

Когда я появился в расположении штаба, все вокруг уже находилось в завершающем движении: палатки комендантского взвода свернуты, лестница штабного автомобиля убрана, а из-под задранного капота высывался зад водителя, что-то подкручивающего в нутре двигателя, разогреваемого перед обратной дорогой.

Майор Томашевский стоял здесь же и заглядывал в сброшюрованную карту, держа ее на походном планшете. Подняв покрасневшие



от бессонья глаза, он посмотрел на меня, как порядочный человек смотрит на негодяя, и сухо, сквозь зубы спросил:

— Где был?

— Случайно задремал... Так получилось...

Смерив меня с ног до головы презрительным взглядом, Томашевский только и сказал:

— Получить сухой паек — и на бронемашину! Через десять минут полк выступает, — и демонстративно повернулся ко мне спиной.

Но я не испытывал тогда угрызений совести, не до того было, — только огромное облегчение, что судьба снова уберегла меня, дурака, от нелепого и бессмысленного попадания в дезертиры.

## 10.

— А твой паек уже получили, — заглянув в какую-то бумажку, рыкнул на меня неприветливый старшина. — Как кто? Те, с кем ты приехал.

Знакомый бронетранспортер уже урчал и пыхтел и, едва я забрался в его остывшее за ночь нутро, сорвался с места и, ныряя на ухабах, поплыл по лесной дороге. Механику-водителю было не до меня, но сержант тотчас обернулся и, темнея обветренным, злым лицом, насмешливо ухмыльнулся на вопрос о пайке: какой паек? в глаза не видел никакого пайка!

«И черт с тобой! — легкомысленно подумал я, пребывая после удачного завершения вчерашней авантюры в состоянии легкой эйфории. — Как-нибудь переживу, подавись этим пайком!»

Но очень скоро мне пришлось пожалеть о собственном легкомыслии.

Оказалось, что полк должен возвращаться к месту расположения по железной дороге. На какой-то занюханной товарной станции автомобили и бронетранспортеры погрузили на платформы, нас же, сержантов и рядовых, растолкали по тесным теплушкам и велели ждать отправления. Прошел час, другой... Солнце поднялось высоко, а состав все томился на запасном пути, даже тепловоз еще не подали.

Кто-то первым зашуршал сухим пайком, подтянулись и остальные.

«Вот так номер! А я как же? — мелькнула мысль, и тотчас я вспомнил, что с вечера не имел во рту даже крошки. — Зато какой футбол посмотрел!..»

Глотая голодную слюну, я отошел к раздвинутой двери, подальше от жующих и чавкающих, оперся локтями о заградительную перекладину и стал смотреть на железнодорожные пути, на вагоны и серые служебные здания.

День разгорался, теплый, ласковый, беззаботный. Где-то посвистывали, сипло и отрывисто, дизельные локомотивы; постукивая молотком с длинной рукояткой по стыкам рельс, вдоль состава проковывалял путевой обходчик в оранжевой жилетке; вздрогнул и рванулся, набирая ход, стоявший поодаль товарняк, груженный углем и лесом.

Чужая, неведомая жизнь текла и длилась, и было странно наблюдать за ней со стороны, понимая, что через час-другой она исчезнет из моей жизни навсегда вместе с путями, локомотивами, обходчиком, исчезнет



так же незаметно и необратимо, как исчез только что ушедший со станции товарный состав.

«Все проходит, и это пройдет», — убеждал я себя, но философствовать на пустой желудок — занятие неблагодарное.

И я стал рыться в карманах и звенеть мелочью, хотя прекрасно знал, что более двадцати копеек не насчитаю. Но вдруг... вдруг поблизости обнаружится буфет, или тетка с пирожками, или еще кто-нибудь — с яблоками, кукурузой, с чем угодно. Проклятый сержант! Сидит где-нибудь и втихомолку уминает сворованную тушенку...

А состав все стоял, солнце клонилось к зениту и всюю припекало, и от путей то и дело тянуло тошнотным запахом нагретого железа и креозота.

Только ближе к вечеру подали локомотив, и мы неспешно потянулись в обратный путь. Медленно потянулись, останавливаясь и подолгу простаивая на каждой станции или полустанке.

Желудок у меня глухо урчал, возмущаясь и протестуя. Понуро свесив голову, обхватив руками колени, я сидел в углу деревянных нар и молчал. Да и о чем было говорить с солдатами и сержантами, мало мне знакомыми? Не просить же корочку хлеба Христа ради! Да и вряд ли выпрошу: рожки как на подбор, не краше своровавшего мой паек сержанта...

— Эй, друг! Почему не ешь? — толкнул меня в бок сосед по нарам. — Нет пайка? Как это — нет? Вот галеты — возьми, пожуй. А то ведь загнешься, пока доедем.

Что это был за парень, какой из себя? К своему стыду, я даже лица его не запомнил.

## 11.

В воскресенье утром полк возвратился к месту базирования.

Удивительная тишина стояла на плацу и возле казарм. Прапорщики и офицеры, вернувшиеся с учений, сразу разъехались по домам, сержанты и рядовые завалились спать, самые отчаянные потянулись с чайниками к дырке в заборе, за которой жил своей полудикой жизнью Шанхай. А мы с Чапаевым решили сорваться в самоволку.

Штабной секретчик Саня Тукмаков, в руки которому изредка попадала войсковая печать, проставлял ее на чистые бланки увольнительных, а от его щедрот перепало и нам. У меня всегда хранилось несколько таких бланков. Оставалось только вписать фамилии, скопировать подпись Томашевского, подсунув под бланк какой-нибудь старый приказ и приложив обе бумаги к оконному стеклу, нарядиться в парадную форму — и гуляй, Вася!

— Вот уж кому счастье — штабным! — вздохнул сержант Пастух, выдавая нам парадную форму.

Был один из последних летних дней. На улицах, в скверах, на площадях толпилась масса народа: дети, девушки, нарядные пары, важные седовласые старики и опрятные, чистые старушки. На пешеходном мосту стояли у перил влюбленные, держались за руки, бросали в рыжую бурлящую воду монетки на счастье.

Мы прошли по мосту, покрутились у кинотеатра, но билеты на дневной сеанс оказались проданы, касса закрыта.

— Что делать? — спросил Чапаев, сбивая фуражку на затылок и морща поделенный надвое полосой загара лоб. — На детской «железке» катались, в парке культуры на лавочках сидели, замок излазили вдоль и поперек, даже в подвале были... Все достало, все надоело.

— Одна пельменная никогда не приестся, — с намеком ухмыльнулся я.

— И я о том же! — одобрительно шлепнул меня по ладони Чапаев. — На днях получил перевод, так что можем себе позволить...

И мы повернулись к культурному учреждению задом, к пельменной — передом.

Пересекая наискосок улицу, я внезапно и необъяснимо встревожился, поднял голову — и тотчас встретился глазами с майором Томашевским. Он был одет в «гражданку», шел нам навстречу с молодой женщиной и девочкой лет пяти, которую вел за руку, и не отрывал от меня пристального, недоуменного взгляда.

— Томашевский! — дернул я за рукав Чапаева.

— Где? — охнул тот и застыл, точно на стену напоролся.

— Идет прямо на нас. В «гражданке», с женой и дочерью.

Тотчас возле уха у меня дуло сквозняком, и Чапаев исчез — как и не был рядом со мной.

Первым моим побуждением было дать деру, раствориться вслед за Чапаевым в праздной многоликой толпе — и поди докажи, что видел именно меня. Но Томашевский все так же смотрел мне в глаза, и уголок рта дергался у него, как бывало тогда, когда майор сдерживался от гнева праведного. Бежать не было смысла, и я сделал единственное, что мог в такой ситуации, — двинулся прямо на него.

Так, не опуская глаз, мы неумолимо сближались, как два дуэлянта, — и я ощущал печенью, сердцем, селезенкой, что смертельный выстрел будет за ним. Но в последний миг, когда между нами оставалось всего несколько шагов, начштаба вдруг отвел глаза, опустил голову и стал за что-то пенять своему ребенку. Ни жив ни мертв, я прошелестел мимо и, как будто сослепу, ступил на тротуар, затем завернул за угол.

— Ну?! — вынырнув из какого-то закоулка, налетел на меня Чапаев.

— Что «ну», легун? Свистнул, будто тебя ветром сдуло!

— Ну?! Что — он?

— В последнюю секунду отвернулся и прошел мимо, — вяло сказал я, ощущая, как в груди у меня ширится засасывающая вселенская пустота. — Видел, глядел в глаза — и прошел мимо!.. А?

— Нужно бежать в полк! Задом чувствую, сейчас будет большой шухер.

И мы быстро пошли, укрываясь в боковых улочках и проулках. Уже у самой части, метрах в пятидесяти от КПП, предусмотрительно высунувшись из-за угла, засекли патруль, сопровождавший троих самовольщиков в здание комендатуры, расположенной неподалеку.

На утреннем построении перед строем неожиданно появился командир полка полковник Генералов. Набычившись, набрав полную грудь воз-



духа и раздувая красные щеки, как будто обозленный варан, он взревел, перекрывая приглушенный говорок задних рядов:

— Сми-ир-на-а!

Говоруны притихли, но тут же сдержанный гогот взлетел над головами — на плац вывели пятерых самовольщиков, выловленных патрулем накануне. Трех мы с Чапаевым видели подле КПП, двое других были нам незнакомы. Эти двое и вызвали невольный хохот полка: они были в нижнем белье и едва держались на ногах — скорее всего, после успешного посещения Шанхая.

— Это что? Это как? — грозя сникшим нарушителям пальцем, загремел Генералов. — Это позор, мать вашу!.. В таком виде!.. Пити не научились, а туда же?! Я вас в подштанниках по городу прогоню! А эту дырку в заборе до конца дня заделать! Где нач по тылу? Приказ ясен? Заделать к чертовой матери! А этим, в белье, по десять суток каждому. Метлы в руки, лопаты — и до седьмого пота... Я вам покажу кузькину мать!

Задержанных под сдавленный гогот увели в комендатуру.

И только нам с Чапаевым было не до смеха: из-за выпуклого, мощного торса командира полка показалась тщедушная фигура майора Томашевского. То-то сейчас будет, то-то и нам достанется на орехи!

— Вот что я вам скажу, — сухо произнес начштаба и, как мне показалось, пристально поглядел в сторону комендантского взвода, где во втором ряду притаились мы с Чапаевым. — Полк на отлично выполнил боевую задачу на недавних международных учениях. Мы можем гордиться полком. Но, как оказалось, не всегда и не во всем. Я вас прошу... нет, требую: дисциплину не нарушать! Только тогда войсковая единица боееспособна, когда она сплоченна и дисциплинирована. И мы с вами с успехом продемонстрировали это на недавних учениях. У меня все.

Полку скомандовали «вольно».

С легким сердцем я повернул от казармы к штабу, и тут меня догнал и пошел со мной рядом начальник полковой гауптвахты майор Климов.

— Я думал, тебя посадят, — сказал он и по-приятельски мне подмигнул. — Вчера звонит начштаба и приказывает усилить патрулирование в городе — мол, весь комендантский взвод в самоволке. С двумя, говорит, столкнулся нос к носу, так один удрал, другой не растерялся и прямиком, говорит, пошел на меня. Не ты ли это, голубь? Я было обрадовался: посидишь, порисуешь. Мне схема питейных заведений во как нужна! — провел он ребром по горлу. — Грозятся проверкой, а наглядной агитации ноль. Может, сядешь, а, голубь? У меня и камера приготовлена с видом на море. Обеспечу комфорт по первому классу!

— Схема питейных заведений? Это что же, инструкция для офицеров и прапорщиков — куда после службы податься?

— И для них тоже, голубь! И для них...

Улыбнувшись, я пообещал, что как только — так сразу...

А сам тем временем думал: все-таки он стоящий мужик — начальник штаба полка майор Томашевский.

Говорят, чтобы подавить у солдат основной инстинкт, в чай им время от времени подливают бром. Но — с бромом или без него — инстинкт этот живуч, как никакой другой.

Вот и мне, кроме отнятой свободы, более всего не доставало плотской любви женщины. Я никогда не был циником, волокитство не самая главная черта моего характера, но всяческие мечтания о неслучайной встрече, первом свидании, робком поцелуе, нежном объятии всегда заканчивались в мыслях одним: постелью. Так уж устроен человек, и никуда от этого не спрячешься, не уйдешь, какими бы красными словесами ни прикрывался единственный на всех первородных грех.

Почему, думал я, все в этой жизни приходит ко мне с опозданием? Мне уже двадцать лет, а я еще по-настоящему не познал женщины. Целомудренные поцелуи с первой девочкой, само собой, не в счет, тисканья и обжимания где-нибудь в темном переулке — не смешите меня!.. А так, чтобы... Угораздило же меня родиться во времена запретов и ханжеской морали! Хотя, если быть до конца честным, некоторые мои приятели, лишённые комплексов по части увещаний и лживых посулов скорого венца и вечной любви, преуспели на этом сладком поприще весьма и весьма...

Но, с другой стороны, я всегда оставался перестраховщиком и трусом и боялся расплаты за содеянное в виде горестных женских слез или того хуже — койки в венерологическом диспансере, как это произошло с пригнобленным Перепелкиным по возвращении в Черновцы.

И вот время текло — неторопливо, однообразно, незримо, как утекает из прохудившегося корыта вода, — а я все жил в состоянии некой раздвоенности, когда обрыднувшее бытие скрашивается потаенными ожиданиями. А так как ожидания и надежды все обманывали, все не сбывались, я стал оглядываться по сторонам. И оказалось, что при штабе полка пребывали женщины. Одна пожилая, вольноопределяющаяся, работала секретарем-машинисткой — она, понятное дело, не интересовала меня. Две другие — моего возраста — носили, как и я, военную форму, и в какой-то момент меня заинтересовало, для какой надобности молодые, интересные женщины затолкали прекрасные, нежные тела в серо-зеленое солдатское сукно. Они-то в армии что забыли?

— А что тут интересоваться? — просветил меня Саня Тукмаков. — И без того ясно: хотят захомутать мужа-офицера. Нина — та, что красивее, — уже почти замужем: летом свадьба. Кто жених? Лейтенант Сосновский, она с ним почти в обнимку по полку ходит. Пара — я тебе скажу!..

Действительно, пара: яркий, перспективный Сосновский недолго будет глотать пыль в этой дыре, да и Нина, если честно, ему под стать — ясноглазая, темнобровая, с толстой косой, туго заплетенной и убранной под пилотку. Не скрою, иногда и я поглядывал, оставаясь незамеченным, как она идет в штаб по утрам: голова слегка вскинута, походка легкая, плавная, спина прямая, как у художественной гимнастки.

«И почему она не со мной, а с этим красавчиком Сосновским? — порой думал я не без чувства постыдной зависти к тому, что мне не при-





надлежит, и тут же спохватывался: — Погоди, о чем бишь я? Нина мне нравится, но не более того. А ей, видно, больше всего на свете хочется свадьбы...»

Вторая девушка казалась по сравнению с Ниной серой мышкой: плотно сбитая, с полными, налитыми бедрами, некрасивым, плохо запоминающимся лицом и, как мне почему-то представлялось, не слишком глубокая. Эта была как бы сама по себе: с кем-то разговаривала, кому-то улыбалась, а Тукмакову даже строила глазки, — но домой всегда шла одна.

Как-то я встретил Таню (так звали девушку) в городе и увязался за ней.

— Привет! — сказал я с развязной веселостью, хотя утром мы виделись в штабе и даже успели перекинуться парой-другой ничего не значащих фраз. — Вот так встреча!

Таня равнодушно глянула на меня, щурясь от яркого солнечного света и прикрывая глаза ладонью. При свете дня я разглядел крохотные конопущки вокруг мягких крыльев ее носа, на бледных висках — бисеринки пота — и вдруг ощутил странное томление, какого давно не ощущал, возжелал взять ее за руку, увлечь куда-нибудь в тенистый сквер, спрятать от людских глаз — и уж тогда...

Оказалось, что она возвращается из почтового отделения — отправляла посылку в село, матери, — что чертовски устала, идет домой, но отдыхать, по всей видимости, не придется: не все дела переделаны. Она вздохнула, и по рассеянному выражению лица и слегка косящему, мимо меня, взгляду стало понятно, что она не прочь отделаться от меня. Но не тут-то было: все то же томление развеяло остатки здравого смысла и я напросился проводить ее до дома. Еще раз вздохнув, она пошла по улице в сторону замка, я не отставал и все пытался ее разговорить:

— Так ты из села? Ясное дело, в городе лучше, но — из села в армию?..

Она недоуменно дрогнула густыми, сросшимися бровями, но только поджала потрескавшиеся губы.

— А живешь где?

— Снимаю комнату. Здесь, неподалеку.

— Послушай, — наседал я. — Может, купить вина? Посидим, выпьем...

— У меня есть вино. «Фетяска», початая бутылка, почти полная.

— Так выпьем?

Она молча кивнула и, отворотившись, украдкой зевнула в кулачок.

Пришли. То был одноэтажный домик на два входа, как бы присевший фундаментом ниже линии тротуара. По двум плоским каменным ступенькам мы спустились к входной двери; повозившись с ключом, Таня отперла замок, впустила меня в крохотную прихожую с низким, как нахлобученная на лоб шляпа, потолком, кивком головы указала на такую же небольшую комнатку, отгороженную шторой, и сказала:

— Проходи, садись.

Я сел к столу, покрытому полинявшей плюшевой скатертью, отодвинул тюлевую занавеску и проводил взглядом чье-то туловище без головы

и ног, проплывавшее по круто уходящему ввысь тротуару, потом с любопытством оглядел комнату. Первое, что бросилось в глаза, была кровать, устланная покрывалом с золотой бахромой по краям, с горкой подушек в изголовье — и эти подушки и бахрома почему-то вдохновили меня, торкнувшись в сердце мутной, нечистой радостью.

«Кровать! — мысленно воскликнул я, ерзая на стуле и предвкушая. — А ну как я лягу с ней на этой кровати!..»

Вошла Таня — уже без кителя, зеленая форменная рубашка расстегнута на три верхние пуговицы, в разрезе переливается золотая цепочка с кулоном в виде сердечка. Ну вот, ну вот!..

— А закусить нечем, — сказала она, поставив на стол початую бутылку и два стакана. — Две конфеты и яблоко. Хватит?

— Хватит, — подтвердил я, разливая по стаканам вино.

— За что пьем?

— За любовь!

— За любовь пить не буду, — внезапно отрезала она с холодной злостью, но тут же сбавила тон и примиряюще улыбнулась: — Ты, если хочешь, пей. А я выпью... я знаю, за что выпью...

Мы ударили стаканом о стакан, выпили и переломили надвое яблоко, оказавшееся подгнившим. Я покривился и положил надкусанную половинку на край стола.

— Мать прислала. Давно уже. Это — последнее, — пояснила Таня, и тут я сообразил, что при этой своей показной рассеянности она не спускает с меня сторожких глаз. — Не хочешь — не ешь. Бери конфету.

Вот оно что: яблоко подгнило, не хочешь — не ешь... Но главное, я вдруг понял: кровать в углу комнаты — не про меня, не будет для меня сегодня кровати. А что будет? Зачем позвала? И что тогда делаю здесь я? Ведь всегда знал, что одни только тараканы ныряют в любую щель...

Я как бы протрезвел, посмотрел вокруг другими глазами — и комната, и все в ней тотчас потускнело, стало напрасным, обиденным, ненужным: вино, покрывало с бахромой, подушки, обветренные Танины руки...

Какая-то она неблагополучная с этим гнилым яблоком, Таня...

### 13.

Майор Томашевский удивил меня как минимум еще трижды.

Он был неумолим, все твердил, что работы много, а я не справляюсь. Но если честно, я не торопился, тянул с нехитрым солдатским умыслом: чем больше станешь успевать, тем скорее поставят новую задачу. Томашевский злился, хмурил белесые брови, отчитывал меня, грозился найти мне замену, а я гнул свое: работаю как вол, ночами не сплю! Майор Бровко, собутыльник и такой же ловчила, как и я, был на моей стороне. Еще бы ему не быть! Пусть даже заветный чайник наполнялся не так часто и ему приходилось допивать на стороне, он отлично помнил, кто прикрывал его внезапные исчезновения из расположения полка, прикрывал не раз и не два...

И вот однажды мне показалось, что терпение начштаба окончательно лопнуло. Я проспал и не подготовил к утру наглядную агитацию с цита-



тами из устава, и Томашевский в своей язвительно-назидательной манере начал меня распекать. На ту беду, в комнате появился как всегда припозднившийся майор Бровко и сходу, не вникая в суть дела, встал на мою защиту. И тут-то Остапа понесло...

— Молчать! — заорал начштаба внезапно просевшим, истончившимся голосом. — Всем молчать! Один — алкоголик, другой — бездельник. Хватит, не позволю!.. Вам, майор Бровко, кажется, пора в отставку? Вы ее не дождетесь, вылетите с волчьим билетом. А ты, — обернулся он ко мне, грозя пальцем и заикаясь от гнева, — надел санитарную сумку и противогаз — и в батальон, к чертовой матери, пыль глотать!

— Вы меня оскорбляете! — внезапно возвысил голос майор Бровко. — Я — заместитель начальника штаба полка, у меня одних поощрений... У меня... Не смейте на меня орать!

— Заместитель? — взвизгнул Томашевский на высочайшей, бабьей ноте и, кажется, сорвал голос. — Недолго еще осталось быть им...

И вылетел, так хлопытнув дверью, что над порогом закурилась седая пыль, а на нижней полке шкафа что-то обрушилось и поехало с шепелявым бумажным шорохом.

— Эге! — сказал майор Бровко и поглядел на меня как на врага народа. — Опять? Я тебя покрываю, а ты — опять?.. Засранец! А если он не перебесится? Как завинтился, а? И я еще не вовремя притащился, зачем-то встрял...

А днем пришла долгожданная телеграмма.

Телеграмма была от матери. Несколько дней тому назад в телефонном разговоре она призналась, что перенесла сложную операцию, но — «я уже дома, и доктор сказал, что теперь все хорошо...»

— Как ты могла? — перебил я ее, тревожась и вместе с тем ухватившись за промелькнувшую в голове мысль. — Почему не телеграфировала? Может, дали бы отпуск, а теперь поздно уже...

— Отпуск? Я попробую, я уговорю доктора, я завтра же...

— Такие телеграммы заверяются больничной печатью. Иначе — никак...

И вот телеграмма пришла, телеграфист подтверждал наличие печати, но что мне было с того? Вместо отпуска в лучшем случае получу противогаз и сумку санинструктора, в худшем...

Я покружил по штабу, заглядывая в кабинеты и спрашивая майора Бровко, но того и след простыл.

«Заныкался! — подумал я со злобой, близкой к отчаянию. — Переживает. Или на все плюнул и закатился в буфет. А мне как же? Что делать мне?»

С полчаса я потерянно топтался у двери начальника штаба, не решаясь постучать и войти. Потом, понутив голову, поплелся восвояси — и сразу же столкнулся с майором Томашевским на лестничном пролете. Прижавшись к стенке, не решаясь поднять глаза, я вытянулся, отдал честь, но он сделал вид, что не заметил меня, и молча продолжал подниматься по ступенькам.

«Пропало дело», — комкая телеграмму в руке, вздохнул я.

И тотчас с площадки второго этажа раздался голос начштаба:



— Ну-ка, вернись! Что у тебя там?

В три прыжка промахнув лестничный пролет, я подал Томашевскому телеграмму. Нахмурившись, он двумя пальцами, почти брезгливо выхватил ее у меня, расправил, посмотрелся и поднял на меня глаза:

— Когда поезд? Успеешь?..

Отпуск пролетел как один день — я и заметить не успел, как оказался на вокзале с обратным билетом.

На перроне, к немалому своему удивлению, я столкнулся с Ярославом Согой. Старый приятель снова перешел погоны с красных на более почетные черные, нашил новые лычки, нацепил знаки отличия и гоголем прохаживался подле стайки смешливых девушек, с интересом посматривающих на бравого сержанта.

— Черт бы его задрал! — с хитрым смешком пожаловался он мне. — Все у меня было на мази: заведовал свинофермой в полку, два раза был в отпуске, про санитарные сумки и думать забыл. И вот на тебе — за полгода до дембеля переводят в другую часть.

— Опять переводят? Что так?

— Да сошелся, понимаешь, кое с кем... с женой прапорщика. Такая баба — огня с ней не надо: только тронь — так и горит! Прапорщик на дежурство — я к ней, прапорщик на дежурство — я к ней... И так полгода. Пока какое-то падло не настучало. Я к ней — а дома муж с пистолетом. Пальнул в потолок — и за мной. Скажу честно, никогда так не бегал! На дворе ночь, ни хрена не видно, а я по каким-то дворам, помойкам — как заяц... Прыг-скок и сослепу — в силосную яму... Холодно, эта дрянь — по пояс, выбраться не могу. Но стою тихо, как мышь, потому что этот дурак с пистолетом над головой бегаёт. Так и не нашел... В общем, прапорщик — в другую часть, а меня — пока в отпуск, а там как получится...

— Не жалеешь?

— Чего жалеть? Она на вокзал примчалась — меня провожать. Сказала, любит, хоть сейчас мужа бросит.

— А ты?

— А что я? Я сейчас Родине служу. А Родина — тоже в каком-то смысле женщина. Что же мне, разорваться?

«Да, это была бы история — похлеще моей! — не без зависти подумал я о счастливчике Соге. — Только кто ж ее напишет? И когда? “Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя: богатыри — не вы!..”»

В полк я вернулся, припрятав на дне вещевого мешка две бутылки чистейшего самогона, обещанного сержанту Пастуху и двум-трем приятелям из комендантского взвода. На КПП, как и в день моего первого появления в полку, дежурил тот самый капитан, и вид у него был — точно у охотничьей таксы, приноживающейся у лисьей норы.

— А, штабной! — воскликнул он с ехидной приязнью. — Ну-ка, поглядим, что у тебя в рюкзаке!

В несколько секунд капитан вытряхнул на стол содержимое рюкзака и, как бы взвешивая в ладонях полные бутылки, воззрился на меня масляным, нежным взглядом бледно-голубых глаз:



— Ну?

— Что «ну»? — нагло, едва сдерживая злобу, огрызнулся я. — Вообще-то, подло рыться в чужих вещах. Можно было и по-другому...

— А как? — заинтересованно спросил капитан и водрузил одну бутылку на стол, к моим выпотрошенным вещам.

«Поделиться хочет», — сообразил я, но вожжа уже попала под хвост, я вспылил и не пожелал уладить дело миром.

— Могу идти? — только и обронил сквозь зубы, побросав вещи обратно в вещевой мешок.

Капитан тяжело вздохнул, снова прихватил со стола самогон и, более не обращая на меня внимания, принялся бережно припрятывать обе бутылки в выдвижной ящик.

Во второй раз я удивился, когда осенью залег в полковой госпиталь — отдохнуть от штабной рутины, а заодно помочь главному врачу подготовить к приезду комиссии наглядную агитацию. Лежать было тепло и уютно, кормили хорошо, тревожили редко, и я позволял себе работать спустя рукава, с прохладцей, а больше наслаждался покоем и отлынивал от трудов праведных. Но и недели не прошло, как главврач понуро сообщил мне, что назавтра вынужден меня выписать.

— Но ведь и половины еще не сделано! — пытался возразить я.

— И хотел бы, да не могу: приказ начштаба...

— Надо было объяснить: тяжело болен, вставать запрещено, инфекция и все такое прочее...

— Это ты сам ему объяснишь, — отмахнулся от моих доводов главврач. — Думаешь, я не говорил? Доказывал, убеждал. А он ни в какую: мол, если только не при смерти — выписывай, работа — лучшее средство от всех болезней...

Зимой были проведены очередные командно-штабные учения. На этот раз мы с Чапаевым ехали с комфортом — в ремонтном грузовике с крытым кузовом — и всю дорогу валялись на слесарных верстаках, подстелив шинели и глядя на заснеженный перевал в обледенелые окошки. Под конец пути бок у меня ныл, придавленный огромными, привинченными к верстаку тисками, зато приехали без приключений, если не считать ГАЗ-66, опрокинувшийся в кювет сразу за перевалом. Узбек-водитель, задремавший за рулем, отделался легким испугом, машину, зацепив тросом, выволокли на шоссе, поставили на колеса, и колонна снова продолжила путь.

Остановились посреди заснеженной, окруженной высокими соснами поляны, в стороне от «директрисы» — участка полигона, предназначенного для артиллерийской стрельбы.

— Ну, иди малюй, — невесело покривился Чапаев. — А я ближе к кухне.

Было понятно, что деваться ему в этом лесу некуда: грузовик укатил по каким-то ремонтным делам, а в штабную машину хода ему не было.

В машине оказалось тепло и уютно. Склонившись над картой, майор Томашевский что-то прикидывал, сверял с записями в своем блокноте и, как бы проговаривая написанное, шевелил тонкими бескровными гу-

бами. Майор Бровко поглядывал через плечо начштаба и украдкой пожевывал, прикрывая рот прокуренной, ссохшейся, как перепончатая гусиная лапка, ладонью. Еще один майор и два капитана теснились подле стола и ожидали, когда расчеты будут закончены.

Наконец начштаба поднял голову и сухо спросил офицеров, понятна ли задача. Те с готовностью закивали головами, и кто-то один добавил: «Так точно!»

— Тогда выполнять! — приказал Томашевский, а меня поманил к столу пальцем и указал на карту: — Скопируешь с нее диспозицию, чтобы каждому батальонному — по карте. Приступай!

Весь день я провозился с картами, возвращаясь к уже изготовленным и то и дело внося изменения в боевые позиции батальонов. Спина гудела, в шее и затылке торчали незримые гвозди, кисть правой руки онемела и нетвердо держала карандаш. Но Томашевский остался доволен. Не умея хвалить — или принципиально не делая этого из каких-то своих, высоких соображений, — он всего лишь дрогнул уголками рта, что означало скупую улыбку, и сказал:

— На сегодня все. Можешь идти.

— А куда идти? — тупо переспросил я. — Наша машина уехала...

Томашевский нахмурился, дернул щекой и посмотрел на меня с каким-то прискорбным недоумением:

— Как это — куда? Ты солдат? Стоящий солдат всегда найдет — куда, а вот никчемный...

И я пошел — по металлической лесенке спустился на утопанный снег и беспомощно огляделся. Громадные черные сосны обступили машину со всех сторон. Черно было и небо над головой: ни единой звездочки, ни желтого скошенного серпа, ни вислого облачка не было видно, как ни всматривался я в непроглядное, неживое пространство, распростершееся надо мной. Да еще мороз в двадцать градусов, черт бы его подрал, тотчас забрался за воротник, прилип к рукам через перчатки, прихватил пальцы ног.

«Ну и куда прикажете, майор Томашевский?» — обернулся я к нагретой, уютной штабной машине. — Замерзнуть под лестницей, околеть как собака? А свою дочь тоже выставишь когда-нибудь на мороз?»

Негромкий повторяющийся стук отвлек от нерадостных размышлений. Обогнув разлапистую кривую ель, я разглядел в мутном свете, долегающем из окна штабного автомобиля, грузную фигуру Чапаева. Коротко взмахивая саперной лопаткой, он обрубал раскидистые еловые лапы и сбрасывал их в кучу.

— И тебя выставили, — произнес он, нисколько не удивившись моему появлению. — Почему-то думал, что так и будет.

— Смотрите-ка, он так и думал! — озлобился я, хотя Чапаев в нынешнем моем положении уж никак виноват не был. — Дальше-то что, провидец?

— А дальше ничего, дальше спать будем. У меня тут земляк объявился, служит каптерщиком в химическом батальоне. Я у него два ОЗК выпросил — тебе и мне. Сейчас нарубим веток, вытопчем в снегу ямку, выстелим дно хвоей — и лучше всякой перины будет. Вот, надевай, —



бросил мне скатанный общевоёвской защитный комплект Чапаев. — Через этот «презерватив» мороз не достанет, сам увидишь.

— Черт с тобой! — буркнул я, втискиваясь в ОЗК и притопывая на ходу от липучего холода. — Но если эта резиновая дрянь к нам замерзнет!..

Но как-то само собой вышло, что, едва улегшись и тесно прижавшись друг к другу, мы тотчас уснули и проспали как убитые до самого утра.

А утром мне показалось, что я сейчас только выбрался из парилки.

— Что, вспотел? — засмеялся Чапаев, и я увидел, что усы его прихвачены нежным инеем, а пшеничный чуб, выбившийся из-под ушанки, прилип ко лбу влажной, потемневшей от пота прядкой. — Жив, казак?

— А что мне сделается? — хорохорясь, отвечивал я, а потом злобно добавил, понизив голос, чтобы никто не услышал: — И все-таки Томашевский — сука! Или так надо было — а, Вася?..

## 14.

После опубликования приказа министра обороны СССР об увольнении в запас в полку заволновались дембеля. Увольнение в первую очередь было обещано лучшим из лучших, списки тасовались, кого-то зря обнадежили, за кого-то настойчиво ходатайствовали командиры подразделений.

Я был внешне спокоен и старался не думать об этом: что толку думать, если накануне майор Томашевский в обычной своей манере грозил уволить меня в запас одним из последних. Ну и ладно, ну и потерплю! На мое место уже подобран салага, молодой да ранний, вот пускай и пашет день и ночь, а с меня довольно! И я демонстративно отлынивал: чесал языком в секретке у Сани Тукмакова, перекидывался словом-другим с Таней, убегал в самоволку — забрать из ателье костюм, пошитый в предвкушении скорой гражданки.

Одно было непонятно: оставаясь в немилости у начштаба, я почему-то поощрялся командованием — ко Дню Советской армии и Военно-морского флота стал ефрейтором, а к Первому мая нашыл лычки младшего сержанта и нацепил на китель значок «Гвардия».

— Я для тебя лоб расшибаю, а в сейфе опять ни черта нет! — наезжал с намеком майор Бровко, но мне не очень-то верилось, что поощрения — дело рук «благодетеля» и любителя дешевого портвейна: не тот он человек, майор Томашевский, чтобы прислушиваться к кому бы то ни было, кроме самого себя.

Четвертого мая, в послеобеденное время, полк в полном составе был построен на плацу, знаменосцы вынесли знамя, и первой группе срочников, уволенных в запас, командование полка в лице командира, замполита и начальника штаба выразило благодарность за добросовестную службу, пожелало счастливого пути и мирного неба на гражданке. Оркестр грянул «Прощание славянки», и полк отбил строевой шаг перед трибуной с дембелями, слегка ошалевшими от долгожданной и такой близкой свободы. Но, как это часто бывает, свобода велела немного обождать: под звуки марша дембелей усадили в полковой автобус и в сопровождении офицеров повезли на железнодорожный вокзал.

— Чтобы не перепились или еще чего-нибудь не отчебучили, — пояснил штабист Пантеев, который готовил дембелям проездные документы. — Они или поезд перепутают, или задержатся в городе на день-два. Они много чего могут, эти веселые ребята!

— А ты как же, Пантеев? — подначил кто-то из комендантского взвода. — Когда на дембель?

— Когда? Когда надо! — огрызнулся Пантеев и, переваливаясь на гнутых ногах, зашагал к штабу.

— А ему увольнение не светит, — засмеялся Тукмаков, не жаловавший самодовольного, похожего на гусака Пантеева. — Будет сидеть в канцелярии и оформлять открепительные документы, пока последний дембель не уволится. Больше некому: он себе замену не подготовил.

«Еще один... — проникся я неожиданным сочувствием к канцеляристу. — И ничего не напишешь, справедливо: мы ведь не тянули солдатскую лямку, а протирали в штабе штаны. Вот и уедем последними, друг ситный Пантеев!»

Но все равно было горько и обидно, никого не хотелось видеть, штаб опротивел — и, от греха подальше, я ушел в казарму и завалился на койку — в гимнастерке и сапогах.

Проснулся я оттого, что сержант Пастух тряс меня за плечо:

— Спишь? А тебя в штабе с собаками ищут.

«Пошли они!.. Пусть ищут», — хотел отмахнуться я, но благоразумие взяло верх: зачем мне еще одна неприятность, если терпеть осталось — всего ничего?

В штабе было пустынно, сумеречно, гулко. Только в конце коридора, за приоткрытой дверью, стучала по клавишам пишущей машинки секретарь-машинистка. Я поднялся на второй этаж, достал ключ от кабинета, но дверь оказалась распахнутой — майор Бровко, будь он неладен, топтался у сейфа с тем выражением на помятом лице, с каким медвежатник примеривается с воровской отмычкой к запертому замку.

— Где тебя носит? — набросился он на меня, играя кустистыми бровями. — Как это — спал? Ему на дембель пора, а он — спал!

Я хмуро ответил, что первая группа давно на вокзале, а если говорить обо мне, то майор Томашевский...

— Какой, к черту, Томашевский? У тебя кто друг? То-то и оно, что один Бровко! Я перед ним, перед Томашевским, поставил вопрос ребром: если не отпустить тебя в первой группе, новый писарь-чертежник поглядит-поглядит и потеряет всякий интерес к делу. Так и сказал: немедленно тебя отпускать!.. В сейфе ничего нет? Плохо, что нет! Вот тебе два приказа — об увольнении и о присвоении сержантского звания и нагрудного знака «Отличник Советской армии». Каково? Знай наших! А у тебя в сейфе пусто... Денег нет? Ничего, сейчас дембельские получишь...

От изумления я потерял дар речи.

— Ну, чего стал столбом? Давай, дуи в канцелярию, получи документы, денежки, бери бутылку — и галопом назад: дембель обмыть надо! Только одна нога здесь, другая там — Томашевский приказал придержать приказ до утра, чтобы ты еще поработал. Но я сказал, сегодня уедешь, мое слово крепкое.



И я понесся сломя голову, как никогда в своей жизни больше не бежал.

Пантеев, которому я отнес копию приказа об увольнении, задохнулся и почернел лицом, как будто проглотил ужа.

Вещи мои давно уже были собраны, сложены в чемодан и припрятаны в штабе, под чертежным столом. Осталось взять в каптерке парадную форму и приколоть к погонам сержантские лычки. С иголкой и ниткой в руках я в последний раз сидел в казарме, и сонная тишина не вызывала у меня никаких чувств, кроме одного: желания ни при каких обстоятельствах не возвращаться больше сюда. С плаца доносились нестройные выкрики моих бывших сослуживцев — комендантский взвод разучивал перед построением на ужин новую песню. Но даже мысленно меня не было уже рядом с ними...

Нашив лычки и переодевшись, я помчался к дырке в заборе, купил у дежурного цыгана бутылку плодово-ягодного и вернулся в штаб.

— Тебя ждатель — легче удавиться! — пробурчал майор Бровко, но, увидев мой оттопыренный карман с бутылкой, удовлетворенно хекнул и впервые за время нашего с ним собутыльничества милостиво доверил мне сакральную миссию виночерпия: — Ну, наливай!

Я наполнил майорский стакан до краев, себе плеснул на донце: мало ли что может случиться на вокзале — например, придерется патруль и вместо полки в общем вагоне можно переночевать на «губе»...

— Не пьешь? Ну и правильно! — похвалил Бровко, наливая себе второй стакан. — И я бы не пил, но, понимаешь, с некоторых пор ощутил: старею. А старость — такая мерзость, такая гадость! Ночью жена обижается... А утром встал, вышел из дома — солнце пригрело, тепло по жилам, что-то в кармане очнулось... Я руку в карман, хватать — и назад, и стучу в дверь. Она открывает: «Что, что?» Я: «Ничего, дура, давай, давай!..» Она: «Что давай?» Тут я чувствую — отпустило, всё, амба! Ничего, говорю, поезд ушел... Как тут не выпьешь? Я и выпил! И пью, и пить буду! Будь здоров, пацан, не кашляй!

Уходя, майор Бровко крепко пожал мне руку и размягченной походкой заковылял к двери.

«Прощай, старый пьянчуга!» — мысленно сказал я вслед удаляющейся сутулой спине и тут же забыл о нем, как и о том, что у меня осталось на все про все два рубля с мелочью, а ехать предстояло с пересадкой во Львове.

Потом я забежал в секретку, к Сане Тукмакову.

— Будь здоров! — обнял меня он. — Ну ты и фрукт! Я случайно зашел в канцелярию, а там Пантеев от злости грызет штукатурку. Видел бы ты, как он чернильницу о стенку раскокал! Теперь сидит, матерится на все заставки и оттирает панель от чернил...

— Плеватель на Пантеева! На всех плеватель! Ну а ты держись, брат!

Вот и все: два года, вычеркнутые из жизни, навсегда миновали. И пусть их, и к чертям собачьим! За воротами КПП — гражданка, воля!..

С чемоданом в руках я мчался, как затравленный заяц, убежал от армии со всех ног — по аллее мимо плаца, на котором полк строился на вечернюю переключку.

— Э-э-э! — заорали в несколько глоток ребята из комендантского взвода, заулюлюкали, засвистели. — У-у-у!

Я поставил чемодан, подбежал, сконфуженно улыбаясь, точно мелкий воришка, пойманный на горячем: никуда, мол, не убегаю, отвезу на вокзал вещи и вернусь, выставлюсь за дембельский приказ. Но, по всей видимости, глаза выдавали во мне лжеца: не вернусь, и не ждите, и незачем — ни мне, ни вам, ни кому бы то ни было еще...

На вокзале я купил билет на ночной поезд и сел в зале ожидания на деревянную скамью. Время тянулось, и мне казалось — вот-вот оно замрет, остановится и потечет вспять...

Хорошо знакомая фигура в помятом гражданском костюме мелькнула в проходе между скамьями, и сердце у меня упало: майор Бровко отыскивал меня, шаркая по плитке нетвердыми ногами.

— Вот ты где! — воскликнул он, тяжело дыша, и ухватил меня за рукав. — Билеты взял? Молодец! А я подумал: надо бы тебя проводить. Сколько еще до отправления? Успеем! Тут недалеко винный магазин...

Я достал последние дембельские гроши, вложил в трясущуюся ладонь старого пропойцы и сказал, что пить не стану — боюсь опоздать на поезд.

— Ну, как знаешь, — вздохнул майор Бровко, удовлетворенный таким поворотом дел, потом обнял меня за плечи, прощально встряхнул, потянулся к выходу, но тотчас обернулся и прибавил с хитрой ухмылкой: — Я только что из штаба. Томашевский спрашивает: где? почему отпустили?.. Я говорю: зачем человека мариновать до утра? Он подумал-подумал и кивает: может, и так, но как-то нехорошо получилось — что же он не зашел попрощаться?..

## Вместо эпилога

Я покидал армию в твердой уверенности, что забуду о ней навсегда. О том, чтобы рассказать эту историю, даже мысль в голову не приходила. Да и о чем, собственно, писать? В памяти эта частичка прошлого затеряна, тускла, заброшена, как старое кладбище, поросшее диким шиповником и травой...

Но, по всей видимости, ничто в жизни не забывается — ни хорошее, ни плохое. Более того, с годами полюса хорошего и плохого часто меняются местами, а то и сливаются в одно целое, и это целое называется ностальгией.

Как бы там ни было, эта непридуманная история получилась мозаичной и пестрой — не история, а лоскутное одеяло. Иначе и быть не могло, ведь жизнь — озарение и забвение: людей, событий, ожиданий, разочарований. И армия — только часть ее, кусочек, крохотный и не очень яркий.

Но главное, почему написал эту повесть, — с возрастом я стал вдруг задумываться: а что, если бы тогда, в годы службы, случилась война? Пал бы я в первом бою, под обстрелом, от шальной пули или разрыва снаряда — это еще вопрос: кроме умения в каждом из нас таится древний и неистребимый инстинкт выживания. Но вот в рукопашной...

Мария ФРОЛОВСКАЯ

## НОВОГОДНЕЕ СЕРЕБРО

\* \* \*

Совсем высоким, непослушным,  
каким-то детским голоском  
старушка пела для старушек  
и двух усталых стариков  
про то, что миленький уехал,  
про то, что вертится Земля.  
Районная библиотека,  
и западающая «ля»,  
и из ближайшего «Ашана»  
печенье, сушки, черный чай.  
Как тяжело она дышала,  
так глухо проигрыш звучал.  
Но снова ласково и чисто  
она вступала и вела  
про молодого гармониста,  
про «всю я ночь не спала».

\* \* \*

Топчутся на остановке прохожие запорошенные:  
стайкою — хулиганы, по одному — отличники.  
Если втянуть в себя воздух, получится как мороженое —  
хочешь, представь ванильное, хочешь, представь клубничное.  
Если ловить снежинки на шерстяную варежку,  
варежка станет мокрой, но, как в кино, красивой.  
Добрый декабрь-месяц, что ты еще подаришь мне?  
Тают снежинок искры на рукавичках сына.

\* \* \*

Наверное, в прошлой жизни  
была я плохой хаски,  
фигово тянула нарты  
и тьякала не по делу.





И вот в заметном парке  
покорно везу салазки,  
сварливо скрипят полозья  
по узким дорожкам белым.

Наверное, в прошлой жизни  
я мало любила ближних  
и мало любила Бога,  
и просто — любила мало.  
И вот я теперь не знаю,  
как справиться мне и выжить  
с огромной моей любовью,  
сопящей под одеялом.

\* \* \*

Никто меня не тронет,  
никто не отворит,  
пока снаружи море  
и море изнутри,  
пока оно грохочет,  
за створками темно  
и дождик среди ночи  
колотится в окно.  
И голоса ракушек,  
и рыщущий маяк  
на твердолобой суше  
преследуют меня,  
и сны мои рисуют  
шуршанием песков,  
хтоническим безумьем,  
хронической тоской,  
и заставляют видеть,  
в себя меня включив,  
все то, что снится рыбе,  
кочующей в ночи.

\* \* \*

Еще травы благоуханье  
плывет, боярышник горит,  
неловко говорит стихами  
в прокате лодочном старик,  
скребут о днище голубое  
сосны затопленной клыки.



О страх неведомых пробоин,  
и рябь разбуженной реки,  
и одиночества и чуда  
взвесь, непостижная уму,  
и желтый лист, из ниоткуда  
планирующий на корму!

\* \* \*

Запорошенный город готовится зимовать.  
Бригадир материт неведомого Олега,  
два веселых узбека спорят, и их слова  
золотою хурмой раскатываются по снегу,  
Самаркандом пахнут, лукумом и пахлавой,  
свежий снег под ними обтаивает, как масло.  
Снегопад, словно парусник, высится и плывет,  
на машинах рисует папоротник и астры.  
И не надо ни елок искусственных, ни шаров,  
ни фонариков алых с пластмассовыми свечами.  
Прямо с неба течет новогоднее серебро,  
выходи под него  
и празднуй его начало.

\* \* \*

Сухая, ржавая  
стоит трава.  
Как послушание,  
несу январь.  
По-городскому он  
не зол, а сер,  
бумагой скомканной  
сугроб осел.  
Темно и холодно,  
окна провал.  
Как послесловие,  
тяну январь:  
он дым над крышами  
и конфетти,  
он елкой рыжею  
в сугроб летит.  
Он жар простуды и  
сухая ость.  
Он то, что чудилось,  
да не сбылось.

\* \* \*

Пахнет куревом в подъезде,  
сонно шуруется тоска.  
Мы когда-нибудь исчезнем,  
ну и ладно, и пускай.  
Ведь тогда исчезнет тоже  
эта ненависть и жуть,  
лужа липкая в прихожей,  
пыльный серый абажур.  
За стеной соседка учит  
математике дитя,  
а потом — про «снег летучий»,  
вихри матные крутя,  
а старик старуху пилит,  
а на пятом этаже  
две бутылочки распили  
и хорошие уже:  
и таскают за волосья,  
воют, щерятся зверьем.  
Сколько нас, куда нас носит,  
что так жалобно живем?

\* \* \*

Здравствуй, старая Лиза! Тебе ли волхвов поджидать?  
Ты с десятого класса по жадным ходила рукам.  
Даже если взойдет, даже если взаправду — Звезда,  
ты ее не увидишь, смотри — облака, облака.  
А сегодня мороз, не сидела бы ты, не ждала,  
заболеешь, помрешь — на кой черт нам тебя хоронить?  
Лиза слушает — вдруг зазвенит колокольчик осла?  
И прядет ожиданье, как толстую серую нить.  
Лиза ждет караван, до него восемнадцать минут —  
задрожат фонари и погаснут, и по темноте,  
по асфальту неслышно ступая, верблюды пойдут,  
заревут, выдыхая косматую злую метель.  
И пристроится Лиза — шалава, пьянчужка и дрянь —  
за последним верблюдом, узорчатый схватит шнурок,  
и покатится мир — Самарканд, Бухара, Еривань,  
разноцветным ковром, трепеща, развернется у ног.  
Застрекочут цикады, тревожно запахнет трава,  
и столпятся у входа, шушукаясь и бормоча,  
и верблюды, и Лиза, и три бородатых волхва,  
и серебряный столб разорвавшего тучи луча.

Олег ЛУЗАНОВ

## НЕПРИДУМАННАЯ ВОЙНА

Р а с с к а з ы

### Простые подвиги

— Дед, а как ты воевал? Почему медалей нет? — спросил внук. — Ты ведь был на войне?

— Все были, — вздохнул дед, — и я тоже...

— А раз ты воевал, где медали? Ты что — не стрелял?

— Почему — не стрелял? Стрелял. На войне все стреляют.

— Ну вот и расскажи, как воевал!

Дед посмотрел на беспокойного потомка: белобрысый, конопушки, нос пипкой, а глазенки горят ожиданием рассказа про подвиг. Восемь лет. Интерес неподдельный, как такому не рассказать... Вздохнул еще раз, причмокнул вставной челюстью:

— Ладно. Только я плохо помню: давно это было, да и контузия... Ну вот, например. Выходили мы из окружения... Хотя нет, не окружение это было. Просто нужно было к своим. Линию фронта отодвинули назад, а мы в обороне оставались. Прикрывали, значит. До темноты. Человек сорок... А потом говорят: «К утру, пока темно, нужно к станции выйти, там новая линия обороны. Иначе — окружение». А до фронта без малого шестьдесят километров! Так вот мы за ночь по степи и пришли.

— И как же вы шли? Это же далеко! — внук не верил, что так было.

— Далеко... Жить захочешь — добежишь. Там еще беда случилась: медсестричку мы потеряли.

— Ее убили?

— Нет, замерзла. В ноябре это было. Холодно. Когда мы шли, река там оказалась — и моста нет. Все мужики разделись догола, одежду к головам ремнями привязали и поплыли. А она стеснялась, только верхнюю сняла. Ей бойцы говорили: «Кто на тебя смотрит?» А она все равно... Мы из воды вылезли, в сухое оделись — и ходу. А медсестра — уж не помню, как ее звали, — на мокрое натянула. К утру у нее жар сильный. Только дошли до наших, она тут и преставилась.

— А почему она стеснялась? — спросил внук.

Дед задумался:



— Женщины... Стеснялась, и все. Дура. А могла бы жить. Молодая совсем.

Внук помолчал, а потом опять заерзал:

— Ну, это ты про отступление рассказываешь. А про то, как сражался?.. Ты кем на войне был?

— Солдат обычный, пехота.

— А стрелял из чего?

— Вначале из винтаря, а потом из пулемета — из «максима».

— Ух ты, это как в кино! А много фрицев убил?

— Да кто знает. Стрелял... Вот берешь так... планку вверх... — Дед начал руками изображать, как он готовил пулемет. — Ставишь на середину и ведешь...

Дед свел два кулака вместе, как будто держал ручки пулемета. Прищурил глаз, напрягся, как будто опять видит цель.

— Вот так ведешь по цепи, только медленно. Вот так... В ноги целишь, по коленям... и каждый третий падает...

— Ничего себе, — восхитился внук, — это много! И что, ты всю войну из пулемета стрелял?

— Ну почему только из пулемета? На Курской дуге и из пэтээра приходилось — по танкам.

— По танкам? Из пэтээра? Что это?

— Пэтээр-то? Да ружье такое. Тяжелое, длинное. Во! — Старик развел руки. — И патрон вот такой, — показал, словно рыбу, на раскрытой ладони. — Да только ни черта он танк не пробивал. Гусеницу еще мог. Но пока попадешь... Вот бутылкой — это да! Но это когда совсем близко. А еще лучше, если сзади.

— Как это?

— Это как получится. Или когда через тебя танки уже прошли, или... — Дед махнул рукой.

— Почему через тебя? Раздавит же... — Мальчик поежился.

— По-разному бывает. Но видишь, живой же. Значит, мы победили! — Дед ободряюще потрепал внука по голове. — А вот когда на нашем участке «катюши» стрелять стали — ух мы тогда и обрадовались!

— А «катюши» сильно били?

— Да, лупили ганса, только перья летели! — Дед заулыбался. — А то еще «ванюши» были...

— Какие Ванюши? — засомневался внук.

— Это у немцев миномет такой. Как услышишь звук... Если «пи-иу» — то не твоя мина, а если «фрчу-у-у» — тогда убегай и в ямку поглубже: это твоя летит. Но они только после разведки стреляли. Сначала «раму» запускали — значит, скоро ударят.

— Дед, что ты все время — то Ванюша, то рама... Какая рама?

— Самолет у немцев был такой. Разведчик. «Фокке-Вульф». Зависнет в небе и команды передает. Наводит, значит. А потом артиллерия...

— А чего же вы его не сбивали?

— Так высоко же, и попасть трудно. У него еще два корпуса было и посередине кабина. Точно как рама. — Дед показал пальцами контуры

самолета. — Куда стрелять? Вот он и висел. Если «раму» сбить — сразу орден давали. Но у нас в полку в нее ни разу никто не попал. Только если истребители прилетали, но их не много было первое время.

Дед замолчал и начал скручивать самокрутку. Достал пакет табака, оторвал кусок газеты. Согнув бумажный прямоугольник посередине, насыпал бурых, сильно пахнущих крошек, перетирая их пальцами. Затем распределил табак равномерно по всей длине, облизнул край бумаги и ловко свернул папиросу, не хуже покупных. Он часто курил. А казенные ему не нравились, говорил: «Не берет».

Внук стоял и внимательно наблюдал за процессом создания самокрутки. И вдруг у него родился новый вопрос:

— Дед, а ты генералов видел?

Дед призадумался:

— Видел одного раз. На Курской дуге. Летом. Он побрить попросил.

— Побрить? А почему ты?

— У нас передышка была, и я бритву наладил, на ремне выправил. А мимо генерал какой-то ехал на машине. Может, с проверкой приезжал, не знаю. Остановился, подходит и говорит: «Можешь, солдат, меня побрить?» Я ему отвечаю: «Раз нужно, могу». Генерал сел на ящик, достал пистолет, положил на колено и говорит: «Если меня порежешь, я тебя сразу застрелю».

— А ты что?

— А я ему отвечаю: «Как только, товарищ генерал, я тебя порежу, я ждать не буду, пока ты за пистолетом дернешься, и сразу тебе горло от уха до уха перехвачу».

— А генерал что?

— Ничего. Сидел, но пистолет спрятал. Потом спасибо сказал. Правда, добавил, что старшим по званию нужно по уставу отвечать. А я ему ответил, что когда на параде будем, вот тогда и отвечу. И какой устав? Он обратился, я помог — дело простое.

— Деда, ты вот все про простые вещи рассказываешь. А про подвиги?

— Можно и про подвиги. Вот, помню, был у нас штрафник — Сашка. Уголовник. Он перед Курской был к нам переведен из штрафбата. Так вот... Однажды дали нам команду — дзот взять. Немцы из пулеметов поливают — головы не поднять. А Санька, бочком-бочком, слева зашел — и в одиночку ножом одиннадцать немцем в дзоте порешил. Они ни пикнуть, ни стрельнуть не успели. Вот это герой! Один раз бил — и напоял. Мы сразу высоту потом заняли, без потерь.

— Так это другой, а ты? Ты какой подвиг совершил?

Дед посмотрел на настырного парнишку:

— Вот же суета! Подвиг тебе подавай... Живой остался, вот и подвиг. От боя не бегал — тоже подвиг. Воевал честно, товарищей не предавал... Чем тебе не подвиг?

— А медали?



— Четырех детей поднял после войны — вот мои медали. А ты — так вообще орден. Вон какой любопытный! Ладно, все, хватит. Иди играй. Потом тебе медали покажу, лежат на полке.

Дед подтолкнул внука в сторону двери и еще долго смотрел, как тот, воодушевленный рассказом про войну, рубил палкой крапиву и полынь. Герой.

Вдоволь навоевавшись с крапивой и от усердия сломав свою «саблю», внук снова забежал в дом.

— Деда, мне ружье нужно! — запыхавшись, произнес он.

— Какое ружье? — дед сдвинул очки на нос и отложил в сторону удочку, на которую крепил новую катушку с леской.

— Там пацаны на пустыре в войнушку играют. У всех ружья. А я как? Меня не примут.

— В войнушку, говоришь... — Дед поскреб подбородок и начал оглядываться. — Это дело... Без ружья, конечно, никак. Так, где же тебе ружье взять? Погоди-ка...

Из кладовки старик принес доску и топор. Внук заинтересованно смотрел, что будет. А дед, как заправский плотник, прищурившись, чуть отставил топор лезвием вверх и посмотрел на качество заточки.

— Сейчас, поправить нужно, — заключил он и снова пошел в кладовку. Обратно вернулся, неся круглый точильный камень серого цвета. Поплевал на него и, приложив топор краем, стал водить круговыми движениями.

— Дед, а зачем плевать на камень? — спросил внук.

— Так заточка лучше, ровнее.

Дед потрогал край лезвия пальцем — раздался звенящий звук, как пружинка распрямилась: «Дзинь!» Удовлетворенно хмыкнув, дед отложил камень и, взяв доску, в одну минуту отщепил от нее несколько кусков. Удары были уверенные, четкие, ни одного лишнего. Раз, два — ствол; три, четыре — приклад; пять, шесть — изгиб под руку.

— Ну вот, гляди! Уже почти похоже. Сейчас чуток обстругаем, и будет как настоящее.

Внук смотрел, открыв рот; ружье прямо на глазах приобретало нужный вид. А дед ножиком убирал неровности, выправлял приклад, чтобы был гладкий, закруглял трубку ствола. Еще три минуты — и в руках у него было самое настоящее ружье.

— Сейчас веревочку привяжем, чтобы на плече носить, и готово, — сказал дед, с удовольствием разглядывая результат своей работы.

Он подошел к шкафу, открыл и начал копаться на полках в поисках нужной тесемки.

— Деда, а ты обещал медали показать, которые в шкафу, — вспомнил внук.

— Медали? Что ж, посмотрим, раз я обещал, — и дед с верхней полки достал старую шкатулку. — Давай присядем.

Разместились на диване. Дед начал доставать из шкатулки хранящиеся там предметы: две пожелтевшие газеты, пачку фотографий в целлофа-



новом пакете, несколько потрепанных удостоверений — и в довершение завернутые в тряпочку, позвякивающие награды.

— Одна, две, три... — перебирал медали внук, — ...шесть. Ого! Так много! Деда, а почему ты их не надеваешь?

Дед усмехнулся грустно:

— Куда мне их надевать? Пусть так лежат. — Он взял в руки светлую медаль с выдавленным танком и надписью «За отвагу». — Вот эта у меня — за форсирование Днепра. За Киевскую операцию.

— Расскажи! — попросил внук, беря награду и рассматривая ее со всех сторон. — Днепр широкий?

— Да уж, хватало. Дали нам команду, — начал вспоминать дед, — идти в атаку. А какая атака — река с полкилометра в ширину и немец бьет... Дождались ночи. Пока ждали — делали плоты. Заборы, что остались, разбирали, деревья валили, связывали... Как стемнело, мы и поплыли. Народу!.. Плыдем тихо, а немец тоже не дурак — ракеты световые пускает. И как начал он поливать! Светло стало, гремит все, вода кипит. А у меня пулемет на плоту. Плотик — две доски. Я его толкаю, а сам в воде, только нос торчит. Гребу. Товарищи мои тоже кто как. Доплыли и залегли сразу — захватили плацдарм. Не только мы, конечно, другие тоже. Но погибло много тогда. От роты, наверное, и половины не осталось...

Дед замолчал. Он был в мыслях далеко, опять в том бою. Опять по грязи и илу тащил пулемет на берег.

— А вот это за что? — внук взял серебристую звезду с пятиугольной черно-оранжевой колодкой.

— Этот за Белую Церковь. Город такой украинский. Это орден Славы третьей степени. — Дед поглаживал свой затылок: наверное, голова побаливала. — Тогда мне под пулемет попался целый грузовик с фрицами. Я стрельнул, а он взорвался почти сразу. Должно, попал или в бак, или, может, в гранату — не знаю...

— Дед, а тебя могли убить?

— Нет, — дед погладил внука по вихрам, — никак не могли. Не положено. Но моменты были.

— Какие моменты? — Внук примеривал себе на грудь сразу две медали. Он наклонил голову, выставил нижнюю губу и, скосив глаза, старался понять, как выглядит со стороны.

— Разные моменты, с чудесами. После Воронежской операции, помню, голос меня позвал ночью. Мы в блиндаже отдыхали после боя, целый взвод. Спим, значит, а я вдруг слышу: зовут меня с улицы, тихо так и по имени. Я, чтобы ребят не будить, вышел из блиндажа — никого, а голос опять зовет, но уже чуть дальше. Только я по окопу от блиндажа отошел — и тут как бахнет! Снаряд шальной, крупнокалиберный... и точно в блиндаж. Всех побило разом, а мне только уши заложило.

— Всех насмерть? — шепотом спросил внук.

— Всех, весь взвод.

— А кто тебя звал?

— Не знаю. Может, ангел.





— Дед, а ты не обманываешь? Ангел... — засомневался внук. — А разве они бывают?

— Это как верить. Кому-то бывают, а кто не верит...

— А ты веришь?

Дед молча достал крест из-за ворота.

— А ты до Победы воевал? Вон медалей сколько! — опять засуетился внук, перебирая награды.

— Нет, в сорок четвертом ранило меня. Уже почти до границы дошли. Чуток оставалось.

— Куда ранило? — Внук осматривал фигуру деда. — У тебя все на месте.

— Да, — усмехнулся тот, — опять повезло. Снаряд разорвался прямо подо мной. Я как раз по кухне дежурил и подошел к баку с кашей. Так вот, снаряд точно в бак попал. Взрывом меня метров на двадцать откинуло — и ни одной царапины! Только контузило и руки вывернуло.

— Это как — вывернуло? У тебя же все целое...

Дед положил себе на правое плечо руку внука и начал шевелить своей вверх-вниз. Мальчик ощутил, как под ладошкой перекачиваются и хрустывают суставы.

— Вот это да! — удивился он. — И не болит?

— Теперь уже нет. Хотя лечили долго. После лечения меня и комиссовали, сказали: «Спасибо тебе, солдат, за службу. Иди домой, поднимай село». Вот так для меня война и закончилась. А потом и настоящая Победа — победили фашиста. Ну а ты, герой, про свою войнушку не забыл еще? Ружье-то готово.

Внук подхватился с дивана: точно, забыл совсем — там же пацаны на пустыре без него! Схватил оружие и побежал в свою самую настоящую атаку. И ружье у него было замечательное, ни у кого такого не было.

А дед прибрал награды в шкатулку, немного задержавшись взглядом на фотографиях — подмигнул однополчанам, вздохнул и продолжил крепить к удочке катушку.

## Долгое эхо войны

Помнится, давно это было, наша семья жила в небольшом двухэтажном доме в самом центре Курска. Городок провинциальный — и до недавнего времени скорее напоминал большую деревню, чем областной центр. Однако, из-за географического расположения по всей видимости, ни одно из значительных событий в истории страны не прошло мимо Курска: ни Гражданская война, ни Великая Отечественная. И на пути древних кочевников город стоял неоднократно, хоть с востока, а хоть и с юга. Не голословно говорю — артефактов и исторических подтверждений сколько угодно. Начиная со «Слова о полку Игореве», где так написано, что уж точнее и не скажешь.

Некоторые местные краеведы даже вычислили, что дуб, на котором Соловей-разбойник сидел, и тот на курской земле рос; только спорят, в каком районе — кто-то на север области указывает, а другие, напротив,



— на юг. Мне лично годятся обе версии; вполне мог Илья Муромец через наши земли проезжать по пути в Киев, и вполне мог кого-то из местных приложить по-богатырски так, что тому потом не очень-то свистелось.

Хотя что это я в историю углубился? Хотел же совсем про другое.

Про дом свой хотел рассказать и про людей, которые после войны в нем проживали. Место примечательное — рядом кинотеатр «Комсомолец» находился, считай в пяти метрах. Дом, вообще-то, не очень большой был, и в нем до восемнадцатого года только Эмдины жили, одна семья. Но после прихода к власти большевиков, когда богачей «уплотняли», Эмдиных потеснили, оставив им пару больших комнат на втором этаже, а на остальной площади поселили представителей рабочего класса и служащих различных советских организаций — семей шесть или семь. Система коридорная, и два входа отдельно: на первый этаж с центральной улицы и со двора по лестнице на второй этаж.

Нашей семье тоже достались две небольшие комнаты, окнами во двор, в пятнадцать метров общей площадью. Еще прабабушка сюда заселялась в девятнадцатом году. Удобства во дворе, кладовка и погреб там же, вода — в колонке на углу квартала, ванны нет, а до бани километра два под горку. Социалистический реализм во всей красе, но никто не жаловался. Опять же не нужно забывать, что это был центр города — большое преимущество по тем временам. Магазины, школа, кинотеатр — всё рядом. Рынок недалеко. Семья постепенно росла, и хотя прабабушка не дожила, но к моменту расселения в шестьдесят девятом году в квартире размещались каким-то образом шесть взрослых и двое детей. Один из этих двоих — я.

Однажды от нечего делать стал я бабушку расспрашивать про соседей: кто, откуда, почему... Многое она мне тогда рассказала.

Так получилось, что фронтовиков-мужчин в нашем доме всего два человека проживало: дядя Вова и дед Коля. Старого Эмдина в армию не призывали, а другие с фронта не вернулись. По возрасту Владимир с Николаем не сказать чтобы сильно отличались, были практически ровесниками — обоим между сорока и пятьюдесятью. Но одного вся детвора называла «дядя», а другого — «дед». Вероятно, их характеры склывались.

Дядя Вова — высокий, крепкий, прическа с высоким вьющимся чубом. Почти всю войну прошел разведчиком, уже под самый конец на мину наступил. Ходил везде с палочкой: нога раненая болела. У него в сарае всегда наливка созревала, а он каждый день что-то у верстака мастерил и, естественно, из банки постоянно пробовал. Выпьет — и дальше за молоток или рубанок, а потом снова выпьет... Но зато всегда веселый был и нас, мелкоту, никогда не гонял, а иногда даже угощал вкусеньким.

А дед Коля — среднего роста, сутулился, волосы черные, но редкие. В самом начале войны в плен попал, долго сидел в лагере — то ли в Литве, то ли в Белоруссии — и был расстрелян фашистами, когда советские войска уже подавливать начали. И просто чудо какое-то — видимо, хранил его ангел: ночью фашистский фельдшер-австрияк мимо проходил и слышал стоны из-под земли. Не погнушался — вытащил Николая.



И более того: своим не выдал, спрятал, да еще и вылечил. После войны дед Коля в ресторанах играл на баяне. И на скрипке мог. А на трубе у него не получалось: простреленные легкие силы не имели. Он во дворе вот так, запросто, почти не сидел, всегда дело себе на стороне находил, подрабатывал.

Или вот женщины... Под лестницей жила толстая тетка, бабушка ее Кутепихой называла. Я еще от кого-то слышал другое ее прозвище — Трындычиха. Всегда на лавке сидела, обмотанная шерстяным платком вокруг пояса, ноги короткие, кривые, и костыль рядом — ходила плохо. Она постоянно на всех ругалась: то на соседей, то на детвору, а если не было никого рядом, могла, наверное, и на голубей или кошек. Не любили ее.

Марья Дмитриевна была — красивая женщина, статная, яркая, до войны работала в НКВД. Соседи про это, может, и не узнали бы, но во время оккупации в дом приходил офицер-гестаповец, выспрашивал, куда она подевалась и где можно ее найти. Наверное, на какой-то важной должности служила, раз так ее разыскивали, знала много секретов. А вот после войны она больше в органах не работала; что-то там произошло во время эвакуации: то ли она документы потеряла, то ли ее потеряли и долго найти не могли, вот и уволили. И хорошо, что не посадили, — сначала на завод помогли устроиться, тележку возить с деталями, а потом в кафе, поближе к дому, — все полегче.

Тетя Валя жила в соседней квартире, у нее тоже судьба интересная. Она с немцами всю войну сотрудничала. Ну как сотрудничала — секретаршей работала в штабе, печатала документы на машинке. Штаб какой-то германской части во время оккупации располагался недалеко от нашего дома, на другой стороне улицы. И ведь, что примечательно, после освобождения города в сорок третьем никто ее в застенках НКВД не пытал — пригласили на беседу, выяснили, что нужно, и все. А может быть, я чего-то не знаю. Взрослые об этом не особо распространялись. Не исключаю, что и с советской разведкой Валентина сотрудничала, потому и обошлись беседой. И еще она, кажется, туберкулезом болела. Худая ходила, бледная, щеки впалые.

Разные люди, разные судьбы...

Отдельная история — про Нину.

Жила в нашем доме еще одна семья: бабка Фаина Кузьминична и ее дочь Нина, незамужняя женщина, лет тридцать ей было на тот момент — к концу шестидесятых. Высокого роста, не толстая, но крупная, с темными, почти черными волосами. Нина почти всегда молчала, тихая была.

Раньше их семья жила в другом доме, на другой улице. Фаина с моей бабушкой познакомилась, еще когда они обе девчонками были, в парке на танцах. До войны в центре города практически все друг друга знали.

Когда война началась, очень многих мужчин призвали в армию, а женщин с оставшимися мужиками начали гонять на земляные работы — линию обороны строить. В основном копали противотанковые рвы и окопы на тех направлениях, откуда теоретически ожидался противник. А если кто-то отказывался, считалось, что это саботаж, и по закону военного времени... Но про такие факты бабушка ничего не рассказывала.

Наличие маленьких детей не освобождало от работ. Женщины выкручивались как могли. Кто-то пристраивал ребятишек на день по дедушкам-бабушкам, которые не рабочие уже были, кто-то со знакомыми договаривался, чтобы присмотрели, а прочие — у кого никого не было — оставляли детей одних дома. Запирали в комнатах. Совсем маленьких, которые еще не очень соображали, даже веревками привязывали, чтобы не уползли куда-нибудь. А тем, кто постарше, строго наказывали ждать маму, не шалить и не бояться.

В тот раз Нину оставили в запертой комнате. Ей уже года четыре было, то есть достаточно самостоятельной считалась. На столе немного еды, из развлечений — кровать, подушка и кукла. Фаину увезли на северную окраину города, и она вместе с другими целый день ворочала глину и углубляла рвы.

В середине дня немецкая авиация совершила налет на город. Бомбили станцию: у нас ведь достаточно крупный железнодорожный узел. Взрывов никто не слышал — далеко, только видели самолеты в небе. Сначала те летели на город, затем — обратно. Но Фаина была спокойна: их дом располагался далеко от вокзала и для бомбардировщиков интереса не представлял. А те, у кого дома возле станции, аж подвывали, озирались тревожно, но работать не прекращали. Куда тут уже деваться? Все равно помочь своим не могли.

Вечером, когда Фаина добралась до дома, то издали заметила, что в крыше большая дыра. Открыла дверь. Ребенок сидел на кровати, а рядом — неразорвавшаяся бомба. Как она здесь оказалась, оставалось только догадываться, ведь никак не по пути бомбардировщиков дом стоял. Нина полдня провела, боясь пошевелиться: понимала, что помочь некому, и поэтому замерла. Сидела и смотрела на железяку рядом с собой, которая была почти с нее размером. Даже когда мать подхватила Нину на руки и из дома выбежала, девочка не проронила ни звука и не плакала. Долго потом не разговаривала.

После этого рассказа я стал присматриваться к Нине. И точно: она молчала, потому что не могла начать говорить без невероятного напряжения мышц лица и шеи. Ее всю трясло, лицо кривилось; она некоторое время издавала звуки на выдохе, вроде как подвывала, и только потом выпаливала короткую фразу, сильно заикаясь и теряя часть слов. Перед началом следующей фразы судороги повторялись. Так-то женщина была физически здоровая, но дефект речи очень сильный. Не просто заика — калека. Замуж, естественно, не вышла. Казалось бы, повезло — не взорвалась тогда бомба, а все равно вся жизнь наперекосяк: война и через десятилетия не отпускала. Работала ли Нина где-нибудь, не знаю. Может, государство пособие какое-никакое давало...

Сейчас на месте нашего старого дома построена огромная многоподъездная высотка, прежние жильцы поразъехались кто куда, потерялись из виду. Но я часто прохожу мимо и каждый раз вспоминаю двор, комнаты-клетушки и соседей: дядю Вову, деда Колю, Нину и других. Натерпелись, не приведи господи...

Александр РУДЕНКО

## ЖАСМИНОВЫЙ ЧАЙ

\* \* \*

*В. Н. Кушниру*

В подмосковных лесах — листопад, листопад...  
Оправляет Наумыч офицерский бушлат

и с любимым манком достает из мешка —  
в пять колен — переливчатый свист петушка,

чтоб «на драку» летел из притихших деревьев —  
с громким шелестом — рябчик, от любви одурев;

чтоб скользнул из осин через тонкий просвет  
двухколенный надменно-протяжный ответ...

Драгоценный Наумыч, мужичок-бодрячок,  
ты «ижовку» повесь на еловый сучок,

разомни деловито дешевый табак,  
сигаретку зажми в ироничных губах...

Слушай, как из кармана штормовки моей  
высыпается с крошками брань площадей,

как пытаюсь, продув свой манок покупной,  
заманить в наши души непрочный покой;

и скользит из осин через тонкий просвет  
двухколенный надменно-протяжный ответ...



## Марево

Листва темно-зеленая распарена,  
не шелохнутся тополя бесплотные.  
И старика затягивает марево  
в свою тряси́ну зыбкую, дремотную.  
Стоит с погасше́й трубкою матросско́ю  
он у воды — которой нет названия...

Ни взглядом любопытным,  
ни расспросами  
не трогайте его воспоминания.

## Жасминовый чай

Долгим-долгим вечером печальным,  
голым, как осенняя осина,  
в обжигающем стакане ча́йном  
распустились лепестки жасмина.  
И поплыл над запахом заварки  
в облачке эфирном  
ворожа́щий  
зримый аромат — цветочный, яркий,  
южный-южный, голову кружа́щий...  
И легко напомнил он, какими —  
в голову вонзавшими иголки —  
днями суетливыми и злыми  
плачено  
за этот вечер долгий,  
ставший тихим-тихим в одночасье  
от постигнутого сердцем лада...

Так мало бывает счастье,  
так мало,  
что большего не надо.

\* \* \*

За душою твоей — города, города...  
Все белее растет борода, борода;  
впереди у тебя — холода, холода...

А щека у нее — молода, молода...  
И — мотив на губах: «Не беда, не беда!»;  
и — еще веселей: «Та-да-да, та-ма-да...»

\* \* \*

*Николаю Никишину*

Дождь не размочит, и крот не подрочет...  
Кроет осина листвою рубероид,  
веткою гладит по крыше хибары...  
Сумки охотничьи сбросим на нары.  
Вспыхнет с весны заготовленный ворох  
стружек сосновых в печурке, как порох, —  
дымом протянет трубу жестяную,  
свечка проглянет сквозь мглу шерстяную.  
Хлеба отрежем, по чарке пропустим,  
репчатым луком разборчиво хрустнем.  
Выпьем вторую за наше наследство —  
землю сырую и лес по соседству.  
Скажем спасибо за ласку осине,  
как говорить мы привыкли в России.  
Сладко — по-русски — душой занебудим:  
мало нам нужно... да многое сдюжим.  
След наш осины листвою укроют —  
дождь не размочит, и крот не подрочет...



Елена ФЕДОТОВА

## «А ДНЯ ЕЩЕ МНОГО...»

Елену Федотову я впервые увидел на семинаре Ал. А. Михайлова и Г. И. Седых в Литературном институте в середине восьмидесятых. Я был вольнослушателем, а она пользовалась почти безусловным авторитетом среди сокурсников. Неожиданно на пробном обсуждении ее дипломной книжки стихотворений Федотова предложила быть оппонентом именно мне. Так моя жизнь оказалась связанной с ее творчеством почти на сорок последующих лет. Стихи ее публиковались очень редко, довольно скупо появляясь на страницах не слишком авторитетных литературных журналов. Однако голос поэты созрел совершенно удивительным образом и в таком удалении от литературного процесса.

Родом она была из поселка Чернь Тульской области. В родных местах ее дарование воспринималось, скорее, как чудачество. Все свои надежды Лена связывала со столицей, где ее окружала микросреда из единомышленников и соучеников по Литинституту. Они жили коммуной в ближнем Подмосковье, она перебивалась случайными заработками, в том числе и работая уборщицей в Пушкинском драматическом театре, что располагался рядом с институтским корпусом. В начале девяностых по рекомендации Ал. Михайлова, известного критика и ее наставника, Федотову приняли редактором в московское издательство. Судьба начала как будто бы складываться, но в одной из поездок на родину Лена утонула. И все, что вышло из-под ее руки, оказалось рассыпанным по архивам друзей и знакомых.

Ее дипломная работа пролежала у моего товарища почти пятнадцать лет и не пропала. В начале двухтысячных в журнале «Подъем» появился цикл стихотворений и поэма Федотовой «Звуки» — я взял их из этой рукописи. В мае 2003 г. я передал Станиславу Куняеву свою статью и стихи Лены для публикации в «Нашем современнике». В конце лета мне позвонил в Воронеж Юрий Кузнецов, который руководил отделом поэзии в журнале: он просил предоставить биографические данные Федотовой. Увы, ничего подобного у меня на руках не было. Я сослался на архив Литературного института, в котором можно было бы найти личное дело Лены. Ведь Кузнецов вел там творческий семинар, а кафедра мастерства могла ему помочь в поисках. В середине ноября 2003-го Юрий Кузнецов умер. На том это предприятие и закончилось.

В 2008 г. на 75-летнем юбилее Литературного института я познакомился с сокурсником Федотовой Игорем Кузнецовым, и оказалось, что круг его друзей помнит Лену. Они собирались издать книгу, в которую вошли бы воспоминания о ней, фотографии и сами ее стихи. Но и этот проект не был осуществлен, все тихо увяло.



Сегодня лирика Елены Федотовой практически не представлена в Интернете, ее архивное дело лежит в Литературном институте, и после капитального ремонта вузовских корпусов найти его весьма трудно.

Странная, трагическая судьба, стечение роковых обстоятельств и словно бы мистический злой запрет на ее стихи, который чувствуется до сих пор... И потому публикация даже небольшой подборки стихотворений Елены Федотовой в журнале «Сибирские огни» — это событие.

*Вячеслав Лютый*

\* \* \*

Зыбко, тревожно,  
Как в вещем сне.  
Будто кто невозможный  
Спешит ко мне.

Вечер, помедли,  
Повремени,  
Синюю петлю  
Помягче тяни.

Пускай забуду  
О ней совсем,  
Светло покуда,  
Потешусь тем,

Что эта тревога,  
Мол, — свыше знак.  
А дня еще много,  
Много так.

\* \* \*

Дождь прошел, а еще не слетает  
В траву легкий туман от дождя.  
Но проклюнулось чуть погода  
В тучах солнце. И капли зажгло.  
И — заискрилась мга золотая,  
Будто Царствие Божье пришло.

\* \* \*

Обычных слов обычный ряд,  
Но вдруг, среди житейской прозы,  
На мне задерживал он взгляд,  
И чудилось: глядит сквозь слезы.



Что я была ему тогда?  
Скорей, всегда — напоминанье.  
Его ожившая беда,  
Его воскресшее страданье.

Он вправе был меня винить,  
Что, посторонняя, чужая,  
Посмела, может быть, любить  
Его сильней, чем та, другая...

А я глупа, слепа была,  
Несла бредовые бумажки...  
И вот: еще не умерла,  
И в этом грех мой самый тяжкий.

\* \* \*

*Все чаще я по улицам брожу...*  
А. Блок

...Запомните, как я по улицам бродила,  
Пила свой кофе, в церковь заходила,  
Как подавала нищим в переходах,  
Как я любила снежную погоду —  
За то, что снег бульваров и дворов  
Сиял, как Богородицын покров,  
И этот снег, и странный сумрак синий  
Москве напоминали о России...  
...Перед газетной и афишной строкой —  
Татарских глаз угрюмый непокой...  
А снег летел и пел своим прохожим,  
Что все мы дети, все мы дети Божьи.

\* \* \*

Все бледней и безвольней рука.  
Я в чужом проживаю дому —  
Горек хлеб, горек мед и горька  
Моя жизнь в сигаретном дыму.

Лишь одна дорогая печаль  
Будет сладостна мне до конца —  
Непонятные слезы отца  
О какой-то стране Трансвааль...

Екатерина КРАСАВИНА

## ВСЮДУ ОН БРАЛ МЕНЯ С СОБОЙ...

*Главы из воспоминаний*

Писатель Юрий Васильевич Красавин (1938—2013) известен с конца шестидесятых, когда его проза стала регулярно появляться в авторитетных литературных журналах «Новый мир», «Наш современник», «Знамя», «Москва», «Октябрь», «Роман-газета» и других. Романы, сборники повестей и рассказов Юрия Красавина выходили в издательствах «Современник», «Советский писатель», «Советская Россия», «Молодая гвардия». Последнее его крупное произведение — исторический роман «Письмена» — был опубликован в журнале «Дон» в 2006—2007 гг. Писатель до конца своих дней продолжал упорно трудиться, среди его последних работ преобладали автобиографическая проза, очерк и публицистика.

Юрий Красавин был очень тесно связан со своими родовыми корнями, со среднерусской деревней, с «уездными городками», которым посвящены многие страницы его произведений, но был у него и «сибирский период»: работа по распределению на комбайновом заводе в Красноярске. Можно было бы сказать, что наш суровый край не оставил никакого следа в его жизни, если б не привез он отсюда, возвратившись в родные места, молодую жену, сибирячку по рождению. Более полувека прожили они вместе, деля пополам и горе, и радости.

Е. И. Красавина написала о своей жизни интереснейшие воспоминания, искренние и бесхитростные. Некоторые главы из них мы предлагаем сегодня нашим читателям.

— Садись на эту доску, Комраков. А я для себя принесу другую, у меня тут припрятано.

Я пошел за доской, поставленной за стволом толстой ели, и оглядывался на него, боясь, как бы он не исчез. <...>

Я вернулся, положил доску на вбитые тычки, объясняя:

— Я это сиденье для жены делаю, когда она приходит со мной. Видишь, у меня тут насиженное место, можно сказать, намоленное. Тут добрые духи живут. Я прихожу, говорю им: «Привет, ребята! Вот и я. Сейчас костер разведу, погреемся». Вот и сидим.

*Юрий Красавин. Из повести «Привет, старик!»*

\* \* \*

По вечерам в общежитии мы все собирались посмотреть телевизор в «красном уголке». В семь часов передачи для малышей, в восемь начиналось кино, в девять — «Новости», потом обязательно концерт или спектакль. Все приходили, рассаживались на стульях, у каждого было уже свое привычное место.

Впереди, возле телевизора, сидел Виталий Васильевич. Ему надо было часто вставать и настраивать капризный телевизор, который был такой же пожилой, как и наш старейшина, оказавшийся в молодежном общежитии по причине семейной катастрофы. У телевизора нашего то звук пропадал, то картинка. Тогда Виталий Васильич крутил винтики, нажимал кнопки, стучал ему «по горбу» или «по темечку», и тот продолжал работать. Никто другой за это дело не брался, все равно не получится, а у Виталия получалось. Тут надо было стучать вежливо и ласково...

Во втором ряду сидели: Вася Руденко из соседней с нами комнаты, боксер Генка Сорокин, красивый и смуглый Валера, еще один Валера — белобрысый, Володя-большой, который жарил на кухне мясо (больше-то никто этого не делал), еще один Генка — длинный, потом Усман, надоедавший всем нам своим кривлянием. Усман был начальник цеха, но в общежитии вел себя как мальчишка. Ну и прочие.

Я обычно сидела позади всех, в углу, на большом столе. Я никому не мешаю, и мне ничья голова не загроаживает экрана. Никто моего места не занимал, все привыкли уже к тому, что я там сижу. Рядом со мною сидела и сестра Соня, если не уходила в вечернюю школу.

— Завтра в десять смотрите меня по телевизору, — объявила я однажды. — Будет выступать наш хор.

Никто этому не удивился, о моем участии в концертах все уже были наслышаны. К тому же мой голос постоянно звенел и в кухне, и в комнате. По радио я уже выступала, тоже с хором, правда, голоса моего я там не услышала. Теперь вот по телевидению — авось себя услышу и увижу.

То был для меня знаменательный день! Приехали мы туда... Для нас уже приготовлены были декорации — горы, лес, сопки, и мы вроде бы как на поляне, в летних платьях. Песни мы пели о Енисее: новая программа нашего руководителя, песню он сочинил сам.

Енисей, река моя родная...  
 Ты мне так близка и дорога.  
 Я не знаю сказочнее края,  
 Чем твои Саяны и тайга!

Вот с этой песней мы и выступали. Но вот досада: меня в хоре загородила высокая певица — этакая коровица! Она все старалась, все устраивалась, чтобы быть на виду, а я маленькая, меня совсем не видно за нею. И на следующий день мне ребята в общежитии говорили:

— Что же ты! Только твоя макушка была видна.

— Один раз выглянула из-за какой-то тетки и опять исчезла.

— Мы говорим: вон, вон наша Катя! А уже не видно. Спряталась, что ли?

Но у меня осталась фотография того дня, того выступления. Иногда посмотрю, повздыхаю...

\* \* \*

И вот однажды я зашла на кухню — кажется, хотела погладить платье. И вдруг вижу незнакомого парня в очках. Парень этот как раз гладил свои светлые китайские брюки, стрелочки на них утюжил.



Он их потом каждый день гладил, эти китайские брюки, они почему-то быстро на коленках пузырились. Я сразу отметила: аккуратный паренек. Ну очень аккуратный! Не мог он себе позволить, чтобы ходить с пузырями на коленках. И было в нем что-то застенчивое и заносчивое одновременно.

В общем, таких необыкновенных ребят я еще не встречала. Обликом был какой-то неземной. Русые, чуть волнистые волосы... гладкий высокий лоб... большие очки... нос с горбинкой, красивый. Все в нем показалось мне необычным и загадочным. А главное, держался он заносчиво. На меня и не посмотрел, погладил брюки и ушел из кухни.

— У нас появился новенький, — сказала я в своей комнате.

Но на эти мои слова никто не обратил внимания: новенькие у нас появлялись и раньше.

Вечером этого же дня я увидела его в «красном уголке»: он сидел с Виталием Васильевичем рядом, смотрел телевизор.

Сидя на своем обычном месте, я всех видела с затылков. У одних затылок мне нравился, а у других — ни в коем случае! Вот у Виталия Васильевича хороший круглый затылок, шея подбрита, волосы кучерявятся. Юрка Воронцов — вот про кого не скажешь, что красивый затылок: голова на тонкой шейке, жилы натянуты... сам смуглый. У инженера Володи-большого нормальный затылок, аккуратная прическа. Ну, Володя всегда опрятен, на нем свежая рубашка и красивый свитер. У него родители здесь живут, в городе, имеют квартиру, а он предпочел жить в общежитии, потому что дома тесно. Тем не менее он — «домашний», потому и опрятный.

А вот явился Генка Сорокин, сел к телевизору во втором ряду — весь взломаченный, всклоченный. Он на свою внешность никакого внимания не обращал, ему все равно, как он выглядит. За ним следом пришел его товарищ Володька — тоже не залюбуешься: затылок подстрижен наголо, впереди чубчик. Они с Генкой — спортсмены, им как попроще, так и лучше. Каждый день на нижнем этаже дубасят боксерскими перчатками увесистую «грушу».

А у новенького, я это сразу отметила, самый замечательный затылок! Я еще не знала, как его зовут, для меня он был просто «новеньким». Так вот, у него-то был самый красивый затылок: такой овальный, с русыми волосами, мягкими даже на вид. И шея тонкая и нежная, и красивые уши, и покатые плечи — все в нем мне понравилось. И даже то, как он сидел на стуле, положив ногу на ногу и свободно откинув плечи и голову.

Мне подумалось: «Нет, этот парень на меня внимания не обратит, я ему не пара».

Но дней так... да вскоре же «новенький» встретился мне опять на кухне, мы были одни и вот, слово за слово, разговорились. Вдруг он протянул мне листок... со стихами. Я немножко растерялась и не сразу поняла, что стихи эти написаны им самим и вот именно для меня! Мне никто никогда не дарил стихов. Я стала читать вслух...

Дождь прошел, и солнце заблестало  
 На асфальте мокром, в светлых лужах.  
 Голубое небо выше стало,  
 В нем стрижи и ласточки уж кружат.

Дальше было о том, что вот я иду по улице и ветер играет складками моей юбочки. Стихотворение было немного шутовское и... ласковое.

Среди людей, нарядных и не очень,  
 Ты меня, конечно, не заметишь.  
 Ты пройдешь, как призрак в темной ночи,  
 Равнодушная, как очи смерти.  
 Я окликну: «Катенька! Катюша!»  
 Ты мне улыбнешься — только снова,  
 Снова не услышат мои уши  
 От тебя приветливого слова.

— Вот и неправда, — сказала я. — Уж непременно ответила бы и очень даже приветливо!

На кухню в это время кто-то пришел, помешал нам, но мы ведь уже выяснили главное — то, что я ему нравлюсь и что он нравится мне. И что зовут его Юра, а фамилия такая замечательная — Красавин: он же подписался под стихами.

После этого мы несколько дней не виделись. Как-то так совпадало, что я приходила с работы пораньше, умывалась, причесывалась, переодевалась в чистое платье и уходила на хор или в музыкальную школу играть на домре.

А Юра приходил позднее и не знал о том, что я ухожу вечерами на свои музыкальные занятия. Как потом выяснилось, он меня подстерегал, но ему никак не удавалось меня увидеть.

Наступил май. Возле нашего общежития организовали в этот день субботник. Мы всем общежитием вышли сажать тополя, а потом стали играть в волейбол.

После, когда все разошлись, я сидела на перилах нашего крыльца и напевала. Тут появился Юра Красавин в своем белом, чистеньком китайском костюме.

Он прошел было мимо меня — в общежитие. Но я увидела, через окно глянув ему вслед, что на лестнице он замедлил шаги, а потом и вовсе остановился в раздумье. Вернулся и предложил мне:

— Пойдемте погуляем. Вечер такой хороший.

Я, разумеется, согласилась, но тут к нам подошел Валерка (не помню его фамилию, белобрысый такой, кудрявый), с тем же намерением. Этот Валера давно на меня поглядывал, но пригласить на прогулку у него не хватало смелости. А сегодня они оба разом решились.

Мы и пошли втроем по улице Комбайнстроителей. Сначала все молчали, не зная, о чем говорить. Потом что-то сказал Валера, Юра что-то отвечал. А мне в этот вечер все было смешно, что бы ни происходило.

На наше счастье, мы услышали музыку и увидели танцующих на «пяточке» под окнами другого общежития. Пошли туда. Валерка пригласил меня потанцевать, мы с ним вступили в круг, но танец скоро кончился. Следующий танец я пошла с Юрой.

— А давай от него убежим, а? — предложил он.

— Давай, — тотчас согласилась и я.

И мы незаметно оттанцевали в переулок. Валерка, конечно, нас потерял. Он все понял и ко мне уже больше не подходил.

— А ты разве сочиняешь стихи? — спросила я Юру. — Ты что, поэт?

— Нет, какой я поэт! Просто я люблю стихи, — отвечал он. — А сам-то почти не пишу их... так, к случаю.

— Ну тогда, значит, поэт.

Разговоров у нас в этот вечер было много. Оказывается, нам есть о чем поговорить! Мне было интересно его слушать, а ему было интересно мне обо всем рассказывать.

Помню, он стал читать мне стихи Сергея Есенина. Когда я услышала это имя, я сказала:

— Но ведь у него же неприличные стихи, хулиганские!

Именно это мне раньше говорили о стихах Есенина. Мне не понравилось, что мой новый ухажер хочет читать мне такие стихи. За кого он меня принимает?

— И что в них неприличного? — он даже немного обиделся. — Вот послушай:

Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся.  
 Хорошо с любимой в поле затеряться.  
 Ветерок веселый робок и застенчив,  
 По равнине голой катится бубенчик.  
 Эх вы, сани, сани! Конь ты мой буланый!  
 Где-то на поляне клен танцует пьяный.  
 Мы к нему подъедем, спросим — что такое?  
 И станцуем вместе под тальянку трое.

Я была покорена и стихами, и взволнованным, душевным чтением. Что я могла сказать в ответ?

— Действительно, хорошо. А я думала, что он пишет только похабщину всякую. Так мне говорили... И что его нельзя читать, что его стихи запрещены.

— Ничего подобного. Хорошие стихи.

Юра мне и еще стал читать... он много знал наизусть!

\* \* \*

Мы стали по вечерам и днем, если воскресенье, ходить гулять по улице. А надо сказать, пойти-то было особо некуда. Грязь непролазная везде, только на улице Комбайнстроителей метров двести асфальта положено. Вот по нему мы и гуляли взад-вперед. Ну, еще ходили на речку, название которой — Кача. Это под горой, возле моста. Здесь была у речки небольшая луговина по косогорчику, тут мы славно располагались, и Юра мне вслух читал что-нибудь из взятой с собой книги или рассказывал, а я слушала. Он признался мне, что мечтает поступить в Литературный институт, поэтому много читает, изучает учебники по литературоведению и языкознанию.

Как-то в одно прекрасное утро мы с ним пошли на эту речку. День был летний, чудесный. С утра стало жарко, мы разулись и босиком бродили по холодному мелководью, по камешкам. Искупаться тут было неммыслимо, а побродить можно. Ноги у нас так заходили, что мой ухажер стал повизгивать. Я смеялась: такой серьезный парень и так несерьезно себя ведет.

Потом мы сидели на пригорке, грели босые ножки. У Юры они были так белые и нежны, что чуть ли не прозрачными показались мне. Я подивилась такой белизне его ног. Странно, что у парня столь нежная кожа на ступнях, и руки у него были с длинными пальцами и тоже белые, а ногти на руках словно отполированные. Мне стало как-то даже неприятно видеть такого интеллигента. Словно я ему не пара, словно он городской, а я деревенская. Хотя он тоже был деревенский... а у кого из наших деревенских парней я видела такие руки? Неммыслимое дело.



Итак, мы сидели... впрочем, нет, это я сидела, а он лежал, положив мне голову на колени, и читал вслух книгу. Я слушала. Солнце уже начало припекать, и пора было нам в свое общежитие. Вдруг Юра поднял на меня глаза — у него были голубые глаза и красивые брови, но очки скрывали их. В очках я видела обычно только свое отражение, как в зеркале. А тут Юра вдруг спросил меня, и голос выдавал его волнение:

— Ты пойдешь замуж за меня?

Вопрос был совершенно неожиданным, но я ответила без размышления:

— Пойду.

Хотя я ранее никогда не думала об этом. Вообще о замужестве не помышляла, и от Юры Красавина такого предложения не ждала. Ведь мы с ним и знакомы-то были недели три, не более. Но что же я могла сказать ему иное? «Не пойду», что ли? Что, мол, рано мне замуж, надо подождать. А чего ждать? То есть я просто не нашла причины для отказа.

Он мне потом рассказывал, что я в этот миг очень побледнела.

— Ну конечно, мы поженимся не теперь, — сказал он. — Пока что мы просто будем жених и невеста. Надо подзаработать немного денег, и мы уедем к моей маме...

Он очень скучал по своей деревне и постоянно говорил, что вернется «в Россию», что Сибирь для него все-таки чужая сторона.

На том основании, что он сделал мне предложение и теперь я его невеста, Юра потребовал от меня, чтоб я с этих пор ни с кем не ходила на танцы или в кино и тому подобное. Я, конечно же, обещала.

В тот же день вечером мы с Соней пошли в театр по пригласительным билетам, которые нам дала комсорг Оля. Для Юры билета не оказалось, да он и не пошел бы, у него для театра костюма не было, а идти в легоньком китайском он не решался. И вот в театре с нами рядом оказался парень из нашего цеха. Он меня знал, а я его не знала. Домой мы добирались пешком, потому что троллейбус был переполнен людьми. Соня на половине дороги поймала такси и укатила, оставив меня с этим парнем. Он проводил меня до нашего общежития, нам оставалось только попрощаться, но тут нас увидел Валера, тот самый, от которого Юра меня увел недавно. Валера этот прошел мимо, а я вслед за ним поднялась по лестнице. Он, небось, слышал, что я иду, но все равно доложил моему жениху:

— А твоя Катя там с другим парнем стоит.

Это его поразило до глубины души: как! ведь только что днем договорились... а вечером она уже с другим... Он выскочил на крыльцо, чтоб убедиться собственными глазами в моей «измене», но меня уже там не было. Отомстил Валерка...

Назавтра мой жених, не дожидаясь обеденного перерыва, явился в наш цех и вызвал меня на улицу «на минутку». Я вышла. Девочки меня проводили взглядами и потом встретили с удивлением: что это, мол, он прибежал и лица на нем нет? Что такое неотложное и срочное могло случиться?

Как он мне признался потом, пришел он затем, чтобы заявить мне о разрыве наших отношений. Но я смиренно объяснила ему, как было дело: я даже не спросила имени того парня, я его не знаю и знать не хочу. Тут жених мой облегченно вздохнул. А когда я сказала, что тот парень настаивал на новой встрече, а в ответ услышал, что я уже невеста, и ушел ни с чем, тут мой Юра и вовсе заулыбался.



Мой будущий муж проявил тут свой характер. Таким он и оставался во все наши годы — нетерпеливым, настойчивым. И чтобы его Катя принадлежала только ему. Чтоб ни улыбки, ни ласкового слова, ни взгляда от нее никому не досталось.

\* \* \*

Мы продолжали наши прогулки с самыми доверительными беседами. Юра сказал, что мечтает стать писателем и даже кое-чего достиг на этом пути. Помнится, он показал мне районные газетки, привезенные из Калязина: в них были напечатаны его первые стихи и первые рассказы — «Мама» и «На распутье». Я отнеслась к его творчеству со вниманием, потому как, признаться, и сама к этому времени напечатала в нашей заводской многотиражке свои слабенькие стишки. Ну, у меня-то столь высоких стремлений не было. Стихи мои сочинялись как песенки, я их напевала. Кстати, Юра любил слушать, когда я пела.

Однако осенью наши отношения как бы остановились в своем развитии. Мы даже поссорились. Когда с парнем дружишь долго, то надо либо за него замуж выходить, либо расставаться. С прежними ухажерами я нарочно ссорилась, чтоб не выходить замуж. Мне рано было еще замуж!

А с Юрой поссорились мы вот из-за чего: поскольку уже обсуждались планы нашей совместной жизни, он мне стал настойчиво внушать, что жена должна с мужем быть заодно, то есть она должна интересоваться только тем, что интересуется ее мужа, а своих увлечений у нее и быть не должно. И обосновал: потому что он будущий писатель, у него высокая цель...

Я его передразнила:

— «Ты должна», «ты должна»... Ничего я никому не должна! Я буду заниматься музыкой и пением, я буду певицей. Ясно тебе?

До сих пор я жила вольно, никем не притесняемая. А тут меня, такую свободолюбивую, будут ограничивать: то нельзя, это не делай, туда не пойдешь. Не бывать тому!

— Ты будешь только женой писателя и никем больше! — так же твердо заявил он.

Мы объяснялись довольно бурно, дело дошло до ссоры. А сидели мы на скамье под чужим окном, в кустах сирени. И тут из открытого окна высунулся мужик и сказал:

— Вы еще долго там будете решать, кому из вас быть писателем, а кому певицей? Ишь, никак не сталкиются!

Мы поспешно снялись с места и ушли. Так и расстались в тот вечер непримиренными, и были уверены, что между нами все кончено. Но судьбе было угодно иначе...

\* \* \*

На другой же день пригласил меня прогуляться парень из нашего общежития, тоже новенький. Фамилия его, помнится, была Шнейдер, а как звали — не помню теперь. И вот я нарядилась в новое пальто (Сонькино), в новые туфельки, мы вышли из общежития и отправились «в город». А по пути к автобусной остановке вдруг нас обогнал... Юра. Он с изумлением покосился на нас, но сделал вид, что его это не касается. Однако же как уязвлено было его самолюбие! Только вчера со мной поссорился, а уже сегодня я нового кавалера подцепила!



Он потом рассказывал, как был поражен: сначала-то, шагая сзади, принял меня за Соню, а как стал обгонять, увидел, что это я. Он ужасно расстроился и решил, что клин клином вышибают, потому поехал в какое-то общежитие разыскивать девушку, с которой недавно познакомился. Но ему не везло в тот день: не нашел он той девушки, отлучилась она куда-то.

И вот с этим Шнейдером мы съездили в центр города, погуляли в городском парке. Но что-то скучно мне с ним было, тоскливо... Вроде и парень симпатичный: высокий, стройный, с высшим образованием... Но вот бывает так: и хороший парень, а неинтересный совершенно, поговорить не о чем. То ли дело с Юрой...

Вернувшись в общежитие, я вечером долго сидела в коридоре возле тети Насти, дежурной. Мне хотелось увидеть Юру... Не дождалась, ушла спать. Он вернулся откуда-то поздно, тетя Настя ему сказала:

— А тут Катя со мной сидела, все тебя ждала.

Он обрадовался. На другой же день мы помирились и опять строили планы совместной жизни.

Мать его в это время переехала из деревни в город Конаково, купила дом. Она часто писала письма сыну, жалуясь на одиночество и тяготы жизни. Писала, что очень часто болеет, а в магазин некому сходить и даже, мол, стакана воды подать некому.

В конце ноября мы подали заявление в ЗАГС. Все наши разговоры сосредоточились на будущем отъезде.

В перспективе открывалась для меня новая жизнь в семье. Я представляла себе, как мы с Юрой читаем вслух книги, вечерами все сидим у теплой печки. Юра уверял меня, что с его матерью мы будем жить дружно: она всегда мечтала иметь дочь.

— Она будет любить тебя, вот увидишь.

\* \* \*

Поженились мы так.

21 декабря 1960 года был очень морозный, но самый обыкновенный рабочий день. Юра отпросился из своего конструкторского бюро, я отпросилась на часок из своего деревообделочного цеха. ЗАГС располагался недалеко от комбайнового завода, в каком-то бараке. К заветной двери была довольно длинная очередь: впереди стояла старушка, пришедшая зарегистрировать смерть своего старичка, позади женщина средних лет, уговаривавшая нас:

— Да какие молоденькие! Да поживите так, погуляйте, пока молодые... За чем вам расписываться?

Зря мы не послушались доброго совета! Куда заспешили? Надо было погулять до весны, а весной съездили бы в мою деревню Тесь, где горы, где все в цвету — речка вся в черемухе, на косогорах алеют жарки под белыми березами, и кукушечка кукует на Павловой горе...

Но этого не случилось.

Мы отстояли очередь, зашли в полутемную, тесную комнату, не раздеваясь, расписались в какой-то большой книге... Вышли.

— Ну, я на работу, — сказал мне муж.

— Я тоже, — сказала я мужу.

Так мы стали мужем и женой...



Свадьбы у нас не было. Медового месяца тоже не было...

О том, что вышла замуж, я никому не сказала: сестра Соня непременно затеяла бы вечеринку у нас в комнате, а к чему лишние расходы? Нам деньги были нужны на дорогу.

Все в моей жизни оставалось так же, как было до ЗАГСа. Муж продолжал жить в своей комнате — это по коридору наискосок от «красного уголка». Юра заходил к нам, но не задерживался, словно смущался. Так что никто ничего и не подозревал.

Соня, однако, заметила, что я стала задумчива и даже печальна. Пришлось признаться, к тому же скрывать больше не было смысла: я уже уволилась с завода. О замужестве своем я сказала сестре просто, Соня ничуть не удивилась: она уже догадывалась, что дело у нас с Юрой идет к тому. Только спросила:

— Катя, ты жалеешь, что вышла замуж? Может, ты уже раскаиваешься?

Нет, я не раскаивалась, но мне было грустно как-то, несвободно. Мы продолжали быть женихом и невестой с отметкой в паспорте, но еще не мужем и женой. Соня об этом догадывалась, да и нетрудно догадаться, если я в Юрину комнату не ходила, а он в мою заглядывал лишь накоротко.

Перед Новым годом мы с Соней решили съездить в гости к сестре Любе. Она в это время жила на правом берегу Енисея, там они получили новую квартиру. Мы и Юру взяли с собой: надо же мне жениха, уже ставшего мужем, показать сестре, познакомить. А у Любы как раз гостил наш отец. Он и приехал то на день или два, и так совпало, что и мы тут кстати оказались.

Мы сидели за столом, разговаривали. Юра мой скромно помалкивал, и он «не показался» отцу моему, который и не знал еще, что мы расписались. Улучив минуту, отец мне тихонько сказал:

— Рано тебе, Екатерина, выходить замуж. Погодила бы... Этот парень не плох, но ведь бывают и лучше.

Такое вот было мне напутствие или благословение. С тем я и уехала, прощившись с отцом навсегда.

Собираясь на дорогу, я вспомнила, что надо мне проститься с музыкальной школой, отдать моим милым молоденьким учительницам домру в футляре. Одна девушка занималась со мною на домре, а вторая преподавала мне музыкальную грамоту и обязательный инструмент — пианино.

Я очень их огорчила сообщением, что вышла замуж и вот уезжаю...

— Как же так? — даже растерялись они. — А мы вас уже хотели включить в сводный струнный оркестр. Вы же у нас солистка на домре!

Только теперь я осознала, что же я наделала! Я теряю все: музыкальные занятия, хор, театры...

Нам надо было купить билеты в купейный вагон, и ехали бы мы, молодожены, целых четыре дня без хлопот — но мы купили в плацкартный в целях экономии... Денег у нас едва хватило на дорогу.

Нас провожала Соня. В последнюю минуту она вдруг порывисто кинулась меня обнимать и расплакалась. А я испугалась этих ее чувств и отстранила сестру: я не любила прощаний.

\* \* \*

На перроне Ярославского вокзала нас должен был встретить старший брат Юры, Виктор. Он опоздал. Мы уже стояли с вещами возле вокзала и думали,

как нам дальше быть, когда он вдруг подошел откуда-то: на нем было полупальто с воротником «хомут» и шапка пирожком, очки — он оказался похожим на Юру.

На меня Виктор, помню, бегло так глянул, был очень сдержан. Наверно, я ему не понравилась. Впрочем, таким он был и потом: не очень-то обходительным да внимательным — это уж свойство его характера. Юра мой проще, душевнее...

Братья отнесли вещи в камеру хранения, и мы поехали на метро на Красную площадь — это затем, чтобы с нее начать мое знакомство с Москвой.

И вот спустились в подземный переход. Для меня начиналось все неизведанное. На эскалатор я вступила осторожно, стараясь не показать, что боюсь. Но ничего, обошлось, и в конце соскочила вовремя, даже не споткнулась: Юра еще в поезде учил меня, как надо вести себя в метро.

Как сейчас вижу себя со стороны: иду я из метро к Красной площади... склон крутой, а был гололед. Я в ботиночках на «рыбьем меху», пальто на мне еще школьное, с воротником овчинным: так и не успела накопить денег на «взрослое» зимнее пальто. На голове у меня шерстяной платок, булавочкой заколот, иначе он не завязывался. Ничего другого, теплее у меня на голову и не было. Вот так я была одета.

Виктор, небось, оглядел тогда жену младшего брата и подивился: на что, мол, позарился Юрий? что такого нашел он в этой девочке?

После мне Юра рассказывал, что Виктор всю дорогу, пока водил нас по Москве, подтрунивал над ним: да не бойся, не потеряется твоя жена, не украдут ее — это если я где-то отставала в толпе...

А я, действительно, могла потеряться! И как доехать до Конаково, я не знала. Да у меня и денег не было, а паспорт был у мужа вместе с другими документами. Так что отставать от них и теряться в Москве мне никак было нельзя.

Потом мы отправились в Третьяковку. Я увидела там картины, знакомые мне ранее по открыткам: Юра их коллекционировал. А вечером пришли к Виктору в общежитие — это общежитие института стали и сплавов, Виктор учился, кажется, на третьем курсе. Это общежитие, помнится, удивило меня тогда: окошечки низкие, как в курятнике. Виктор так и сказал:

— Вот он, наш курятник! — и засмеялся.

\* \* \*

Как только сели мы в электричку и отъехали от Москвы, мне показалось, что едем опять в ту сторону, обратно в Красноярск. «Повидала я Москву, и вот теперь бы возвратиться в мое общежитие...» Но эта мимолетная мысль рассеялась вскоре.

В Конаково приехали поздно вечером.

Тут надо уточнить: была зима 1961 года.

От станции шли мы по сугробам, тропинка еле угадывалась. Синие тени домов лежали на снегу. Крыши тоже придавлены были снегом. Юра с Виктором шли впереди, несли вещи и чемодан, а я за ними трусила налегке, не чуя под собою закоченевших ног.

Материн дом тоже весь был занесен снегом. От дороги к калитке даже тропинки не натоптано. Дом слегка покривился на одну сторону, к крылечку. Виктор хмыкнул иронически: мол, вот и пришли, теперь радуйтесь. В окнах чуть брезжил тусклый свет. «Наверно, лампочка маленькая», — догадалась я.

Дверь оказалась заперта. Виктор стал стучать, а Юра заметно волновался.

— Стучи громче, — сказал он. — Может, спать легла.

— Да вроде бы рано спать-то, — сказал Виктор.

В доме бухнула дверь, потом спросили:

— Кто там? Это ты, Витя?

— Не я, а мы, — ответил Виктор.

— Это мы, мам! — сказал громко Юра.

Она открыла и тотчас отступила, увидев всех нас троих.

— А-а! Приехали. Входите, входите. Замерзли, знать? Ноне мороз-от какой крепкой!

Вошли все в избу. Мать за нами тяжело хлопнула дверь. Потом засуетилась, полезла на печь и сбросила оттуда валенки. Я нагретым валеночкам так обрадовалась! Тотчас мои ноги перекечевали из холодных ботинок в благодатное тепло валенок!

— В избе-то у меня померзень! Пол-от как лед холодный! — приговаривала мать. — Надень и ты, Юра, валеночки-то. У меня ить их много.

Я отметила: у матери приятный тембр голоса, что-то схожее с Юриным тембром. Показалась она мне маленькой и старенькой. Я ее такой и представляла себе. А теперь вот думаю: ведь ей в ту пору было всего около пятидесяти... Мне же тогда было девятнадцать...

А в доме и вправду прохладно. Виктор с Юрой тотчас принялись растапливать печку. Мать заторопилась на кухню. Она уже там гремела сковородкой, ковшом из ведра наполнила чайник, поставила на плиту.

Я прошла в комнату и села возле печи на скамейку. У меня было время оглядеться, пока Юра с Виктором пытались развести огонь в печке.

Юра мой так и мечтал, что вот приедем к матери, а тут печка... огонь... Дрова потрескивают, уютно в доме, тепло...

\* \* \*

Знакомил ли Юра меня с матерью? И как он меня ей представил, назвал ли мое имя? Теперь я уже не помню. Кажется, он сказал ей, вот, мол, это и есть Катя. А впрочем, наверно, нас не знакомили. И так все было ясно: вот мы приехали, нас надо обогреть и накормить. Поэтому мать заспешила собирать на стол.

Здесь будет уместно сказать, что Юра написал матери письмо из Красноярска. Это письмо сохранилось, вот оно:

Здравствуй, дорогая мама!

Не удивляйся, что я шлю тебе фотокарточку. Девушка эта — моя невеста. Мы с нею любим друг друга и решили пожениться. Я прошу на это твоего разрешения.

Тебе интересно знать, кто она такая? Звать ее Катей. В конце октября ей исполнилось 19 лет. Мы знакомы с мая месяца.

У Кати нет матери, отец живет в деревне с мачехой. Всего их шесть сестер, Катя — самая младшая.

Она работает у нас на заводе, учится в музыкальной школе, хочет стать учительницей музыки. Вот, кажется, и все о ней. Можно добавить, что ростом она — мне по плечо, хорошо поет, играет на домре и пианино. Но это уже не имеет отношения к делу.

Передай привет Виктору. Он написал мне, что ты беспокоишься обо мне. С какой стати? Я живу хорошо и очень счастлив.

Жду письма. Целую. Юрий.

29 ноября 1960 года

Ну, насчет пианино тут явное преувеличение. Юре моему хотелось представить меня в выгодном свете, отсюда и «учительница музыки».

Теперь вот мы явились...

Я разглядывала избу: мне тут предстояло теперь жить.

Печь была большая. Скамья, на которой я сидела, старенькая, выщербленная то ли сечкой, то ли топором. Зеркало большое, чуть не до потолка, в простенке между окнами, оно отображало неверно, искривляло лицо, в него лучше не глядеть. Кровать возле стены с шарами заржавленными. На кровати подушка нарядная с кружевной накидкой, покрывало свежее, лежит ровно, а из-под него — кружевной подзор в ладонь шириною. Сразу видно, что на кровати никто не спит, что убрана она для красоты. А спала-то мать на печи, с которой теперь только что слезла, когда услышала стук в дверь. Перед зеркалом — стол, возле него два гнутых венских стула с кривыми спинками и жесткими сиденьями — на сиденьях по дереву цветной узор.

Все обычно, ничего особенного, вот только, пожалуй, лампадка, горевшая перед иконой в углу, меня удивила. Я про себя тотчас подумала: «Как же это, у Юры с Витей мать, значит, верующая? Почему же они до сих пор не объяснили ей, что нет никакого Бога?» Так размышляла я, в ту пору отчаянная атеистка: отец мой, помнится, посмеивался над верующими, а иконы да лампадки в грош не ставил. Он считал это невежеством, и я так считала. Лампадка была из темного зеленого стекла, висела на цепках. «Старинная лампадка», — подумала я тогда. Еще я обратила внимание на интересную тумбочку, вырезанную затейливо, она была из черного дерева.

Та лампадка зеленого стекла осталась мне потом на память от свекрови. Я ее и теперь храню.

Скоро запылали в печке дрова, Юра взял маленькую скамеечку и сел напротив огня. Он давно мечтал посидеть вот так у печки, и чтоб потрескивали дрова. Дрова потрескивали, и в избе стало светлее и теплее.

Мать собирала на стол: вкусно запахло жареной картошкой. На кухне шипело на сковороде масло.

\* \* \*

Мать переехала из деревни Ремнево, что в Калязинском районе, сюда, в Конаково, в мае, то есть вот когда мы с Юрой в Красноярске только познакомились. Купила она этот дом на улице Коммунистической и все лето занималась огородом. Прежде жила здесь старуха Александра, которая переселилась сюда из Корчевы. От бывшей хозяйки осталась кое-какая мебель: вот это кривое зеркало и венские кривые же стулья, столик и тумбочка черного дерева, шкаф платяной, проеденный жучками точильщиками. И темные иконы, что в углу висят, и в кухне тоже, — это старинные иконы, перевезенные из той же затопленной Корчевы.

Собирая на стол, пронося мимо меня закуски в тарелочках, свекровь тяжело топала, и пол под ее ногами прогибался; плахи поскрипывали, стол отзывался тихим звоном посуды.

Виктор добыл из портфеля и поставил на стол бутылку вина, потом колбасу, сыр, масло сливочное... Это все они с Юрой прихватили в Москве, наскоро.

— Ой! А у меня, знать, и хлеба нет, — спохватилась мать. — Я в магазин-то редко когда хожу.

— Да ладно, мам! Не беспокойся. Вот же есть батон московский.

Юра прошел в переднюю, потирая руки, поглядел по сторонам: пора бы и к столу. Он явно проголодался.

— Ну что? Сарайсто у меня? — ревниво спросила мать. — Кое-как огоревала хоромину. Все денежки ухнула на покупку дома, а уж на обустройство ничего не осталось. Дров — и то не на что купить. До тепла-то, знать, и не доживешь.

Она говорила непривычно для меня, произнося слова *ковда*, *огоревала*, *знать*, *померзень*.

Тут мой Юра обратил внимание на горевшую лампадку.

— Она у тебя всегда горит, мам? — спросил он.

— Да ведь нынче праздник!

— Какой?

— А ты разве не знаешь?

— Не знаю. Сретенье, что ли?

— Да ты что?! Ить нынче Крещение.

— А-а, вот почему холодно! Крещенские морозы!

Стол, наконец, был собран, и мать пригласила:

— Ну, давайте садитесь.

Я заметила, что ее голос звучал как будто мягко и ласково, но в то же время настойчиво и даже порой требовательно. Она не пригласила — скомандовала.

Мы сели за стол. А на столе — огурчики соленные на тарелочке, баночка кильки в томате и на другой тарелке соленные грибочки. Еще порезана чайная колбаса и сыр, это уж Виктор спроворил. Да прямо в сковородке поставлена посредине стола картошка жареная. Вот и все закуски.

Стол братья отодвинули от стены; возле зеркала встали два венских стула, а с другой стороны от печи была придвинута скамья, та самая, изрубленная сечкой или топором. Юрий и Виктор сели на стульях, при этом ножки зашатались на неровном полу, стулья закрипели; мы с матерью поместились на скамье. Такое расположение за столом соблюдалось и после.

Виктор иронически засмеялся тому, что все в доме шевелится: мол, выдержат ли нас стулья?

Мать, поставив на стол горячую картошку, присела, но тотчас встала и тихо помолилась перед иконой, крестясь. Наступила неловкая пауза. А может, мне так показалось. Столь непривычно для меня было, чтоб за столом перед обедом молиться... Меня это удивило.

Виктор налил в рюмочки-стопочки вина, предложил и нам с матерью, мы подняли — за компанию.

— Ну что, брате? С приездом! Со встречей, — сказал Виктор.

— Со встречей, — эхом повторила и мать.

Потянулись к закускам. Над столом витал какой-то незнакомый, непривычный мне аромат жареной картошки. Как потом я узнала, мать варила ее в мундире, а после чистила и обжаривала с ложечкой сметаны.

Но более всего удивили меня грибы. Они тоже распространяли незнакомый мне запах. К соленным грибам я была непривычна. У нас в Теси никаких грибов, кроме груздей, не собирали, да и грузди родились не каждый год. Не помню, чтобы мачеха солила их.

— Грибы-то я собирала, — рассказывала мать. — А далеко заходить в лес боюсь... Лес мне незнакомый, я уж только краешком ходила, вот дуплянок и набрала. Сыроежки да дуплянки. Пробуйте! Понравятся ли?

Она почекала их своей вилкой, приглашая отпробовать.

Грибочки уже успели потемнеть и маленько задохнулись в подполе. Потому и вкус такой, и запах...

Разговор материн мне был почему-то приятен. И что бы она ни говорила, звучало это тепло и радушно. Больше всего мне нравился ее необычный, как у Юры, тембр голоса. Еще раз скажу, что мне она показалась старенькой. Была она маленькой и сухонькой, но вот странно, шаги ее по избе тяжелые, ступала она твердо. Руки матери над столом, над тарелками тоже были тяжелыми, кисти большие, пальцы крепкие, в народе говорят: натруженные руки.

За столом мать держала себя с чувством большого превосходства и достоинства. И что бы она ни говорила, что бы ни делала, во всем было проявление твердости и уверенности в себе. И бедно накрытый стол, скудные закуски ее ничуть не смущали.

После ужина стали укладываться спать. Мы с Юрой — на материнной кровати, а Виктору досталась за перегородкой холодная постель с соломенным матрацем.

Мать сняла с печи нагретую шубейку и дала Виктору: мол, постели в ноги, а то и не согреешься. Сама она забралась на печь. Она к тому уже привыкла и без нас все равно на печи спала.

Мы с Юрой затихли в постели, прижались друг к другу и быстро уснули.

\* \* \*

Утром я, молодая невестка, приступила к осуществлению своих благородных намерений: жить с матерью дружно, быть с нею ласковой, любить ее. Мы же с Юрой договорились заранее, что будем ей читать книжки, стихи, что я буду петь свои песенки. А она внимать им и радоваться, что теперь живет не одна. Ей с нами станет хорошо, весело жить.

Мы распаковали наши вещи. Я добыла новую скатерть, которую мы с Юрой купили в Москве, чтобы подарить матери.

Она сдержанно приняла подарок, поблагодарила.

Я достала свое голубое, девичье покрывало с узором — снежинки по голубому полю, олени и елочки — и покрыла им постель. Ведь теперь мы с Юрой тут будем спать, значит, и постель должна быть моя. Не знала я, что таким поступком обидела свекровь.

«Разве мое покрывало хуже? Ишь чего придумала...» Так она потом попеняла сыну.

Еще в этот раз Юра неосмотрительно сказал:

— И зачем мы все это везли сюда?

На что мать отозвалась с укором:

— Что же вы, на всем материнном спали бы?

— Мам, ну мы скоро купим свою кровать.

— Купило-то прикупило! На что вы купите? У вас есть ли деньги-те?

— Ну мы же сейчас работать пойдем. Будут деньги.

— Будут... когда они будут...

Вот такое у них состоялось первое объяснение. Юрия такое начало обескураживало. Он не понимал, на что мать сердится, чем она так недовольна.

А я полагала, что она даже рада уступить нам свою кровать. Все равно же на печи спит. И не все ли ей равно...



На другой день мы все сидели за столом, коротали долгий зимний вечер. Юра с Витей наигрались в карты, наговорились. Они выпили по рюмочке, им захорошело, и мы все вместе стали тихонько петь.

Я предложила новую в то время песню о стрелочнике.

Там, где рельсы сдвигаются синие,  
 Где за стрелкой горит огонек,  
 Новый стрелочник ходит по линии,  
 Молодой, озорной паренек!

Виктор охотно подхватил, помог мне. Он, оказывается, тоже хорошо знал эту песню. Это была их студенческая песня.

Потом Виктор с Юрой стали вспоминать свои деревенские песни, «Горькую рябину» или «На Муромской дорожке»:

На Муромской дорожке  
 Стояли три сосны.  
 Прощался со мной милый  
 До будущей весны...

Это, оказывается, была любимая песня матери. Она пела ее со своим мужем Васей. И в деревне тоже, еще в девичестве.

— Вот пела, пела и напела, что попрощалась с Васей, — сказала мать.

Потом мы спели все вместе «В низенькой светелке огонек горит», и тоже хорошо вышло у нас. Братья петь любили, и у них получалось слаженно, они охотно поддерживали меня. Но они могли петь только оба в один голос. Я же так не привыкла. Мне непременно надо песню украсить двумя голосами. Вот я и старалась, вилась возле них то первым голосом, то вторила Виктору. Они этого не понимали. Мать же и тут меня осудила: Катя не так поет.

Пение втроем и потом игра в карты (в «девятку») сблизжали нас с Виктором. Деверь стал ко мне благосклонней от этих наших дружеских посиделок. Тут как раз пришлось его каникулы, он и потом приезжал к нам на выходные. Ему нравилось с нами коротать вечера.

Приезжая, непременно каждый раз выигрывал у нас в карты и, смеясь, говорил, что вот, мол, хоть невелик доход, а на билет обратно в Москву ему как раз хватит! Это его забавляло. Мать ему, тайком от нас, давала сколько-нибудь денег: Витя учился в институте, и она его за это уважала.

Но ко мне она настроилась немилостиво. Ни мои песенки, ни ласковое с ней обращение на нее не произвели нужного действия. И то, что я в первый же день назвала ее мамой, она восприняла как должное. Не сразу, однако же очень скоро я поняла причину ее недовольства мною. Она видела и понимала только одно: невестку Юра привел ей бедную, без приданого. «Ну что там, один чемоданчик, да и тот полупустой! Образования никакого нет, и куда ее теперь на работу устроить, неизвестно».

\* \* \*

Юра устроился на фаянсовый завод, его взяли в конструкторский отдел. У него — техникум, он специалист. А мне куда? Стали думать. На заводе мест свободных не было. Да и ходить мне на завод далеко, полчаса занимала дорога туда и столько же обратно, автобусы по нашей улице тогда не ходили. А куда еще можно тут устроиться на работу?

Мать уже поджимала губы и выговаривала мне:

— Не-ет, так замуж не выходят. Больно рано замуж-от заторопилася. Надо бы сначала образование получить... а так-то — больно уж просто!

Нет, не нравилась матери такая невестка. Ее сын окончил техникум как-никак, он со специальностью, и мог бы себе найти получше. А тут что? Девчонка совсем еще! То ли бы дело с техникумом! Вместе бы и работали в конструкторском.

— Так ли мы, бывало, замуж-то выходили! — выговаривала она мне. — Разве с чемоданчиком-то выходят? Как же вы жить-то будете?

Она стала все чаще напоминать нам, что раньше невесту готовили заранее, с молодых лет собирали ей приданое. Что у них в деревне везли это приданое на двух телегах.

— Мам, да все у нас будет, — защищался Юра. — Все наживем и мы.

— Когда вы наживете?

У нее выговаривалось «ковда».

— Она вот еще не знает, куда на работу пойти! А у вас, глядишь, ребенок появится.

— Ну, ребенок появится... еще не скоро...

— Да как не скоро! Этого добра живо наживете!

— Ну и наживем, — говорил Юра. — Для того и женились, чтоб дети были.

— Ага! Вот-вот...

Как ни старался Юра смягчить нрав матери, она только куражилась над нами еще пуще, ей доставляло своеобразное удовольствие попрекать меня бесприданницей, и она продолжала твердить:

— Не-ет, так нельзя. Так замуж не выходят. Так-то больно просто... А жить-то на что станете?

Ах, как грустно теперь об этом вспоминать! В какую нищету мы тогда с Юрой угодили! И права была мать, и мне теперь понятно ее беспокойство: жить-то как? Но что интересно и что нас и спасло: мы тогда этого не понимали. Мы готовы были ко всему. Мы готовы были начать жизнь с нуля, не надеясь ни на чью помощь. Вот только материна крыша над головой, и все.

После дальней дороги, помнится, у нас оставалось двадцать пять рублей. С ними мы приехали начинать новую жизнь. То бесстрашие, с каким мы пустились в этот путь, меня удивляет и ныне, потрясает до глубины души.

Если бы мы знали наперед, что нас ожидает в доме у матери, то мы бы, пожалуй, и не поехали к ней. Сто раз подумали бы, во всяком случае. Но мы были полны самых радужных надежд.

\* \* \*

Юра стал ходить на работу в конструкторское бюро фаянсового завода.

Дорога занимала от дома до завода ровно полчаса. Но он сокращал время за счет быстрого и легкого шага, а иногда пускался и бегом. Он каждый день прибегал домой на обед. По грязным лужам, по раскисшим тропинкам, перепрыгивая канавы, кочки, шпалы на железной дороге.

Каждый день бегом на обед и обратно по двадцать минут — и на обед оставалось минут пятнадцать.

Я еще пока не работала. Мне обещали на заводе подобрать место, и я ждала.

Юра, как ни старался, часто опаздывал в свой конструкторский отдел минут на пять и за это от начальства получал выговор. Его вызывал к себе главный конструктор по фамилии Слынев и у себя в кабинете отчитывал таким вроде бы дружеским образом:

— В чем дело, Юра? Почему так себя ведете? Может, у вас что-нибудь случилось?

— Да нет, ничего не случилось, — отвечал Юра, не зная, что сказать в оправдание.

— Тогда как же быть? Все всегда на местах, а вас нет.

Юра не мог ему сказать, что он бегает домой обедать. Но однажды все-таки пришлось признаться, что дом далеко и на дорогу не хватает как раз тех пяти минут.

— Ну-у, у нас же есть столовая при заводе!

И опять же мой муж не мог объяснить, что ходить в столовую у него нет денег. А дома он обедает картошкой с огурчиком.

А вообще-то не в этом было дело: ну не мог он целый день вытерпеть, чтобы не видеть меня! Как это так — обедать порознь? Мне было непонятно такое его рвение. Я могла без него день прожить, а он не мог. Ему непременно хотелось со мной быть вместе.

В конструкторском отделе работать ему не нравилось: у него специальность «техник-технолог по холодной обработке металлов резанием», а тут — фаянс, глина...

\* \* \*

В конце февраля я устроилась на работу в подсобном хозяйстве учетчицей. Это недалеко от дома, режим работы довольно свободный.

Как только я ушла и мать осталась с Юрой вдвоем, она тотчас приступила к нему, плача:

— Сыночек мой, что же ты наделал! Ведь такую ли жену мог себе взять? И не надо нам такую, не надо. Она тебе не пара, пусть она уезжает. Ты у меня с образованием, а она что?..

Напрасно Юра ее уговаривал, пытался ей объяснить, что мы любим друг друга. Что будем учиться оба, что все мы заработаем и все купим.

На мать его уговоры не действовали. Она все его доводы отметала:

— Кака така любовь? Жить-то на что будете? Как же жить-то, когда ничего нету? Вон у нее в чемоданчике одно-единственное платьице — и то уж старенькое. Привез бесприданницу! И ничего не умеет, и образования нету. А ребенок народится, что тогда?

— Ну мам! О чем ты говоришь? И все начинают с нуля, потом обзаводятся...

— Сынок, сынок, — мать качала головой. — Ты словно ополоумел! Приворожила она тебя, что ли? Чего ты такое в ней нашел? А такую ли жену мог себе взять! С образованием...

— Ну ладно, мам, хватит! — уговаривал ее Юра иногда ласково, а иногда и сердито, резко.

— Чего хватить-то? Чего хватить-то?! — пуще расходилась мать.

Подобные выяснения отношений случались у них едва ли не каждый день. После такого разговора мать, накричавшись и наплакавшись, расхварывалась, забиралась на печь и оттуда причитала:

— Ишь ты, матери-то грубит! Мать ли ему плоха? Вырастила, выучила. Мать-то ему добра желает...

\* \* \*

С первой же зарплаты, помнится, купили мы себе кровать с настоящим мягким матрацем, поставили ее за перегородочкой в маленькой комнатке и таким образом устроились вполне уединенно, как бы отдельно от матери.

У окна Юра поставил небольшой столик и старый колченогий стул. Тут он вечерами писал... Столик прибирал, застилал свежей газетой, за работу садился непременно в чистой свежей рубашке. У него было их две. Чернилами он писать не любил. Юра затачивал сразу много карандашей — он ведь в Красноярске работал конструктором, привык к карандашам.

Написав несколько страниц, он их старательно правил, и так несколько раз. В результате долгих трудов у него получался рассказик в две-три странички. Он выходил к нам в переднюю, садился на маленькую скамейку.

— Ну, вот слушайте... Рассказ.

И только он намеревался читать, как мать тут непременно что-то вспомнит, какое-нибудь неотложное дельце.

— Ой, погоди уж! Сейчас вот я токо... И забыла, и забыла: ить у меня труба не закрыта.

И пошла закрывать трубу, греметь табуреткой.

— Ну вот, начинается, — ворчал недовольный автор.

Пришла, села. Юра начинает читать. Только он половину страницы прочитает, мать опять встала и пошла на кухню.

— Ну что еще, мам?

— Да ты читай, читай. Я только вот... забыла поставить...

А рассказы у автора были короткими, иногда просто начало рассказа. Вот хотя бы о его деревенском приятеле:

Я пришел к нему утром.

— Пойдем гулять.

— Счас, — засуетился Женька. — Мам, ну что?

Это он про картошку.

— Не готова еще, — отвечает ему мать из чулана.

Тетка Катерина рано вставать не любит, печь протапливает поздно. Зимний день короток, надо успеть нагуляться. Но без Женьки что за гулянье?

— Давай скорей собирайся!

— Счас. Не поел еще.

— Потом поешь, — говорит ему мать. — Иди гуляй.

— Нет, — решительно возражает Женька. — Да ты садись, — приглашает он меня, — в карты сыграем.

Мне не хочется играть, но Женька уже достал ворох самодельных карт, пересчитал. Их оказалось двадцать три.

— Счас сделаем, — заявляет он уверенно.

Из старой тетрадки Женька привычно выстригает ровные прямоугольнички, слонит химический карандаш и пишет: «Десятка крестей», «Семерка червей». Недостающих дам, валетов и королей рисует, приговаривая: точка, точка, два крючочка...

На второй странице становилось интересно: что там дальше будет? Но автор останавливался:

- Пока написал только это.
- Как? Разе все, конец? — говорит мать недоуменно.
- Завтра продолжу.

Но завтра он мог прочитать начало уже совсем другого рассказа:

Мы выходим из лесу и садимся у насыпи на траву. Рядом ставим тяжелые корзинки. В них красуются бурыми, малиновыми, пурпуровыми шляпками подосиновики, выглядывают кряжистые боровики, красавицы волнушки, расписанные удивительно тонко, и крепкие крупные, словно грузди, луговые дулянки.

Выдержанная, спокойная тишина стоит вокруг, только в ближних рябинах с красными подвесками ягод суетятся, перекликаясь, дрозды. От ночного благодатного дождя огузла листва, и слышно, как, стекая, то тут, то там падают капли. В розовой хмари стоит над просекой солнце, румяное и словно бы разомлевшее от тепла и сна. А прямо над нами отстаивается свежая и чистая синева.

Это был рассказ «Одно осеннее утро».

Мы сидели тихо, слушали, замороженные голосом Юры.

Читал он увлеченно, проверяя на слух каждую фразу. Иногда что-то поправлял карандашиком, потом продолжал читать. Так бы и дальше сидеть и слушать — словно кто-то другой все это придумывал, а Юра вот читает нам.

— Уж больно хорошо, — вздыхала мать. — Да чтой-то мало! Я так бы слушала и слушала... Почитай еще чего-нибудь.

— Еще не написал, — говорил Юра. — Надо думать.

\* \* \*

Работа моя в подсобном хозяйстве заключалась в следующем. Уже начали высаживать рассаду в парники и теплицы, и я, учетчица, ежедневно должна была подсчитывать, сколько чего посажено, сколько часов кто трудился. Я целыми днями гуляла на свежем воздухе по полям, возле леса. В конце дня я сдавала рапортчику бухгалтеру. На стене я вывешивала листок, что наработано в этот день. Весной, когда я устраивалась на эту работу, я даже не спросила о величине зарплаты. Как-то совестно было об этом спрашивать, я не могла пересилить себя: таково уж было воспитание. А потом мне сказали, что учетчицей я взята лишь на половину ставки, а это всего тридцать рублей. Меня, конечно, это не устраивало, но я так долго ждала этого места, что отказываться было неудобно.

Мне советовали идти в универмаг ученицей: надо, мол, курсы пройти, шесть месяцев. Но мой муж и слышать не хотел, чтоб меня — в продавщицы! Чтобы я — будущая писательская жена! — стояла за прилавком. Если встану за прилавком, я как бы испорчу свою будущую репутацию, как бы закрою себе путь вверх. Как же мой Юрий с этим мог смириться?!

В марте я ходила по сугробам еще, через речку, к лесу на это подсобное хозяйство. Дорога занимала минут десять, не более. А весной, когда речка разлилась, мне приходилось обходить кругом, по мосту. Я шла позади нашего огорода и под ногами торфяная земля покачивалась. И было уже так грязно!

Юра тоже бегал по жуткой грязи домой обедать. Мать нам готовила немудреные супчики да жарила картошку, сварив ее сначала в мундире. Денег у нас было крайне мало, от каждой зарплаты хотелось отложить на покупки.

А матушка свои денежки приберегала, чтобы выкупить вторую половину дома, в которой теперь жили Воронины, Тося с Виктором.

Всю весну, когда пробивалась первая зелень, я тщетно искала истосковавшимися глазами, что тут можно съесть. Но съедобной травы не встречала. На обтаявших пригорках не появилось даже щавеля. Ни дикого лука, ни заячьей капусты, ни петушков с медунками я не находила. В огороде у нас на канавке росла дягель-трава (мать называла ее *дядель*), похожая на наши пучки, но очень слабо.

Правда, в бору можно было найти кисличку — она росла под соснами, цвела беленькими цветочками, тоже кисленькими на вкус. И мой Юра, жалея меня, понимал, что надо порадовать, вел в воскресенье в бор. Я вообще вольно гуляла бы в лесу, но муж запрещал. Боялся: вдруг кто-нибудь встретится! Как это так, его жена... одна... в лесу...

Зато гулять по полям, вдоль опушки леса мне не запрещали ни мой муж, ни пожилой агроном. И я могла часами бродить, напевая привычно: «Ты воспой, ты воспой в саду, соловейко!»

Однажды я зашла в лес, запела:

Потерял да растерял я свой голосочек,  
 Ой, да по чужим садам летая...

Я бы эту песню и всю допела, но откуда ни возьмись — мужик! Он как-то странно и с испугом на меня поглядел. Увидев его, я вздрогнула. И мужик тоже от неожиданности вздрогнул. Он сказал:

— Чего шумишь? В лесу шуметь нельзя...

Я быстро ушла.

Моему Юре нравилось, что у меня такая романтическая и чистая, главное, легкая работа! Он приходил ко мне по субботам, мы вместе с ним гуляли и в поле, и в лес заходили. Вот тут уж я ничего не боялась, рвала цветики-цветочки и могла попеть спокойно. Мы с Юрой в ту пору и не догадывались еще, почему мне так хочется кисленькой травки...

\* \* \*

Однажды мы пошли в бор гулять. Вышли к Волге, и как раз «Ракета» идет на подводных крыльях. И причаливает к нашему берегу. Мы полюбовались, как он ходко, как легко несется — словно не касаясь воды. И вот дальше полетел — в Дубну, Кимры, Калязин...

Юра мой вдруг затосковал, ему неудержимо захотелось побывать в Калязине и в Ремневе. И вот решили поехать.

В следующий выходной, несколько дней спустя, сели на эту «Ракету» и через четыре часа были в Калязине. Муж мой был радостно возбужден. Было очень жарко, солнце припекало. Я в легком сарафане.

И вот приплыли мы в Калязин, он повел меня мимо библиотеки, в которой сиживал, читая книги да журналы, мимо старинных особняков, мимо школы, в которой учился в восьмом классе, потом до техникума дошли и до общезжития.

И дальше пошли. Тут я увидела поле цветущего льна — такого голубого поля я никогда не видывала. В нашей деревне ведь лен не сеяли, только пшеницу. Так и шли мы с Юрой пешком до самой его деревни Ремнево.



В Ремневе Юра подвел меня прямо к их дому на краю деревни, то есть к тому месту, где дом стоял когда-то на пригорке, но сгорел. Мать продала дом, и в это же лето он и сгорел у новых хозяев.

Мы постояли, глядя на пожарище, — все уже успело покрыться травой, зарости, но кое-где виднелись еще головешки. Угадывались кусты крыжовника, вишни да сирень под окном в бывшем палисаднике. Опечалившись, Юра почекал эти головешки носком ботинка, мы побрели по деревне. Никто нам не встретился, только куры копошились тихо в пыли при дороге. Деревня была безлюдной, дома стояли редко, лопухи да крапива поднимались тут и там. Сидел под окном на лавочке один человек, но и он, завидев нас, встал и ушел в дом.

— Это же Иван Красавин, между прочим, мой четвероюродный брат. Не захотел с нами поговорить. Он заносчив, таким был всегда.

После Юра напишет рассказ «Побыватели».

Мы зашли к тете Пане Красавиной — это вдова Юриного дяди, Михаила Федоровича. Домик ее старенький врос уже в землю, окна низкие, а палисадник весь зарос вишенем и сиренью. Так что в доме было темно и душно. Сидеть нам у тети Пани не хотелось, и мы, поговорив немного, отправились дальше — мимо деревни Хонино, вдоль по берегу речки Иры. Эта живописная речка привела нас к широкой Нерли.

В Нерли первым делом искупались. Вода была такая теплая! А берег вязок, как у нас в пруду, и зарос кувшинками. А дальше, в заливе были белые лилии. Мы плавали среди этих ослепительно белых лилий, раздвигая большие листья и заглядывая в желтую, словно солнышко, сердцевину.

И шли мы опять берегом Иры до деревни Хонино. Цвели по лугам купальницы, соловьи в кустах у речки заливались, в бочагах звенела и глухо булькала вода.

Очень славно тут было. Не знала я, что потом, через много лет, уже переехав на жительство в Новгород, мы будем приезжать сюда каждое лето, ставить палатку... и тут будут бегать наши дети. Но это будет потом...

\* \* \*

На подсобном хозяйстве учетчицей я зарабатывала тридцать рублей в месяц, а на заводе фаянсовом все работницы получали в среднем семьдесят-восемьдесят рублей. Юра в конструкторском имел ставку тоже восемьдесят рублей, из них выплачивал подоходные, потом взносы комсомольские и бездетные, и ему оставалось от зарплаты рублей около семидесяти.

И я решила перейти работать на завод. Муж устроил меня в формовочный цех, на участок сортировки, опять учетчицей, то есть где полегче. Но зарплата оказалась тоже «легкой» — всего сорок шесть рублей. Формовщицы у станков зарабатывали по восемьдесят или девяносто рублей.

В цеху я подружилась с такими же молоденькими и тоже беременными *легкотрудницами*: Зина Матвеева сидела на обводке, а Люся готовила краски — голубую и синюю. Краски сильно пахли скипидаром, но у Люси почему-то голова не болела, она привыкла.

Тарелки плыли по конвейеру в небольших стопках, они были еще хрупкими и сырыми, только чуть подсушены. Девушки брали их очень ловко и нежно за края, ставили на крутящийся столик и сноровисто кисточкой обводили голубую каемочку или две. И так целый день, с небольшим перерывом на обед и отдых.

Этой же осенью и мать устроилась на завод фаянсовый, в живописный цех — подметать. И ее зарплата составляла тоже сорок шесть рублей, как и у меня. Матери нравилось работать уборщицей, она весь день на людях, ей весело. Она была со всеми приветлива, любила поговорить, а голос у ней становился с чужими людьми добрым, ласковым и даже задушевым. Это она с нами дома ссорилась, а с чужими людьми, с соседями — ни-ни, нельзя.

Утром свекровь уходила, а я оставалась и растапливала печку, ставила на плиту варить суп, картошку в мундире, пекла блины, делая их с начинкой — так было сытнее. В начинку надо было крошить крутое яйцо или обжарить капусту с морковью и луком. Или с кашей. Но крупы у нас часто не было, поэтому я возилась все утро с капустой и морковкой, чистила, обжаривала и пекла.

Этот немудреный обед занимал у меня все время до полудня. Я едва успевала прибрать в кухне, вымыть пол и собрать на стол. Тут прибежал Юра, приходила мать. А мою свекровь такой порядок как раз устраивал: вот повертись теперь ты, Катя. Будешь знать, сколько у плиты дел.

После обеда я уходила на работу.

По-видимому, от скудости питания у меня стали случаться обмороки. Однажды в магазине в душной очереди мне стало плохо. Я едва выбралась из тесноты на улицу. И вовремя это сделала: в ушах звенело, перед глазами летали мелкие мушки и расплывались разноцветные круги. Еле добрела до дому, ноги подгибались от слабости.

А наша мать захотела купить маленький диванчик. Ну, неудержимо ей захотелось, да и все! Как-то, идя с работы, зашла она в мебельный магазин, что возле фаянсового завода, и присмотрела мягкий, удобный диван. У нас же одна стена так и стояла пустая — к ней была приставлена для заполнения скамья.

И вот она купила и привезла этот маленький, удобный такой раскладной диван и еще два новых стула мягких. Привезла домой, втащить ей помог шофер, Юра был на работе.

Я боялась двигать тот диван, сказала ей, мол, подожди, сейчас Юра придет и поставите.

— Да чего годить-то! — сердито сказала она. — Чего я буду его ждать, я и сама поставлю.

Я занервничала, а сказать ей не хотела, что нельзя мне поднимать тяжести. Когда я все же сунулась ей помочь, она сердито прикрикнула:

— Да куда ты! Сиди уж с пузом-то!

Вот тут я поняла, что живот мой уже заметен и что мать давно уже догадалась обо всем.

Юра хотел, чтоб первым у нас родился непременно сын. А потом уже можно и девочку.

— Ладно, — сказала я, — будет тебе сын.

Мы же и имя ему дали: Сережа. Так я хотела, мне нравилось называть Сережей. Он уже проявлял себя: когда спим, толкнет в бок родного отца, чтоб не стеснял.

(Окончание следует.)



## *Народные мемуары*

**Валентин КРАСНОГОРОВ**

### **КРЫСЫ**

*Фрагмент воспоминаний*

...До войны мы жили в Ленинграде. Там, за Невской заставой, на бывшем знаменитом Обуховском заводе, а тогда — на заводе «Большевик», производившем тяжелое артиллерийское вооружение, начальником электроцеха работал мой отец.

Мои довоенные воспоминания довольно смутны: мороженое (цилиндрик между двумя вафлями), самокаты, дворник с большой метлой и терпко пахнущий керосин в большой жестяной ванне-прилавке бакалейного магазина, откуда его вычерпывали покупателям литровым ковшиком — в этот магазин меня и брата Феликса посылала мама, чтобы пополнять запасы для примуса...

Первые связные воспоминания начинаются как раз с июня 1941 г., с моих шести с половиной лет. Сначала никто не верил, что война будет долгой и опасной, и уж никто не мог предполагать, что немцы доберутся до Ленинграда. Ведь еще недавно даже дети бодро распевали: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим!», «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов!» или из того же «Марша танкистов»: «Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой pošлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет!»

...Однако обстановка быстро осложнилась: окна в домах заклеили крест-накрест бумажными полосами (чтобы осколки не разлетались при бомбежках), а в небе повисли похожие на дирижабли аэростаты воздушного заграждения. Чтобы исключить прослушивание вражеской пропаганды, Совет народных комиссаров 25 июня 1941 г. выпустил Постановление № 1750 «О сдаче населением радиоприемных и радиопередающих устройств» — и вскоре папа отнес куда следует недавно купленный приемник, которым он очень гордился. Выдали квитанцию о временном хранении «до окончания войны», но мы его никогда больше не увидели.

Продуктовых карточек еще не было, но в магазинах уже были введены нормы выдачи в одни руки. Вой сирен воздушной тревоги, взрывы, сидение в темных бомбоубежищах... Мой отец (ему было тогда около сорока лет) круглосуточно занимался срочной эвакуацией огромного оборонного завода в Сибирь.

К концу августа 1941 г. на станции Обухово был сформирован последний состав с заводским оборудованием. Мы отправились в теплушке вместе с этим поездом в Сибирь. По дороге нас несколько раз бомбили. Кажется, наш эшелон был одним из последних, вырвавшихся из Ленинграда.

Что такое теплушка? Это обыкновенный товарный вагон, где небольшое пространство в середине свободно, а вдоль стенок — двухэтажные нары, застеленные соломой. На пол ставят «буржуйку» — круглую железную печурку, дым из которой через железную же трубу отводят через окошко наружу, и получается этакий «дом на колесах», плотно набитый людьми и скарбом. Наши пожитки уместались в деревянном сундуке, который служил нам еще примерно лет десять, путешествуя из квартиры в квартиру, причем нередко я и спал на нем, подложив тюфяк.

После трех недель пути мы прибыли в Юргу (тогда Новосибирской, потом — Кемеровской области). Точнее, в село Поломошное на правом берегу Томи, потому что в Юрге жилья практически не было: его предстояло еще построить. На противоположном берегу сразу же начали готовить к запуску завод, сооружать бараки и копать землянки. Отец работал там двадцать часов в сутки без выходных. Так возникли «завод Т» и при нем поселок. В один из барачков (Ленинградская улица, дом 5) мы и перебрались спустя несколько месяцев после приезда.

Почти каждый год меня отправляли на лето в пионерлагерь, расположенный на правом берегу Томи, у Змеиных гор, круто обрывающихся к воде. Змеиные горы — это скалы из серебристо-серого сланца, легко расслаивающегося на тонкие пластины, на которых, как на грифеле, легко было чем-нибудь острым писать или рисовать. В лесу летом была клубника и костяника, и еще мы выкапывали из земли корни саранки. Эти желтоватые луковицы, похожие на головки чеснока, съедобны и даже казались нам вкусными — интересно было бы попробовать их сейчас...

Голода в Сибири в первые месяцы войны еще не было, он подбирался постепенно и весной 1942 г. стал уже ощутим: на карточки не давали практически ничего («не отоваривали»), колхозников забрали на фронт, продовольствие у них изъяли, рынки опустели, все подорожало, а денег не было.

На месячную зарплату отца на рынке можно было купить всего лишь полкило масла, поэтому мама вместе с нами, детьми, засадила картофельное поле (завод давал участки) и еще в другом месте — огород. А в ожидании урожая мама распродавала на рынке привезенные из Ленинграда костюмы, рубашки, «отрезы» (куски ткани для костюмов и пальто) — короче, то небольшое, что у нас было. Оставшиеся годы войны мы проходили в невероятной рвани.

В один прекрасный осенний день мы отправились на наше поле — посмотреть, не пришла ли пора копать картошку, но увидели там здоровенных мужиков, грузивших на подводу последние мешки нашего урожая. На мамины попытки протестовать и объяснять, что мы можем умереть с голоду, мужики очень спокойно и даже как-то без злобы, помахивая острыми лопатами, сказали: «Иди, мамаша, отсюда, пока все живы». Что могла сделать с ними женщина с двумя маленькими детьми?

Наступила страшная зима 1942—1943 гг. Жили мы в бараке впятером в одной небольшой комнате, где стоял дикий холод: вода ночью замерзала и не вытекала из умывальника, потому что на улице было до минус сорока, а печка была плохо сложена и не давала тепла.

Холодно было и в школе... Тогда школьники писали чернилами, которые в чернильнице-непроливайке часто замерзали, учебников и тетрадей почти не было, писали на обрывках старых обоев. И все время хотелось есть. Осенью умерла от голода и лишений бабушка. Зимой я заболел менингитом. Мама рассказывала, что, когда я бредил и терял сознание, она опасалась, что я уже не очнусь или навеки стану идиотом. Бог миловал.

...Печку в доме топили чем придется, а главными поставщиками топлива были мы с братом Феликсом. В нескольких километрах от нас была железная дорога — на Урал, к металлургическим заводам, почти непрерывно шли составы с углем. Но от тряски какое-то количество этого угля сквозь ветхие стенки вагонов просыпалось на рельсы, и мы ходили его подбирать. Занятие небезопасное, потому что пути охранялись, и были случаи, когда в нас стреляли. Война — ничего не попишешь...

Тем не менее железную дорогу мы любили и хорошо в ней разбирались. Мы знали все виды и марки паровозов, знали, чем занимаются стрелочники и обходчики, понимали язык надписей мелом на вагонах и иногда прятались от выстрелов, прижавшись к шпалам под вагонами движущегося поезда.

Есть было совершенно нечего. Все вещи были проданы. Дом пуст. Иногда удавалось выпросить у соседей картофельные очистки. По много часов мы с Феликсом стояли в очередях на морозе за хлебом по карточкам. Когда удавалось его купить, мы приносили глинообразную массу домой и пытались подсушить ее. Масса растекалась по сковороде и застывала в виде лепешки, твердой как камень и совершенно не похожей на хлеб.

Примерно в это время я написал, очевидно по маминей просьбе, расписку: «После войны я буду каждый день есть пшенный суп и пшенную кашу с молоком». Видимо, это был предел самых моих смелых мечтаний. Начертанная крупным круглым ученическим почерком в толстой коричневой тетрадке, расписка до недавнего времени хранилась в семейном архиве. Потом она, к сожалению, затерялась.

**Валентин Красногоров**  
(справа).  
Юрга, 1943 г.



В январе 1944 г. я заболел. В ту зиму в поселке свирепствовала скарлатина, и мама то и дело с тревогой всматривалась мне в лицо, боясь увидеть на нем белый треугольник — признак болезни, от которой тогда нередко умирали. Дня два мне было круто. Потом стало легче, и я блаженствовал в постели, упиваясь сознанием, что не надо ходить в школу, и глотая из блюдечка сладкую рисовую кашу под завистливым взглядом брата. Мы голодали третий год...

Скоро я уже резвился на улице. Жестокий мороз не мешал мне наслаждаться неожиданно подвалившими каникулами. В школу меня пока не пускали: доктор, хоть и не определил у меня скарлатины, на всякий случай предписал трехнедельный карантин. Когда положенный срок истек и меня привели выписываться, обнаружилось, что с меня кусками сползает кожа — верный признак перенесенной скарлатины. Меня тут же отправили в изолятор. Потом я долго не мог простить врачу этого бессмысленного решения.

Изолятор — короткий, точно обрубленный, барак — одиноко стоял вдали от поселка, на краю унылого пустыря. Больных в нем оказалось всего двое, считая со мной. Тот, второй, был взрослый. Он носил очки и, кажется, был каким-то начальником. Во всяком случае, сестры перед ним заискивали. Он жил в отдельной, довольно теплой комнате. С его упитанного лица не сходило брезгливое выражение. Меня он не замечал.

Я тоже жил в отдельной комнате. В ней не было ни столов, ни стульев — только несколько незастеленных железных кроватей вдоль стен. Их ржавые скелеты придавали палате заброшенный тюремный вид. Из единственного окна мог бы виднеться пустырь, но стекла всегда были завешены толстыми двойными ледяными шторами. Особенно обидно было, что нельзя увидеться с мамой. Иногда кто-то стучал в окно, и я с бьющимся сердцем стучал в ответ, но как хотелось иногда хоть на миг увидеть мамину улыбку!

В этой полупалате-полукамере было холодно, но за время войны я к этому привык. Очень хотелось есть, но и это было не самое страшное: я давно привык к тому, чтобы быть голодным. Я просто не помнил себя другим. Мне вообще было трудно представить, как можно жить и не чувствовать голода. Однако в изоляторе голод был особенно мучителен.

Кормили меня какой-то мутной жижей. Такая еда тоже не была в новинку, но больничного варева давали слишком уж мало. С воли не приходило ничего, да я ничего и не ждал: ведь дома тоже нечего было есть, а врач уверял, что в изоляторе кормят прекрасно.

Уже много позже я узнал, что мама, продав кое-что из нашего скудного барахла, все-таки приносила мне еду. Передачи до меня не дошли: все съедали медсестры. Они же воровали и муку, из которой варилась похлебка. Сестер я видел редко. Они грелись в своей дежурке у печки, болтали и смеялись. Со мной они разговаривали грубо и отрывисто.

Холод, голод, отсутствие игрушек и книжек — все это, повторяю, было привычно и не страшно. Но впервые за свою короткую жизнь я столкнулся с одиночеством. Это было нелегко, но я не жаловался. Жаловаться было некому.

...Я отчетливо вижу пустую холодную комнату, освещенную тусклой лампочкой в голом патроне, и себя — сжавшегося в комочек, заброшенного,

невообразимо тощего, закутанного в какое-то невероятное тряпье (мою одежду — тоже, впрочем, тряпье — при поступлении отобрали и послали на дезинфекцию). Заключение в изоляторе продолжалось одиннадцать долгих суток...

Мне очень хотелось, чтобы застывшее время ползло хоть чуточку быстрее. Должно быть, поэтому я принялся сочинять стихи. До изолятора (да и после него) я не проявлял склонности к поэзии. У меня с собой были вставочка и тетрадка (по наивности мама полагала, что я смогу в больнице делать уроки), но чернила в непроливайке часто замерзали, и я писал свои произведения карандашом. Жаль, что они не сохранились. Одно из стихотворений было посвящено, разумеется, моей скарлатине. Я помню из него две строчки:

Безжалостно доктор изрек диагноз:  
 Спадет с тебя кожа, как лепестки с роз...

Лепестки немного смущали меня неправильностью ударения, но отказаться от столь красивого сравнения я не мог. Другой стих, почти поэма, воспевал подвиги полярников и их несгибаемую волю. Начинался он так:

Кругом ледяные торосы,  
 Айсберги видны везде...

Спать я старался днем, потому что с наступлением ночи хозяевами барака становились крысы. Они выползали из всех щелей, огромные, страшные и наглые. Голод и холод гнали их со всего пустыря, и конца им не было. Каждый вечер глянцеви́тый краше́ный пол становился почти сплошь шерстяным, колышущимся и шуршащим. Иногда по копошащемуся месиву пробегали серые волны, крысы подпрыгивали, сбивались в тесные кучи, сталкивались в коротких схватках, пищали, царапались и снова успокаивались.

Свет я, конечно, не гасил и часами сидел в постели с кочергой в руках. Крысы смотрели на меня, я — на крыс. Спать было страшно: я боялся, что во сне меня съедят. Часто я все же не мог с собой справиться и забывался на несколько минут чутким нервным сном, но от малейшего шороха или движения одеяла вздрагивал и хватался за кочергу. Я вспоминал Брэма («Жизнь животных» — одна из всего двух книг, которые были у меня в детстве, и я знал ее наизусть; вторая называлась «Как Братец Кролик победил Льва») — так вот, знаменитый натуралист уверял, что крысы, не в пример мышам, изобретательны и умны, что меня вовсе не утешало. Я гадал, что со мной будет, если эти твари между собой сговорятся и разом бросятся на меня. Из той же книги мне было известно, что крысы любят музыку и легко поддаются дрессировке. Дрессировать эту ораву я не мог, да у меня и не было корма. Я пытался им насвистывать, но, видимо, делал это недостаточно музыкально, потому что они не проявляли никаких признаков удовольствия.

В конце концов крысы привыкли ко мне, но это вовсе не означало, что они стали дружелюбнее. Просто они перестали меня бояться. Часто они прыгали ко мне в постель. Взгляды их казались мне жадными и свирепыми. Животные были очень голодны, и я их понимал. Я тоже к ним привык и, не выпуская из рук кочерги, сочинял стихи, но бояться не перестал. Может быть, крысы никогда не

нападают на человека и мои страхи были напрасны, но мне едва исполнилось девять лет...

Раз, ночью, у меня болела голова. Головные боли случались у меня и раньше, но этот приступ был особенно силен. Я, как всегда, сидел на своем боевом посту в постели, и передо мной качались и плыли пустые беленые стены, остовы кроватей, маленькая лампочка, криво повисшая на грязном двужильном шнуре, и крысы, крысы, крысы... Мне нужно было кое-куда пройтись, и, сколько я ни оттягивал эту прогулку, откладывать ее стало нельзя. Я приступил к привычному ритуалу: стал кричать, стучать кочергой по полу и швырять в самых нахальных животных кусками угля, заготовленными еще с вечера. Крысы нехотя отступили к плинтусам.

Я сунул ноги в валенки, взял кочергу и поплелся в коридор. Самое неприятное ждало меня впереди, в конце коридора, в маленьком чуланчике, где был дощатый помост с черной дырой, которая дышала вонью и морозом. Чуланчик тоже был полон крыс — я знал это. Они проворно прыгали в дыру и из дыры, бежали по скользким половицам, покрытым желтоватой замерзшей мочой, и выглядывали из каждой щели.

Я шел туда по коридору, стучал кочергой и пел — достаточно громко, чтобы крысы слышали и знали, что я их не боюсь, но достаточно тихо, чтобы не проснулись и не заругались сестры. Перед дверцей печки стоял таз с водой (для предотвращения пожара). А голова по-прежнему была переполнена болью, ноги подкашивались, в глазах мелькали пятна.

Сознание я потерял на обратном пути, в коридоре. Ни боли, ни удара от падения я не почувствовал. Первое, что я ощутил, когда пришел в себя (мне показалось, что это произошло мгновенно), — мягкое прохладное прикосновение к моим пальцам: когда я упал, рука оказалась в тазу с водой. Как только я понял, где я и что случилось, сразу вспыхнула мысль: «Сейчас съедят...»

От слабости я не мог ни пошевелиться, ни крикнуть...

\* \* \*

Меня спросили как-то, падал ли я когда-нибудь в обморок. Я улыбнулся странному вопросу и хотел ответить отрицательно, но потом задумался. Вспомнились война, Сибирь, холодное, голодное, жестокое, но милое детство...



## Народные мемуары

**Илья СТЕФАНОВ**

### **АТЛАНТЫ**

#### **Отец и сын**

Западная Сибирь, Барабинские степи<sup>1</sup>, территория Томской губернии, двадцатые годы XX века. Недалеко от озера Чаны — село Журавка с населением более тысячи человек. Самое крепкое на селе хозяйство — Черняка Ильи Яковлевича. Далее речь пойдет о нем и его старшем сыне Степане.

Отец Ильи Яковлевича был родом из села Белоусовка Новосергиевского района Черниговской губернии. Жил он там в бедности. В поисках заработка обычно по окончании деревенской страды уходил в Таврию<sup>2</sup>, где работал грузчиком в морских портах или на днепровских пристанях. Решение переехать в Сибирь возникло после одной криминальной истории. Его младший брат Василий, работая на подворье у местного богача, однажды должен был присмотреть за грудным ребенком в хозяйском доме. Он некоторое время терпел раздражавший его крик, но затем принял необдуманное решение — успокоить малыша с помощью марлевой соски, поместив туда разжеванные верхушки конопли. Ребенок вскоре замолчал и спал больше суток.

После нескольких лет каторжных работ в Забайкалье Василий летом 1895-го возвращался на родину. На станции Татарская он сошел с поезда подышать воздухом. Здесь Василий встретился с человеком по фамилии Бычков. Собственно, Бычков сам подошел к Василию. Это был купец, который строил здесь маслозавод. Он все рассчитывал с дальним прицелом. Направляя значительную часть своего капитала на укрепление крестьянских хозяйств, он поощрял их держать молочных коров с обещанием закупать у них молоко. Этот предприниматель искал и находил в своей излюбленной Барабинской степи крепких мужиков и направлял их интересы под свой проект. Он помогал в обустройстве прибывшим на эти земли, давая им сразу бесплатно пару коров. Заметив на платформе железнодорожной станции крепкого мужика, по виду нездешнего, Бычков разговорил Василия и предложил ему остановиться в этих местах, пообещав свою помощь. Василий рассказал о своих братьях, прозябавших на Украине. Бычков посоветовал ему поехать на родину и вернуться сюда вместе с ними.

---

<sup>1</sup> Междуречье Оби и Иртыша в пределах Новосибирской и Омской областей, коренное население которого — *бараба* (самоназвание здешних татар, означающее «многоводье»).

<sup>2</sup> Территория современной Запорожской области и части Херсонской от Днепра до Крыма.

В 1897 году Яков Черняк, забрав с собой двух своих несовершеннолетних сыновей, Милея и Илью, вместе с братом Василием переехал в Сибирь. По совету Бычкова остановились они в селе Журавка.

Легко сказка сказывается, нелегко дело делается. Первое время, несмотря на помощь маслозаводчика, переселенцы испытывали большие трудности. Лошадей и инвентарь никто им не предоставил, и пришлось зарабатывать деньги в поте лица своего. Работать братьям было не привыкать, благо что было у кого: в Сибири в ту пору стали появляться большие, крепкие крестьянские хозяйства. Занимая сначала временное жилье, они уже на первом году своего пребывания в Журавке построили пластаные (дерновые) избы. Так или иначе, Черняки вскоре стали на ноги.

И вот уже Яков отделил от своего двора старшего сына Милея. Младший, Илья, оставшийся по русскому обычаю при отце, вскоре, ввиду слабости здоровья родителя, стал фактически сам вести основное хозяйство. В двадцать лет он женился на Софье, девушке из небогатой, но работающей семьи Ивана Чеснока. Она была сметлива, обладала хозяйской хваткой и, кроме того, отличалась ловкостью в верховой езде, за что ее прозвали казачкой. Неудивительно, что, когда Илья Яковлевич вернулся с военной службы, он нашел свой двор в полном порядке.

Его призвали на службу в 1912 году, Софья тогда осталась ждать мужа с двухлетним Степаном. Ждать пришлось долго. Получилось так, что во время службы мужа началась германская война. Хорошо, что он служил на востоке (в пограничном Заамурском полку), так что при перемещении на Западный фронт ему позволили по пути на некоторое время остановиться дома, в его Журавке. Вследствие этой остановки Софья через девять месяцев родила второго сына. Его назвали Николаем — в честь Николая Чудотворца, день памяти которого следовал за днем рождения ребенка. Вернулся Илья Яковлевич с германской войны в 1918 году унтер-офицером с Георгиевским крестом на груди.

Расцвет села начался после 1922 года, во времена нэпа. В ту пору провозглашалась заинтересованность власти в крепких крестьянских хозяйствах, пусть и применяющих наемный труд, то есть фактически поощрялось кулачество. Такая политика вскоре принесла свои плоды. Правда, Черняки никогда не держали батраков. Всегда, когда случалась необходимость сделать за короткое время какую-нибудь большую работу, звали на помощь родственников, как было издавна заведено. И сами всегда отзывались на такие же просьбы.

Подрастали и сыновья. Старший, Степан, появился на свет 25 декабря 1909 года по старому стилю, как раз на Рождество Христово. Ребенка назвали именем святого Стефана, первого христианского мученика.

— Храни его Боже и святой Стефан тоже, — провозгласил батюшка, передавая ребенка Илье Яковлевичу после крещения. Но Стефан — это церковное имя, за пределами церкви мальчика сразу же стали называть попросту Степаном.

В ранней молодости Степан был верховодом одной из ватаг местной молодежи. Таких ватаг было две. Одни были «Совы», по кличке Степана, которую он получил за зоркость глаз в ночное и сумеречное время, другие — «Соловьи», от фамилии их вожака Сергея Соловья. Молодежь каждой стороны села отдельно собиралась для игр, песен, плясок и хороводов, но иногда устраивались совместные игры, где соревновались в беге, борьбе и скачках на лошадях. На Масленицу и другие большие праздники обязательно устраивались кавалерийские игры-сражения с противоборствами и преследованиями. В этих забавах юный



Степан обычно брал на себя выполнение какого-нибудь наиболее рискованного маневра. Не в последнюю очередь благодаря его тактическим находкам, а также силе и ловкости в непосредственном противостоянии, победителями кавалерийских игр были обычно «Совы». Сергея Соловья это выводило из себя, и он всеми правдами и неправдами старался унижить главаря «Сов», придумывая и распуская по селу о нем разные небылицы.

В школу Степан ходил только два года. Научившись письму и счету, он оставил ее ради практических занятий, делающих крестьянина хозяином на собственной земле. К шестнадцати годам он выглядел уже как молодой мужчина. Ростом немного выше среднего, не очень широкий в плечах, он отличался большой силой. Впрочем, все крестьяне, любящие труд за его плоды, крепки телом... да и духом тоже. Степан был во всем хорошим помощником своему отцу. Охотнее всего он работал в поле, на степных просторах. Что может быть приятнее и живительнее, чем, вдыхая аромат земли, идти по распаханной борозде, управляя плугом!

Доходы Ильи Яковлевича из года в год росли, и в 1926 году ему удалось срубить себе большой пятистенный дом. К этому времени у него уже было пятеро детей: к 16-летнему Степану и 11-летнему Николаю добавились Дуся, Трофим и Вася, которым было 8, 5 и 2 года.

Семья обрела, наконец, нормальное жилье. И во дворе было все, чем должен владеть справный хозяин: амбар, конюшня, стойки для скота, а также жнейка, веялка, косилка, фургон, ходок и, конечно, плуги и бороны. С четырьмя лошадьми, четырьмя дойными коровами и небольшой отарой овец можно было жить как подобает любящему землю и труд крестьянину.

Для ведения большого хозяйства было, можно сказать, все, но чего-то не хватало. Это была мечта крестьянина — молотилка! Да, без нее тоже можно жить, но с ней, конечно, намного легче. Молотить цепами<sup>3</sup>, как это делали деды и прадеды, в общем, обычно и привычно, да и молотилка была, как говорят, не по карману. Но вот в том же 1926 году у крестьян появилась возможность покупать в рассрочку сельскохозяйственные машины, и Илья Яковлевич приобретает конную молотилку с рассрочкой на три года.

В восемнадцать лет отец выбрал Степану невесту и — женил, в ту пору молодость была недолгой. Невеста оказалась ничего себе, и Степан согласился, хотя его сердце склонялось к другой девушке. Но он даже не озвучил ее имени — она была из бедняков, и отец решительно отверг бы ее как невесту. Семья ведь создавалась не для любви, а для ведения хозяйства и содержания детей. Жена должна быть хозяйкой, а что умела или могла уметь девушка, в семье которой и хозяйства как такового не было? Уже сразу после свадьбы бывшую невесту уважительно называли хозяйшккой, а вчерашний парень становился хозяином, и к нему было принято обращаться теперь по имени-отчеству.

Лиза, так звали жену Степана Ильича, была второй из пятерых детей уважаемого на селе мужика Ивана Кисиля. Жизнь новой семьи обещала быть не голодной и счастливой, христианской. Жизнь текла еще все-таки по старинке — в атмосфере благожелательности и взаимовыручки... Пока не пришло указание выявлять «эксплуататоров чужого труда».

<sup>3</sup> Цеп — простое орудие для обмолота зерновых, состоящее из двух соединенных сыромятным ремнем палок: длинной (держало) и короткой (боек), ударяющей по колосьям.



Ко времени начала коллективизации Степан Ильич жил отдельно от отца, и у молодой семьи уже появился ребенок. Лиза родила девочку, ее крестили и дали имя святой княгини Анны. Счастливая жизнь молодой семьи продолжалась около двух лет. За это время Степан Ильич показал себя знатоком всех тонкостей крестьянского труда и неутомимым работником в пору деревенской страды.

В большом селе, в котором было немало крепких хозяйств, молотилка Ильи Черняка была единственной и оттого казалась символом состоятельности и благополучия. Сам Илья Яковлевич не считал, что этот механизм как-то повышает его статус крепкого хозяина. Он охотно помогал с молотью другим за небольшую плату, которую устанавливал сельсовет, причем всегда сам работал за молотилкой. Он, конечно, и думать не думал, что слова «единственная» и «помогал» станут роковыми в его судьбе. Уже очень скоро придут другие времена, и «единственная» станет символом чрезмерного богатства, а слово «помогал» будет переименовано в «эксплуатировал».

Обстановка на селе, в связи с началом коллективизации, накалялась, и наиболее здравомыслящие из друзей Ильи Яковлевича советовали ему распродать всю свою собственность и уехать, исчезнуть. Но тот, рассуждая, по его мнению, так же здраво, не мог понять, почему он должен бежать куда-то, не зная за собой никаких черных дел.

## Лишенный прав

Еще не была закончена выплата кредита за молотилку, как наступил роковой 1929 год. Сельским советам было предписано срочно выявить «эксплуататоров», лишить их избирательных прав и обложить индивидуальным налогом. Лишенный права голоса почитался изгоем, фактически он ставился вне закона. Приказано — сделано. Составить список эксплуататоров (в начале коллективизации слово «кулак» не употреблялось) было очень просто. Таковыми оказались все, кто использовал наемный труд и имел «нетрудовые доходы». Посыл центральной власти «выявить эксплуататоров» быстро свелся на местах к подведению всех крепких хозяев под эту категорию. Можно сказать, началась вторая жизнь знаменитого лозунга первых революционных лет «Грабь награбленное». В бесцеремонной травле зажиточных крестьян, кроме разгула зависти, немаловажную роль играло, конечно, и сведение личных счетов.

Круг косо смотрящих на зажиточных крестьян резко вырос в начале коллективизации, так что было кому настаивать на лишении Черняков, Ильи и Степана, избирательных прав. Степан жил небогато. Во дворе у него была лошадь, были корова, телка, телок, свинья, несколько овец — минимум живности, позволявший сводить концы с концами. Но его включили в семью отца, иначе ведь не удастся репрессировать! А очень хочется! А кто мог быть так уж заинтересован в этом? Да не с подачи ли соперника его юношеских игр Сергея, сына председателя сельсовета Ивана Соловья, проведено такое решение? Степан Ильич считал, что это именно так.

Список эксплуататоров, лишенных права голоса, возглавил Илья Яковлевич. Его собственного племянника, который два года назад работал на полях Ильи Яковлевича, власть посчитала батраком. Но ведь то была взаимопомощь! Дело в том, что и Илья Яковлевич работал на поле своего племянника, но это не упоминалось. Мало того, припомнили год, когда у Софьи были трудные роды, и

за ней, лежащей больной, ухаживала ее родственница (по терминологии власти — батрачила). Все это расценивалось как эксплуатация сезонных батраков.

Это что касается наемного труда. А за нетрудовые доходы посчитали использование молотилки, «каковую эксплуатировал на стороне с целью извлечения прибыли нетрудовыми доходами». Какие же они нетрудовые, если Илья Яковлевич сам работал на молотилке за совсем небольшую плату, согласованную с сельсоветом?!

Прошло пять месяцев, в течение которых Илья Яковлевич исправно выплачивал индивидуальный налог. Карательные действия начались 6 февраля 1930 года. В этот день один из членов сельсовета вместе с понятными вошел в дом Ильи Яковлевича для составления описи имущества. Все его имущество, от дома и молотилки до стола и дивана, передавалось в колхоз. Но передавалось «на хранение»! Так трогательно называлась в то время конфискация имущества без решения властных органов. Почему бы не изъять собственность заранее, если соответствующее решение неотвратимо...

Отбирая дом, выбросить ограбленных жильцов на улицу местные власти не решились — семье Ильи Яковлевича позволили пока жить в пластаной избе, тоже уже колхозной, — она фигурировала в описи имущества как «хата деревянная».

Уже через неделю, 14 февраля, сельский совет утверждает список из шестнадцати семей, подлежащих высылке за пределы округа. Тут же об этом пошли слухи по селу. Трагический исход для отца его старший сын как будто предвидел сначала во сне.

Степану Ильичу снится сон. Вечер, и солнце уже вблизи горизонта. Это его очень тревожит, потому что, если солнце скроется, он его никогда больше не увидит! И он бежит, бежит к солнцу, чтобы воспрепятствовать его закату, но светило неотвратимо снижается и уже касается края земли. Нужно успеть, успеть! И Степан Ильич ускоряет бег, но солнце уходит и вот, сверкнув краем, скрывается за горизонтом... Объятый ужасом, он некоторое время еще продолжает бежать, но падает обессиленный, рыдая и обнимая землю руками...

Утром он узнает, что ночью отца и еще пятерых сельчан забрали. Это было 17 февраля 1930 года.

Далее события развивались стремительно. 17-го же февраля, в день ареста, фиксируется окончание следственного дела, а 8 марта происходит заседание специальной тройки, на котором Илью Яковлевича вместе с несколькими другими односельчанами постановили «расстрелять, их семьи выслать на север, имущество конфисковать». Еще через десять дней, 18 марта, Барабинский окружной отдел ОГПУ сообщает в вышестоящие органы, что постановление тройки о расстреле приведено в исполнение 17 марта 1930 года в 22 часа.

Вот полный список осужденных:

Черняк Илья Яковлевич (45 лет),  
 Литошенко Николай Иванович (28 лет),  
 Соловьев Наум Макарович (47 лет),  
 Кирейчук Адриан Варламович (40 лет),  
 Богданов Василий Сергеевич (40 лет, священник),  
 Черненко Петр Лаврентьевич (45 лет, церковный староста),  
 Черненко Лаврентий Петрович (78 лет).



В постановлении на расстрел перечислено семь человек, к шестерым арестованным добавили Василия Богданова, которого судили заочно, так как во время ареста он исчез из деревни. Однако среди расстрелянных он также числится — ОГПУ проявило большое усердие в поимке опасного преступника.

Арестанты содержались в тюрьме города Каинска, что в десяти километрах севернее Барабинска, расположенного на Транссибирской магистрали. Сохранилось заявление в Журавский избирком, которое Илья Яковлевич написал после своего ареста в стенах этой тюрьмы. Его последнее свидетельство о себе написано синим карандашом на мятом листе бумаги, нечетким и неровным почерком:

В Журавский избирком мое заявление что я Черняк Илья лишен избирательных прав нахожу не правильно потому что у меня никаких работников с двадцать второго года не было прошу товарищи избирком обратить на это внимание так как я нахожу себя не эксплуататором а крестьянин я середняк а поетому прошу снять с меня такую кару чтобы быть свободным.

Заявление отца Степана Ильича Журавский избирком, конечно, не рассматривал, ведь Илья Яковлевич был уже под опекой Объединенного государственного политического управления, уполномоченного карать противников советской власти за *организацию контрреволюционных выступлений*. Судя по тексту заявления Ильи Яковлевича, при его написании он не знал еще, что ему предъявляется именно это обвинение...

Интересно, что список репрессированных ОГПУ сильно отличается от списка рекомендованных к высылке и расстрелу сельсоветом, списка, который был послан в высшую инстанцию за три дня до ареста осужденных. Судя по тому, что следственное дело было закончено в день ареста, становится очевидным, что расстрельный список готовился не сельсоветом, а ОГПУ, у которого были свои соображения, кто на селе потенциально может, в силу своего авторитета среди крестьян, повести их мимо решений, убийственных для крестьянских хозяйств, но нужных власти. Таких авторитетов, по мнению ОГПУ, было на селе всего семь, а не шестнадцать, как считал журавский сельсовет, причем из этих шестнадцати только трое фигурировали в числе тех семи — это Илья Черняк, Николай Литошенко и Наум Соловьев — самые богатые на селе. Кирейчук Адриан по состоянию хозяйства не дотягивал даже до середняка, а трое других были служителями церкви — священник Богданов Василий Сергеевич, церковный староста Черненко Петр Лаврентьевич и его отец, бывший церковный староста Черненко Лаврентий Петрович, которому в ту пору исполнилось 78 лет. Здесь бросается в глаза, что почти половина расстрелянных были служителями православной церкви, и это свидетельствует о том, что репрессии ОГПУ были направлены не против «эксплуататоров» как таковых (Адриана Кирейчука тоже никак не назовешь эксплуататором), а против лиц, явно или неявно недовольных политикой власти на селе.

Примечательно, что рекомендация сельсовета заодно подвергнуть репрессиям главу местных баптистов Болваненко Макара Павловича осталась в ОГПУ без внимания. Возможно, власти предержавшие посчитали баптистов своими временными попутчиками в борьбе с главным идеологическим врагом — православной церковью.

Нельзя не заметить, что большая разница в количестве осужденных органами ОГПУ и рекомендованных к осуждению членами сельского совета говорит о ведущей роли зависти и сведения личных счетов при составлении последними репрессивного списка.

О том, что следствие относительно этой несчастной семерки действительно проводилось, свидетельствует довольно обширное обвинительное заключение, в котором доказывается «обоснованность» и «законность» жесткого постановления. Наиболее содержательная его часть выглядит так:

Все обвиняемые увязались в тесную группировку. Группа собиралась тайно по вечерам в доме священника Богданова и у кулаков Черняка и Литошенко. Черняк вел агитацию против женщин — *Если вступите в колхоз, на вас будут ставить печати*. Вся группировка вела агитацию по уничтожению сельскохозяйственных машин. Черняк говорил: *Все равно голодень у нас их заберет*. Организовывали контрреволюционные выступления. Отравили колодец. Уничтожали скот. Не выполняли сдачу хлеба, прятали его. Вели агитацию за сокращение посевов, чтобы меньше сдавать советской власти хлеба. Литошенко говорил: *Советская власть недолговечна, скоро придет ей конец*.

В июне 1929 г. Черненко Петр после посещения Богданова распространял слухи о появлении письма с неба, написанного золотыми буквами, и призывал верующих с церковной паперти не вступать в колхоз.

В борьбе с советской властью в дни исторической колчаковской контрреволюции (1919 г.) у Литошенко стоял колчаковский карательный отряд. По инициативе Литошенко был арестован Горик Григорий (избит шомполами до потери сознания) и Соловьев Константин (после истязания убит выстрелом из винтовки). В услужении карательному отряду проявлял и Черняк.

Винновыми никто себя не признал.

Настоящее дело следствием считать законченным и направить в Прокуратуру по Барабинскому округу для рассмотрения в ОГПУ во вне судебном порядке.

Что касается обвинений в «услужении карательному отряду» колчаковцев, то ясно, что это наговор — виновных к тому времени давно уже расстреляли. Скорее всего, осужденные узнали о своей «причастности» к колчаковской контрреволюции только при оглашении приговора.

Опуская откровенно ложные обвинения в организации контрреволюционных выступлений и отравлении колодца, остановимся на несдаче хлеба. Обременительность индивидуальных налоговых обложений можно хорошо видеть на примере хозяйства Ильи Яковлевича. Вся его посевная площадь составляла 14,25 десятины, и сеял он на ней пшеницу и овес. При урожайности пшеницы в то время около 4 центнеров с десятины и допуская, что в 1929 году он все поля засеял этим злаком, он мог собрать 57 ц. зерна (около 350 пудов). В это трудно поверить, но в 1929 году Илью Яковлевича обязали сдать по линии хлебных заготовок именно 350 пудов! И еще труднее поверить — он сдал все полностью! Но не тут-то было — после этого его обязали сдать дополнительно еще 100 пудов! Однако все уже было выметено... Как раз после этого его арестовали.



Софья посчитала арест своего мужа верхом несправедливости. Вот что она писала в одной своей замечательной жалобе:

Мой муж Черняк Илья не задавался той целью, чтобы эксплоотировать т. е. не задавался целью, чтобы за счет чужого труда поднять свое хозяйство, а все время работал в своем хозяйстве сам со своими детьми.

Я не говорю того, что у нас не должно быть лишенных права голоса. Я не говорю того, что у нас не должно быть кулачество, но понимаю, что это должно быть тогда, когда человек производит систематическую эксплоотацию батрачества с целью того, чтобы за счет чужого труда поднять свое хозяйство. И если лишать нас права голоса по хозяйству то по нашему хозяйству мы не подходим к кулакам. Мы без эксплоотации батраков не должны быть лишены права голоса т. к. за это говорит и сама власть и партия, говорит, что середняки не должны быть лишены права голоса. А по этому выше изложенному решение Юдинской районной Комиссии Считаю Неправильным. И прошу окружную Комиссию разобрать со всей внимательностью и серьезностью мою жалобу и восстановить в правах голоса.

Софье, приехавшей на свидание с мужем в Каинскую тюрьму в конце марта 1930 года, было сказано, что Илью Яковлевича Черняка «услали из тюрьмы неизвестно куда». Недоумевая, она несколько раз обращается к властям с просьбой «разыскать и восстановить право голоса» своего ни в чем не повинного мужа... Никакого ответа ей не давали. Надежда оставалась, однако ходили слухи, что всех семерых расстреляли.

Но вот в апреле 1930 года происходит обновление сельсовета и вместо Ивана Соловья председателем становится приятель Степана Ильича, хороший хозяйственник Василий Кошарный, между прочим, член партии большевиков. Он не поверил слухам, что Илью Яковлевича расстреляли. На одном из первых же заседаний, состоявшемся 26 апреля, он предложил рассмотреть завалывшееся заявление Ильи Черняка о восстановлении в избирательных правах. И Кошарный подписывает следующее постановление:

Черняк Илья был лишен за Молотилку Каковую имеет с 1927 г. Но батраков совершенно не имел. Никаких. Молотьбу производил за цену указанную с/советом. Признаков же Закобаления нет. А поэтому права Голоса Восстановить.

Примечательна также карточка лишенного избирательных прав Черняка Ильи Яковлевича, которую также составил Кошарный. В ней повторялись старые данные о составе семьи, поголовье скота и был повторен перечень машин, но теперь указывалось: «наемных рабочих постоянных и сезонных нет». Поскольку такая карточка заполняется только на лиц, лишенных избирательных прав «по признаку найма рабочей силы», о чем гласит надпись на самой этой карточке, указание на отсутствие наемного труда делает поражение в правах безосновательным. Ранее копию постановления и карточку Кошарный давал Софье для подкрепления ее просьбы о помиловании мужа. Теперь он советует и Степану Ильичу послать заявление в районную избирательную комиссию с просьбой восстановить его в избирательных правах, приложив эти документы. Поскольку все обвинения отца автоматически переносились и на его сына, Ко-

шарный посоветовал сконцентрироваться на оправдании именно Ильи Яковлевича:

В 1927 году мы работали совместно совокупивши два двора с гражданином односельчанином Запашным Василием Николаевичем, что он подтверждает сам поэтому сельизберком недооценил этого дела и признал совместно работавшего с нами Запашного как эксплуатируемого. А что касается молотилки, отец работал на стороне, но без наемного труда, работал на ней сам, других эксплуатируемых отраслей нет никаких, с малых лет мы, отец и я занимаемся крестьянством. На основании изложенного прошу Юдинскую избирательную комиссию рассмотреть мое ходатайство осторожно и более целесообразно и лишения с меня, и всей нашей семьи прошу снять. В избирательных правах восстановить.

Ответа на заявление не последовало, мало того, вскоре забрали и самого заявителя. Это произошло 30 августа 1930 года.

Арест Степана Ильича привел его мать и жену в панику. Первая осталась с четырьмя детьми в возрасте от трех до пятнадцати, вторая — беременной и с одним годовалым ребенком. Софья и Лиза снова пишут заявления о восстановлении в правах своих мужей, объясняя, что все обвинения недействительны, тем более в отношении Степана, который отделился от отца год назад. И как может быть виноват сам Илья Яковлевич, если налоги он платил целиком и без задержки? Бедные женщины и думать не могли о каких-то его преступлениях против советской власти, ведь никто не удосужился сказать им об этом... Никакой реакции властей на эти вопли несчастных женщин не последовало.

Но опять со всей энергией вступился теперь уже за Степана Ильича Василий Кошарный, поскольку был уверен, что его друга преследуют незаконно. Степана Ильича отправили на лесоповал в Каргатское лесничество Чулымского района Западно-Сибирского края. Лагерь находился в селе Пенек. Кошарный не побоялся встретиться с арестантом, чтобы написать с ним заявление в Журавскую избирательную комиссию о восстановлении права голоса. Затем он сумел настоять на обсуждении там этого заявления и добиться благоприятного постановления. Он прислал Степану Ильичу выписку из протокола. На обратной стороне документа Кошарный не побоялся послать привет своему другу, написав карандашом: «Добрый день милый Степан Ильич». Далее Кошарный переправил заявление Степана Ильича и выписку из протокола в следующую инстанцию, в районную избирательную комиссию... В заявлении снова указывалось на полную невиновность Степана Ильича.

Через месяц, уже в начале 1931 года, Кошарный известил своего друга о решении районного избиркома по его просьбе о реабилитации: «отказать, как эксплуататору чужого наемного труда».

Надежды на милость властей падали... Степан Ильич, омрачаясь в душе, сильно загрустил. В одночасье лишившись всего — земли, семьи, свободы, он теперь лишился и надежды... Случившаяся невероятная, неправдоподобная катастрофа никак не могла быть освоена разумом.

Отдельно и наиболее сильно он переживал об отце. Проживая и работая с ним бок о бок много лет, Степан Ильич привык чувствовать рядом сильного и мудрого наставника. Теперь его лишили этой опоры, лишили навсегда — он был



уверен, что отца нет в живых. Все теперь были уверены, что Илью Яковлевича и осужденных вместе с ним расстреляли, именно такие слухи ходили по селу... Да, Софье сказали в Каинской тюрьме, что его услали неизвестно куда. Но это же, скорее всего, расстрел.

Только много лет спустя стало известно, что постановление о расстреле журавских врагов советской власти исполнено не было, по крайней мере в отношении «кулаков». В начале 1960-х Николай Литошенко и Наум Соловьев вдруг появились в Журавке. Они рассказали, что вместе с Ильей Яковлевичем были переведены в один из лагерей на Дальнем Востоке — около станции Бикин в Хабаровском крае. По их словам, Илья Яковлевич умер незадолго до «амнистии». Однако официально эти трое до сих пор считаются расстрелянными в 1930 году, в чем можно убедиться, обратившись за справкой в ФСБ РФ.

Другие же из расстрельного списка — служители церкви Василий Богданов, Петр Черненко и его отец Лаврентий, а также Адриан Кирейчук — были оставлены в Каинской тюрьме и, по-видимому, действительно расстреляны.

### Приписанные к смерти

В Журавке «подлежащие выселению за пределы округа» ждали предполагаемого отъезда в неизвестность. В общем-то, ходили только слухи об этом. Да, вроде было такое постановление, но никто о высылке их не предупреждал. И трудно было поверить, что вот так просто возьмут и увезут куда-то к черту на кулички с детьми, с малыми детьми! Женщины на всякий случай обдумывали, что нужно будет взять с собой.

Софья с тетей Ильи Яковлевича Матреной Максимовной занимались детьми. Лиза продолжала жить у себя, но теперь у нее было уже два ребенка — второй, мальчик, родился в январе 1931-го. Ему дали имя деда, назвали Ильей. Окрестить младенца не удалось: церковь не работала по причине отсутствия священника...

Никакой поддержки или сочувствия от сельсовета или информации о намерениях властей уже не было, потому что Василия Кошарного сняли с поста председателя...

Новый состав сельсовета уже был готов произвести опись собственности семей, подлежащих выселению. Правда, эти хозяйства уже обобрали перед арестом глав семейств, но, может быть, что-то еще у них завелось и не везти же это им с собой! Однако сверху приходит распоряжение произвести сначала обыски на предмет наличия оружия и денег. Да, конечно, высылаемых женщин надо разоружить. А деньги... они колхозу вот как нужны!

Сохранился акт такого делопроизводства в избе матери Степана Ильича:

1931 г. Мая 10 дня. Я председатель Журавского с/сов. Чухно Ф. в присутствии понятых грн с. Журавка Самусь и Шеверда постановили настоящий акт о ниже следующем

Сего Числа производили обыск у гр-ки с. Журавка подлежащего к высылке из пределов Чистоозерного рна Чернякова София при обыске обнаружено следующее: при обыске оружия денег и денежных документов не оказалось очом и постоновили записать настоящий акт.



Сразу за этим последовала опись имущества. Конечно, описи были очень краткими. За гражданками Черняковой<sup>4</sup> Софией Ивановной и Черняковой Елизаветой Ивановной записали по избе пластяной, по одному топору, муки по 1 и 5 пудов, пшеницы по 15 и 10 пудов соответственно.

Да, небогато было с имуществом у высылаемых — в их собственности имелось только по одному топору, ведь избы уже перешли в собственность колхоза. Что касается муки и пшеницы, при аресте глав семейств эти продукты были изъяты полностью. Да их и немного было. Например, у Ильи Яковлевича, согласно описи его имущества перед арестом, было всего 3 пуда пшеницы, а муки 1 пуд. А появившиеся в домах Софьи и Лизы продукты были собраны родственниками для их пропитания и с надеждой, что этот бесценный груз или хотя часть его удастся им взять с собой при высылке.

И вот предчувствующим недоброе объявляют об их отъезде в Томск и далее по Оби на север. На сборы дают три часа.

Отправляя несчастных женщин и детей на безлюдный север, им запретили брать с собой большой запас продуктов. Удалось взять с собой небольшой мешок сухарей, а еще некоторое их количество Матрена Максимовна заранее поместила в подкладки одежды...

В списке высылаемых под заголовком «Семья Степана Ильича» перечислено восемь человек: Софья (40 лет) с детьми: Николай (16), Дуся (13), Трофим (10) и Вася (7 лет); Лиза (21 год) с сыном Ильей (пятимесячным) и Матрена Максимовна — тетьа Ильи Яковлевича (97 лет).

В список не попал старший ребенок Степана Ильича: его двухлетняя дочка Аня к моменту высылки «потерялась» — ее удалось спрятать в погребе у родителей Лизы. Позже ребенка, в моменты прихода неожиданных гостей, приходилось помещать туда не раз.

Переселение семей «кулаков» в Нарымский край произошло в мае 1931 года. Из Журавки до Томска арестантов везли на телегах. Охранниками были деревенские же, усевшиеся на «кулацких» коней. В Томске погрузили на баржу и — на север, на север, в топи и болота...

Как удобно приговоренных к смерти транспортировать по воде! Ведь умерших в пути можно сбросить прямо в реку. Ну упал человек в воду, ну, утонул, бывает... Потери не так заметны, как при движении по земле. Бедные крестьяне, а это были в основном женщины и дети, вырванные из домашнего уюта, были послушны, воспринимали все безропотно, будто затаились от всех и вся для экономии душевных сил в ожидании худшего... Баржа была перегружена. Из-за тесноты Лиза ночью в полусне свалилась с верхней палубы вместе со своим ребенком. Сына она удержала на себе, но сама сильно ушиблась головой.

Приписанных к смерти высадили не на берегу Оби и даже не на ее притоке, а притоке ее притока Васюган — Нюрольке, определив их в самый центр Васюганских болот. Это от Томска более 500 км по Томи и Оби, еще 150 км по Васюгану и около 30 км по речке Нюрольке. Ближайшим населенным пунктом было село Каргасок на Оби, недалеко от устья реки Васюган. Место высыл-

<sup>4</sup> У мужчины по фамилии Черняк жена именовалась — Чернякова. Первый вариант фамилии распространялся на всех членов семьи мужского пола, второй — на всех женского.

ки было очень благоприятно для исчезновения должных умереть по безумной идее, предполагавшей избавление России от самых работящих и памятливых, впитавших в себя всю тяжесть и сладость нелегкого крестьянского труда. Эти «избавители», по-видимому, были уверены, что о запланированных смертях с этого гиблого места вряд ли когда-нибудь донесутся до потомков даже слухи...

Вышедшие на берег, не понимая еще до конца, что с ними случилось, неподвижно стояли, глядя на отходящие катер и баржу. Когда они совсем скрылись из глаз, когда было осознано, что их бросили и помощи ждать неоткуда, в толпе несчастных начался ропот, а местами плач и даже крик, что, в общем-то, было проявлением жизни, но жизни другой, жизни в предчувствии смерти...

Вся масса прибывших разделалась по семьям. Группой Черняков стал распорядиться старший из сыновей Софьи, Николай. Он был молод, полон сил и его вовсе не парализовала близость смертельной опасности. Живой должен жить! А чтобы жить, нужно вертеться. Прежде всего, чтобы успокоить людей, надо срочно занять их делом. Осмотревшись, он выбрал для пристанища участок берега повыше. До вечера было еще далеко, а с дороги положено попить чайку. Послав младших «мужиков», Трофима и Васю, собирать хворост и сушняк, сам он сообразил очаг в виде двух сучковатых опор и перекладины. Топорик и нож лежали в сумке для вещей малыша. Топорик был тут же насажен на топорнице в виде палки подходящего размера, обработанной ножом. Достали ведро, через какое-то время разгорелся костер, и вскипела вода. На заварку пошли свежие листья смородины. Неплохо бы какую-нибудь нагрузку к чаю. Матрена Максимовна выделила всем по сухарю...

Теперь нужно было устраиваться на ночлег. Шалаш на скорую руку — две опоры с перекладиной, на которую набрасываются молодые березы и ели, и мелкие ветки берез и хвойные лапы на постель...

Уже в сумерках, перед сном, старушка раздала всем еще по сухарику.

Первые недели ссыльные были предоставлены самим себе, и некоторые уже тихо умирали. Сначала шли в мир иной маленькие дети и женщины преклонных лет. Наша ссыльная семейка была осколком дружной семьи, скрепленной желанием и навыками проливать пот — это было у них как бы обычаем и даже не способом выжить, а самой жизнью. Природа щедра, и сибирская тоже. Лес, река могут прокормить и одеть человека. И счастье их и удача были в том, что среди них имелся паренек, который в свои шестнадцать лет был уже не только вполне состоявшимся мужиком с навыками и сметкой земледельца и строителя, но и обладал отменными талантами охотника и рыболова.

Поскольку ссылка началась в пору роста съедобных трав и в период гнездования птиц, то спасением был подножный корм и все, добытое разорением гнезд (яички, выводок, иногда застигнутые врасплох взрослые особи). А у нашей ссыльной семьи, кроме того, регулярно была еще хоть какая-то уха. Рыболовные снасти? Уходя в ссылку, Николай смог прихватить с собой не только их (кроме всего необходимого для удочек, был припрятан и бредень), но и моток проволоки на петли для зайца, конский волос на силки для рябчиков и небольшую лопатку.

Но вот наконец недалеко от лагеря ссыльных появился пост, или контора. Был построен небольшой дом, где поселились надсмотрщики, и другой — столовая со складом для продуктов.

Вскоре было объявлено о предстоящих работах. Все взрослые должны были заниматься раскорчевкой леса под будущую пашню и устройством землянок на зиму. За невыход на работу запирали в специально построенном сарае.

Ссылным полагалось пропитание: 50 г молока в день на ребенка и 200 г муки на работающего. (Иждивенцам ничего не полагалось, кроме упомянутого молока для детей.) И пропитание, действительно, выделялось! Правда, до ссыльных доходило не сразу и не все. Соль вообще считалась в Нарыме за излишество или роскошь, ее кучи остались в Томске у пристани и вблизи железнодорожных вокзалов, и никто не собирался доставлять их в Нарым. По мизерным нормам питания и по недвижно лежащим запасам соли в Томске можно судить, что местные власти правильно понимали намерение власти центральной: ссыльные были приписаны к смерти, и затягивать дело не следует.

Естественно, что Лиза тоже выходила на работу, чтобы получать свой паек. Пока Софья и Лиза отбывали трудовую повинность, все дети, в том числе и грудной Илья, оставались на попечении Матрены Максимовны. Конечно, Дуся была её большой помощницей.

Надсмотрщики, кроме учета труда, вели учет умерших. Они составляли поименные списки усопших с указанием причины смерти. Причины не отличались разнообразием — это были исключительно «голод» или «болезнь». Диагнозы ставить было некому из-за отсутствия медицинской службы. Списки умерших регулярно посылались в центр. Судя по обширности списков и по реакции на них центра, точнее по ее отсутствию, можно сказать, что все шло в соответствии с правительственной программой...

Шло время, уже разгоралось лето. Было ясно, что тех, кто переживет его, будет ждать зима, долгая сибирская зима с ее холодом и голодом, а затем — затяжная нарымская весна с разливом рек и расширением болот, что сделает практически невозможными охоту и лесной промысел в этот период. Поэтому с лета и осени нужно было запастись едой на полгода вперед. В основном это была сушеная рыба, грибы и ягоды, но удавалось немного подвялить и мяса, подвесивая противень над слабым костром. Каждый божий день нужно было не только что-то съесть, но и припрятать про запас. Значительную долю запасов составляла брусника и кедровый орех.

Николай и Трофим по утрам уходили рыбачить, чтобы днем побродить по лесу. В первых своих походах Николай старался отмечать в памяти отдельные деревья или их сочетания, имеющие «особые приметы», которые могли бы служить ориентирами, позволяющими найти нужное место или не заблудиться. Он также запоминал еле заметные тропы лесных жителей и направление полета водоплавающих птиц. Николай исходил все вокруг на день пути, иногда ночуя в лесу. Он знал расположение всех проходимых и непроходимых болот, знал все ближние и дальние озера, ягодные и грибные места, а также кедрачи. Он всегда возвращался с дарами леса, иногда с молодняком птиц или рябчиком. Да, рябчики иногда попадались в петельки силков.

Немаловажным средством охоты были ямы, устроенные на звериных тропах или вблизи нор. В них попадались молодые зайчата, птенцы, только что покинувшие гнезда, барсуки. Иногда очень удачливой была охота на токующих глухарей...



Идя на промысел, Николай никогда не брал с собой ничего съестного — что-то всегда находилось по пути. Конечно, бывало, что он голодал. Но он заметил, что если не поесть два дня, то чувство голода исчезает, и какое-то время, исчисляемое иногда днями, есть не хочется.

Выход на промысел стал для Николая необходимым и почти ежедневным делом. Уходил к уже известным, «своим» местам. На случай дождя у него был плащ с капюшоном и резиновые сапоги. Дождливая погода иногда даже способствовала удаче. Шум дождя позволял поближе подкрасться к добыче.

Не все были так предусмотрительны, отправляясь в ссылку. Да и у многих семей не было взрослеющих сыновей-кормильцев. Обживаемый поселенцами берег Нюролки наполнялся трупами тех ссыльных, хоронить которых было некому. Шалаши приходилось переносить дальше и дальше вверх по течению... Надсмотрщики время от времени заставляли ссыльных закапывать умерших в большие ямы, а если трупов было мало, они сами сбрасывали их в реку...

Между тем нужно было готовить зимние квартиры. Стандартным жильем для спецпоселенцев в Нарыме были бараки на сто человек. Но их строили только тогда, когда ссыльных поселяли вблизи сел, то есть в более-менее цивилизованном месте. Здесь же было глухое, дикое безлюдье, здесь люди уподоблялись кротам, а кроты живут, зарываясь в землю... Землянки! Работа по их строительству была как трудовая повинность, наряду с вырубкой и раскорчевкой леса. Женщинам выдавались лопаты и топоры, которые должны были сдаваться в конце рабочего дня.

Землянка так землянка, не дом, но место жительства. Стены ее укреплялись частоколом молодых берез, потолок закрывался горбылями, земляной пол устилался сухой листвой и травой, из мебели сооружались только нары. К осени были поставлены круглые, как бочки, железные печки. Дрова заготавливали сами, кто как мог. Поскольку в морозы нужно было топить утром и вечером, а зимой добывать дрова не так-то просто, многие замерзали.

Зимой тоже можно было добывать в лесу дичь. Речь, правда, могла идти разве только о зайцах, которые, вытаптывая тропы в снегу, не сворачивают с них более и попадают в расставленные петли. Река продолжала и зимой давать свежую рыбу, благо был топорик, которым можно было прорубить лед.

Зимой Николай выходил на промысел в снегоступах из ивняка, какие он делал и в Журавке. Спасение от холода — в теплой одежде. А если теплых вещей нет? Тогда должно быть несколько простых одежек, но минимум две. В холодную погоду нужно было хотя бы одного члена семьи одеть для возможности выйти на улицу, чтобы промышлять. У нашей семьи были валенки, шапки и даже один полушубок. Конечно, случались морозы до пятидесяти градусов и больше, когда и полушубок мало помогал. Но сильные морозы продолжались обычно не более трех-четырёх дней подряд...

Надо сказать, журавским ссыльным не было милости ни с какой стороны. Ссыльных из других областей России, даже из соседней Омской области, селили именно в населенных пунктах или около, так что можно было пользоваться магазинами... Для них строили бараки. А некоторые жили даже на квартирах

местных жителей! И перед высылкой им разрешали брать запас продуктов не только на дорогу. Известен такой случай. Одно из поселений спецпереселенцев голодало в ожидании очередной баржи с продуктами. Наконец баржа прибыла. Однако к разочарованию всех, в том числе и надсмотрщиков, она была забита не продуктами, а новыми спецпоселенцами. Но при разгрузке оказалось, что у этих ссыльных было прихвачено с собой столько продуктов, что их хватило для поддержания жизни всех в этой колонии в течение достаточно большого промежутка времени — до прихода баржи с продовольствием! На особом положении, кажется, находились ссыльные поляки и прибалты. Им разрешали брать с собой довольно большой скарб, так что его приходилось везти отдельно в товарных вагонах и далее на баржах или больших лодках.

Разрешение на перевоз большого запаса вещей и продуктов, по-видимому, касалось только ссыльных, которые должны были «обживать новые территории». Спецпоселенцы же из Томской губернии, по-видимому, должны были не обживать, но *удобрять* территорию. С ними проводили эксперименты на выживание. Ведь интересно же знать, сколько люди могут протянуть в самом гиблом месте практически без всякой поддержки. И не просто люди, а самая слабая и беспомощная их часть — женщины и дети. Да, велась статистика умерших по возрастам: сколько дней или месяцев протянули дети до 3-х лет, сколько — до 10-ти, до 16-ти... и женщины такого-то и такого-то возраста... Такая скрупулезная статистика говорит о том, что в действительности со спецпоселенцами проводился эксперимент на выживание. По этому учету смертей следует, что преимущественно гибли дети: после года пребывания в ссылке 75 из 100 умерших — дети, хотя они составляли первоначально около половины всех высланных. Но бывало и так, что умирали взрослые, оставляя детей сиротами. Часть их, не успевших уйти в мир иной вслед за родителями, помещали в детдома. Ближайший детский дом был устроен в спецпоселении Усть-Чижалка, расположенном на реке Васюган. Это где-то километров за 70.

Смерть продолжала косить, прежде всего, самых маленьких, но и самых пожилых, конечно. Матрена Максимовна умерла по весне 1932 года...

Шел уже второй год прозябания семьи Степана Ильича в Нарыме. Весной, когда вода спала, Николай возобновил свой лесной промысел. Софья и Лиза работали на некотором подобии пашни, которую женщины распахали и засеяли рожью, чтобы урожай по осени сдать государству. Но это была просто трудовая повинность, потому что толку от этой пашни никакого быть не могло — по причине сырой и тяжелой земли, а также учитывая число голодных глаз, вззирающих на наливающиеся колосья. После кончины Матрены Максимовны Софья и Лиза, выходя на работу, уже оставляли детей одних. Поскольку Николай постоянно был занят добычей пищи, а Трофим стал непослушным и своенравным ребенком, «дом» и меньшие дети оставались под присмотром Дуся, которой было уже четырнадцать лет. В помощь ей был определен Василий — он охотно присматривал за маленьким Ильей.

Известий о муже Лиза не получала. Но жить надо! Нельзя отчаиваться! Бог терпел и нам велел...

## Арестант

О высылке своих родных Степан Ильич узнал летом 1931 года, списавшись через одного вольнонаемного с Василием Кошарным. Он был потрясен, и его расстройство усилилось, когда сибиряки-охотники рассказали ему о месте высылки как о совершенно безлюдном и гиблом из-за болот. Несколько дней Степан Ильич, представляя картины смерти своих близких, приходил в отчаянье от бессилия сделать что-нибудь для их спасения. Успокоение приходило на тяжелых работах по валке леса. По крайней мере, это отвлекало от горьких дум как непосредственно при работе, так и после, когда организм звенит от перенапряжения.

Весной 1931 года Степана Ильича из Каргатского лесничества перебрасывают на рытье котлована под Кузнецкий металлургический комбинат. Он откровенно жил и работал, уже не пытаясь обращаться за помилованием... При пересылке сюда ему добавили в личную карточку политические обвинения, которые, в общем, тянули на расстрел: агитацию против мероприятий советской власти и вредительство.

При рытье котлованов в основном применялся ручной труд. Основная тяжесть земляных работ ложилась на плечи «бывших кулаков и подкулачников». Тысячи таких людей день и ночь работали на склонах огромного котлована, перебрасывая землю все выше и выше, а уже на поверхности ее с помощью лошадей развозили вольнонаемные.

Кормили хорошо, положены были и какие-то деньги. Степан Ильич, не сильно напрягаясь, работал за двоих. За работой землекопов с интересом наблюдали американские специалисты<sup>5</sup>. Иногда они кидали сверху сигареты и громко смеялись, глядя, как землекопы старались опередить друг друга, чтобы подобрать драгоценное зелье. Однако Степан Ильич в этом не участвовал и смотрел с нескрываемым презрением на тех, кто ведет себя по-собачьи. Это вызывало раздражение у окружающих. Самый накрученный из них решил высказаться перед Степаном Ильичом по этому поводу.

— Ты что, самый умный у нас? По-моему, ты тупой, как упрямый вол, ты можешь только, как крот, рыть землю...

Что бы он еще мог сказать — неизвестно, потому что Степан Ильич отмахнулся от него лопатой, так что наезжавший свалился с ног. Этого человека он больше не видел рядом с собой.

Продолжая работать на рытье котлована, Степан Ильич был даже, можно сказать, горд своим вкладом в «великую стройку» и ощутил невольное удовлетворение, когда его лопата коснулась, наконец, коренных пород, вскрыть которые требовалось по проекту. Это было на глубине за сто метров. Увлечение работой продолжало быть способом ухода от горьких дум.

Но в минуты отдыха отсутствие даже проблеска надежды на освобождение начинало утомлять и злить Степана Ильича. Трудно предположить, чем бы кончились переходы от состояния отрешенности до паники и трудно сдержива-

<sup>5</sup> Кузнецкий (с 2003 г. — Новокузнецкий) металлургический комбинат строился по проекту и под наблюдением специалистов американской фирмы «Фрейн» с использованием оборудования, купленного за границей. Строительство продолжалось с 1929 по 1932 г.

емого возмущения, если бы не сочувственное отношение к нему одного осужденного, бывшего учителя. Это был пожилой уже человек. Он вел учет земляных работ. Для арестантов он был как отец. Он помогал им писать прошения о реабилитации, разясняя тем, кто упал духом, скрытое значение бумаг и вселяя надежду на освобождение. Какой суровой ни казалась бы советская власть, она, во-первых, предоставляет право оправдываться. Писать прошения и жалобы не запрещается. И эти бумаги, как ни странно, не пропадают в столах чиновников — они в обязательном порядке регистрируются и рассматриваются в соответствующих инстанциях за, в общем-то, предписанное законом время. Во-вторых, мир не без добрых людей — нужно надеяться, что твои послания попадут в добрые руки. Ходили слухи, что вроде уже вышло постановление о воссоединении лишенных прав со своими сосланными семьями. И старый учитель убеждал поникших в горе арестантов отправлять властям теперь не только просьбы о помиловании, а просить о воссоединении с семьями. Заявления и просьбы на этот счет он писал сам и отсылал их в Запсибкрайисполком...

Умирая, этот добрый человек оставил записки — несколько тетрадей, в которых подробно описывал все происходившее с ним, и очень хотел, чтобы его записки не пропали. Кажется, он передал свои тетрадки одному вольнонаемному, некоему Третьякову.

И вот случилось чудо! Степану Ильичу и многим другим разрешили воссоединиться со своими семьями! И доставить их сюда... в место их ссылки... Это случилось в сентябре 1932 года.

С первой партией, в которую включили и других журавских, Степан Ильич был направлен по этапу в Томск. Журавские — это его друг Петр Литошенко (брат Николая Литошенко, приговоренного к расстрелу вместе с отцом Степана Ильича) и прославленный на весь Барабинский край рыбак Николай Попов.

Группу «отпускников» довели до Томска, но там вдруг оставили для строительства каких-то складов. Это было слишком... Вскоре ночью часть из них, семь человек, в том числе все журавские, ушли без разрешения, попросту — сбежали, прорезав дыры в палатках. Руководил ватагой Николай Попов. У реки им удалось найти большую лодку. Плыли ночами.

Надо сказать, Бог им помогал: был уже октябрь, но холодов еще не было! Так что отважные путешественники даже по ночам не очень мерзли в своих ватных фуфайках. Питались они тем, что могли найти в лесу и поймать в реке. В окрестностях населенных пунктов удавалось иногда напиться молока — встречались сами по себе пасущиеся коровы.

Между тем Нарым приближался. Прийти ни с чем к своим голодающим родным главы семейств не могли, а поскольку у каждого из них были какие-то деньги, то по пути, приставая иногда у прибрежных сел, они смогли приобрести кое-какие продукты у местных жителей (магазины во встречаемых поселках были пустые или их не было вообще). Самым ценным была мука или лапша, а также мыло, табак и спички.

И вот беглецы на Васюганье! Трудно описать волнение ссыльных, вдруг увидевших — после полутора лет пребывания на краю смерти — увидевших на пороге землянки живого и здорового своего сына, мужа, отца! Семья Степана Ильича радовалась, чего не скажешь о самом Степане Ильиче в тот момент,



когда он увидел голодных и худых своих родных, прозябающих в тесноте сырой землянки. Но они были живы! Все, кроме Матрены Максимовны... Вечная ей признательность и память.

Вывести семью Степану Ильичу сразу не удалось, потому что не было okazji: реки вскоре по его прибытии стали. Предстояло зимовать, а значит, как-то нужно добыть пропитание.

Следовало предпринять что-то значительное, весомое, и Степан Ильич уже решил, как он поступит.

В самом начале зимы он нелегально покинул поселок, прошел до реки Васюган и далее по ней до Усть-Чижапки. В Усть-Чижапке был поселок спецпоселенцев, заброшенных сюда одновременно с теми, кто был выслан на Нюрольку. Здесь Степан Ильич переночевал у одного ссыльного, вместе с которым они добирались до Нарыма из Новокузнецка.

Уже следующим днем через поселок проезжал санный обоз, и Степан Ильич договорился с извозчиками за небольшую цену добраться с ними до Томска. Он представился жителем Томска, явившимся сюда, чтобы проведать родных. Впрочем, когда ты щедрой рукой угощаешь махоркой, становится неважно, кто ты и откуда.

Степан Ильич легко вошел в компанию извозчиков, устраивался вместе с ними на ночлег в селениях по пути, где они вместе кое-чем ужинали. С ними он обсудил вопрос покупки за небольшую цену лошади с санной повозкой в одном из сел по пути. Мужики допускали такую возможность и обещали посодействовать. Да, бывает, что крестьяне избавляются от лошади перед вступлением в колхоз или продают за любую предложенную цену колхозных, пребывая в оном.

Уже вблизи Томска, в селе, где обоз остановился на последнюю ночевку, Степану Ильичу удалось осуществить первую половину своего плана: он стал обладателем лошади с санной повозкой...

В Томске Степан Ильич оставался недолго. В ближайшую же ночь, загрузившись мешком соли, которую ему удалось набрать из ее россыпей на пристани, Степан Ильич отправился в обратный путь. Вскоре он нагнал обоз, направляющийся в Нарым.

В Усть-Чижапке он был предупрежден, что «на Нюрольку приехали комсомольцы и строго смотрят дисциплину».

На подъезде к спецпоселению Степан Ильич, насколько мог, проехал в лес, бросил сани и, заведя лошадь в глубь леса, сумел ее завалить... У него были для этого топор и нож. Он разделал тушу и, прихватив с собой часть конины и часть соли, припрятал все остальное в труднодоступном месте, придавив тяжелыми корягами. В течение зимы Николай с рюкзаком за плечами регулярно уходил «на охоту», возвращаясь всегда с добычей... Лошади хватило до весны.

Где-то в мае прибыли вербовщики рабочих на рытье канав для водопровода в Прокопьевске... Это было так кстати! Наши ссыльные весной 1933 года покинули зловеший Нарым.

Степан Ильич с семьей стал жить в одном из барачных на территории Прокопьевской районной комендатуры. Радость освобождения из нарымского ада омрачилась смертью Софьи, она умерла вскоре по прибытии в Прокопьевск.



Работа на водоканале состояла в копке канав двухметровой глубины. Лиза тоже была устроена на работу, но Степан Ильич копал и за себя, и за нее. Кормили супом из капусты один раз в день и выдавали немного хлеба, но этого было совершенно недостаточно. Приходилось ночами тайком покидать территорию комендатуры, чтобы пожить на картошкой или капустой на полях подсобных хозяйств. Это ловко делал Трофим, подлезая под колючую проволоку.

Перебравшись в Прокопьевск, Степан Ильич шлет заявление в краевую избирательную комиссию с просьбой восстановить его в правах. И вот в ноябре 1933 года избирательная комиссия удовлетворяет его ходатайство! Он восстановлен в правах! Ему и Лизе в течение месяца были выписаны паспорта. Правда, с отметками о их пребывании в ссылке...

Краевая комиссия рассматривала дела отца и сына в совокупности. Собственно, своим постановлением Краевая комиссия объявляла о реабилитации Ильи Яковлевича, а восстановление в правах его сына было просто следствием этой реабилитации!

Представляется, что если бы Степан Ильич был уверен, что Илья Яковлевич жив, теоретически он мог бы, воспользовавшись оправдательным постановлением Краевой комиссии, добиться его освобождения. Но реалии были таковы, что, во-первых, сама эта комиссия не знала, где сейчас находится ложно обвиненный, или делала вид, что не знает. В оправдательном постановлении об этом говорится так: «По заявлению жены Софьи, ее муж Илья взят ГПУ и неизвестно где находится...» Во-вторых, как следует из экономической политики тогдашних властей, «кулаков» забирали не потому, что они преступники, а потому, что у них такие руки, которыми можно не только запросто рыть котлованы стометровой глубины, но даже, если говорить фигурально, удерживать небо, то есть обеспечивать благополучную жизнь в стране. Крестьяне в веках были опорой России. Именно среди них были люди, подобные атлантам, которые «держат небо на каменных руках».

\* \* \*

А вскоре небо над Россией опять покачнулось.

И опять удержали его атланты — «не боги, человеки, привычные к труду», говоря словами той же песни.

В армию Степана Ильича призвали в 1943-м. Уже на фронте, перед окончательным распределением по частям, произошел такой эпизод.

Перед шеренгой новобранцев появился офицер, в котором с первого взгляда угадывался бывалый фронтовик. Осмотрев строй, он приказал бывшим ссыльным выйти вперед. Степан Ильич недоумевал: зачем здесь, в действующей армии, продолжать это бессмысленное разделение на идеологически «чистых» и «нечистых»? Но требуемые три шага вперед сделал. Таких, как он, оказалось несколько. Офицер всех забрал к себе — в полковую разведку. Боевой опыт подсказал ему, среди кого следует искать самых крепких телом и духом.

Гвардии старший сержант Степан Черняк провоевал в разведке до самой Победы. Домой вернулся кавалером двух орденов Славы — высшей солдатской награды Великой Отечественной.

Александр БОЙНИКОВ

## ГОЛГОФА ИЛИ ВОСКРЕСЕНИЕ?

*Размышления над прозой Василия Киякова*

«Есть какая-то особенная торжественная грусть в этой серединной Руси, тоска обреченного, влекомого промыслом русского по своему голгофскому пути, влачащегося весь долгий свой век или короткий, — русского, всего лишеного, веками. Даже и простой почтовой связи с миром. Это общая и одновременно частная дорога для каждого и для всех вместе — это именно голгофа России», — пишет Василий Кияков в новой книге «Посылка из Америки»<sup>\*</sup>.

В этих пронзительно безотрадных словах бьется, словно оголенный нерв, боль русского писателя. Боль за Россию, за ее скрытое пеленой неизвестности будущее и абсурдное настоящее...

\* \* \*

В центре прозы В. Киякова — русская деревня; точнее, ее беспросветный быт в постперестроечной России — с великим приватизационным облапошиванием, лавиной криминальных убийств, обесцениванием жизни человека, тотальным разграблением государственной собственности, разгулом безнравственности под лозунгом всеобщей свободы и захлестнувшим все еще огромную страну катастрофизмом разума и души. И с переходом в годы нынешние — «апогей этой самой “демократии”».

<sup>\*</sup> Кияков В. В. Посылка из Америки: рассказы, повести. — М.: ИПО «У Никитских ворот», 2018. — 552 с.

Достоверность его повестей и рассказов — фактическая и психологическая — подкреплена большим личным опытом, кровной, «самой смертной» связью с деревенским миром (именно так!). Однако это вовсе не означает, что писатель механически перенес на бумагу увиденное и услышанное; под его пером отдельные случаи или ситуация обобщаются, позволяя разглядеть в текущей повседневности ее глубинную бытийную сущность, а судьбы отдельных людей проецируются на исторические судьбы государства. Само бытописание, часто развернутое в сочных этнографических подробностях, отражает и даже возводит в символ острейшие проблемы российской современности:

О хлебе же — невольно думалось мне, и все чаще. Хлеб для России — нечто большее, чем просто хлеб. Какая-то мистическая тайна связывает нас с хлебом, этим «телом Христа, за нас ломимым». <...> ...Этот хлеб, кроме всего, что сулил он: сытость под кружку молока или меда, — был все-таки не просто хлебом, а неким смыслом жизни, символом заботы о людях, о деревне, мостом отсюда — в центральную, в район. Хлеб везут — значит, помнят, думают...

Обаятельный либеральный диалектик тут же возразит: так то раньше, а сейчас... А что сейчас? Все по-другому, лучше? Деревня воспрянула духом, оставшиеся в ней крестьяне встали на ноги, мо-

лодежь из городов возвращается к труду на земле или самоотверженный фермер досыта накормил страну? Никоим образом.

Разрушение русской крестьянской цивилизации, начавшееся благодаря пресловутой концепции «неперспективных деревень» еще до т. н. перестройки, пошло затем семимильными шагами и сегодня продолжается под иезуитским крылом «оптимизации», означающей закрытие сельских школ, библиотек, клубов и медпунктов со всеми вытекающими последствиями.

Самый яркий для меня пример — моя родина, Тверская область, где когда-то добротные, а ныне заброшенные, ветшающие или разгромленные сельские дома укоризненно смотрят пустыми глазницами окон на денно и ночью ревущую автотрассу между двумя столицами. А по обеим сторонам магистрали федерального значения, всего пару-тройку километров вглубь и далее — поруганные и до сих пор не восстановленные храмы, десятки окончательно вымерших сел и деревень, не нужных даже заевшимся московским дачникам...

\* \* \*

«Деревенская проза», расцвет которой в русской литературе выпал на 1960—1970-е гг., видела в деревне истоки народной нравственности, оплот истинной духовности — «материнское лоно, где зарождался и складывался наш национальный характер» (Ф. Абрамов).

Василий Киляков развивает эти традиции, только деревня-то в XXI в. другая — умирающая и деградирующая, прежде всего, материально: жители в прямом смысле отрезаны от остального мира. Бездорожье почти круглый год, автолавка, приезжающая раз в неделю на центральную усадьбу колхоза (а до нее еще топтать пешком несколько километров — зимой по непролазным сугробам, весной и осенью — по грязи, летом — под

палящим солнцем), постоянный дефицит хлеба (на всех его часто не хватает), отсутствие почты, медицинской помощи, длительные перебои с электричеством, словом, «разруха, как от бомбежки». Даже тех, кто «отмучился», хоронят тут по-крестьянски просто, без всяких формальностей в казенных учреждениях.

Книга В. Килякова изобилует подобными безрадостными картинками (по стилистике иногда приближающимися к очерку), и они — коллективный приговор, более того — обличение существующего отношения власти к деревне:

Дядя Андрей, с его многочисленным семейством, всю жизнь проработал за «палочки», за трудовни. В кузнице он работал вместе с супругой, тучной и всегда веселой. С ней, как шутил он сам, навострил, наклепал семерых детей, после его смерти разбежавшихся по городам. Тогда селянам было трудно, мучительно-голодно. Но деревня жила и боролась, теперь в этих снежных ометах, кажется, невозможно существование даже и самого духа русского. Все поля, засеваемые тогда гречей, подсолнечником, луком, картошкой, рожью, — все заросло не то что бурьяном, а уже и березняком невообразимой густоты, так что отсюда, из деревни, поле похоже на занесенное снегом каменистое предгорье...

От обыденной реальности — емко раскрытой истории одной работающей семьи — повествователь органично переходит к типизации, подкрепленной собственными оценочными размышлениями; деревня для него уже не конкретный населенный пункт, а воплощение родной сельщины, откуда исчез бессмертный русский труд сеятеля, а вместе с ним до предела истончилась и вот-вот уйдет и духовность.

Такая манера изложения, внешне спокойная, но наполненная внутренним приглушенным отчаянием, сдержанной, но не срывающейся в эмоциональный

перехлест надрывностью, дает писателю возможность избежать прямолинейности, навязывания своего взгляда, и одновременно убедить читателя в правде изображенного и правоте сказанного, чтобы заставить его задуматься: «Почему так происходит?»

\* \* \*

Идейной и эмоциональной доминантой книги стала повесть «Последние», в тональности которой звучит явная обреченность:

Две старухи и старик — все, что осталось от жителей Выселок. Святочные метели замели подворья, задичавшие сады, пепелища, заброшенные избы.

<...>

Корни твои, твоих предков высохли здесь. Они не возродятся уже никогда, как не возродятся те поля, те гектары необозримых рязанских полей, сплошь заросших плотным березняком, заполосовавших так, что, как говорится, «и даже уж не проползет», — их не поднимешь теперь, эти земли, ни в три, ни в четыре плуга.

Да и сам автор признается, что пишет «историю доживания и гибели деревни». Однако пока живы Елизавета, Акулина и дед Кузьма, Выселки не умерли. А живы они потому, что больше ничего не остается. Только жить — до последнего рубежа. Как у Василия Белова в «Привычном деле»: «Жись. Везде жись».

Писатель, рискуя вызвать и нападки, и насмешки со стороны духовно опустошенных критиков, описывает явление ему Божьей Матери, которой он поведал мучительные сомнения и раздумья. С литературоведческой точки зрения перед нами — прием психологического анализа, с православной — индивидуальное откровение, утоление печалей и получение нравственного наставления: «Люби и помогай»; в конечном итоге — укрепление в вере. Диалог этот многогранен, обращен

к современным и грядущим поколениям, может быть, неоднозначен, поскольку «вся Россия и прежде, и теперь — выживает». Выживет ли? «И вам сберечь суждено и меч, и хлеб. И возвращать все домой в поте лица своего суждено вам же». Мощный духовно-нравственный заряд, полученный русской литературой от православия еще в XIX в., отозвался здесь чистой нотой...

«Последние» удивительно философичны: онтология России переплетается с антропософскими мотивами — с «великим Замыслом о человеке», «Замыслом о себе», с памятью и ностальгией по малой родине; и строки повести наполняются щемящей искренностью:

Деревня, в которой никого теперь уже не осталось: бабка с дедом давным-давно покинули этот мир, — деревня эта казалась теперь самым реальным, подлинным местом, именно и только тем местом, где стоило жить. И даже более того: имело смысл и было ради чего жить. Жизнь важна не ради самой только жизни — жизни растительной или животной, жизни-подарка. Жизни, «данной нам в ощущении», в осознании, запахах и в замкнутой системе «раздражение-реакция». А важна и необходима именно ради того процесса жизни, кипения ее и переживаний, в которых созреваешь к Небу. Именно так мне и думалось.

Важная функция рассказчика — быть вольным или невольным свидетелем жарких до резкости и ругани разговоров сельчан друг с другом. Их речь отличается естественной «непричесанностью», экспрессивным синтаксисом, оборванными интонациями, обилием сочных, метких и выразительных оборотов и словечек, пословиц и поговорок, которые не только приобщают к тайнам и сокровищам русского языка, но и выражают душу народа.

Следуя полученному завету «пиши о важном», В. Киляков прозревает его и

в национальной самокритике: нынешних стариков «бесстыдно и нагло обворовали, украли молодость, здоровье, любовь, самую жизнь... Но странно, как бы и не было виноватых. "Время было такое..." Работа да борьба. За кусок хлеба, за выживание. Слушая эти споры, невольно приходил я к мрачным выводам, что все эти старики, ровесники века, не видели ни цели своего существования, ни смысла его».

Тщетное долготерпение и смирение или стоицизм высшей пробы?

\* \* \*

Писатель вывел в книге галерею колоритных полнокровных характеров, пожалуй, уже не крестьян, а доживателей, чей век окончится вне городских ультрасовременных технологий, удобств и преимуществ. Переломное время пробуждает в человеке всякое, не только высокое, но и низменное. Таков объездчик Фома Кукин из рассказа «Капитал», холуй, возвысившийся за счет служения новоявленным «хозяевам», матерщинник и богохульник, люто ненавидимый односельчанами и наказанный по закону высшей справедливости.

Противоположность ему — старик кузнец Данила (рассказ «Неугомонный»), любитель музыки. Пока остальные мужики («ровно через молотилку пропущены: излом да вывих») соображают на троих, он, вспомнив прежнее ремесло, открывает в родном селе кормилицу-кузницу. И если кредо Фомы — «Жив не буду, а капитал сколочу, все мне в ноги упадете... Поклонитесь...», то Данила, несмотря на ломоту в пояснице и боль в сердце, идет вечером в кузницу выполнять срочную работу. На ворчание жены отвечает: «Да ведь не для них (заказчиков. — А. Б.) ости-то, для России!» Сразу вспоминается Достоевский: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей»...

\* \* \*

Чем люди живы, люди российской провинции нового тысячелетия? Сохранились ли в их сердцах тепло и человечность, любовь и совесть, светлое или темное начало движет их думами и поступками? Да, такие люди остались — вопреки всему. Курящие и пьющие, но работающие; не скупятся на крепкое слово, но в критических ситуациях руководствуются народной мудростью; пытаются скрасить горькую жизнь, найти в ней пусть не высшую, но приземленную, практическую цель. Запоминаются выразительные образы Тимофея Круглова, тешащего окрестную публику всевозможными байками («Балагур»), Стегней, мастера на все руки («Стегней и Варька»), деда Терентия, вдоволь познавшего ужасную изнанку войны («Последние»)... Одна из ее трагедий — отношение к бывшим военнопленным как к предателям Родины — передана писателем с беспощадной подлинностью («Пленные»). И все они — свидетели бурных, грозных времен, в которых и просвета не припомнят. Вот другой дед — Кузьма, заставший еще коллективизацию, так итожит предшествующие десятилетия: «Ничегошеньки... веселого не было... А только начальство да дерьмо».

Многообразна и россыпь женских натур, большей частью представляющих старшее поколение: они — жены, матери и бабушки — умеют сострадать, житейски неприхотливы, порой ворчливы и даже неопрятны, но внутренне обаятельны; гнутя, да не ломаются. Хотя и озлобленные, мрачные, непривлекательные типажи среди них тоже встречаются. А тяжелая доля русской крестьянки, ведущая свою литературную родословную еще от Некрасова, названа в книге очень емко — «худая жизнь»:

Не с того ли русские женщины в деревнях вечно в черном? Сколько потерь, сколько поморили в войнах и лагерях или

просто с голоду, добиваясь власти, народу и в первую голову деревенского; сколько мужиков самых лучших, отчаянных и молодых сбили с круга отравленной водкой, и носить не износить матерям, сестрам эти черные шушуну и кацавейки, жакеты из черного старинного плюша...

Жестокая правда... Однако есть в авторском восприятии истории деревни крупный подводный камень: как же колхозы-миллионеры, «урожай наш, урожай, урожай высокий», механизация и прочие достижения советского сельского хозяйства, «свадьбы с приданым», развитие на селе образовательной и культурной инфраструктуры, устойчивое транспортное сообщение даже отдаленных деревень с районными и областными центрами? Разве всего этого не было?

Но рассудим справедливо: приметы золотого века советской деревни в книге встречаются, например в повести «Родное пепелище»: «Клуб совхозный каменный, как литой, как крепость, широкий, в два этажа. Их в “застойные” вместо церквей строили на века». Писатель в целом не дает детальных ответов на вопросы, куда это ушло и почему, но стремится вывести на передний план контраст между прошлым и настоящим: «А вот и больничка при школе — все цело, только кинуту. Штукатурка отвалилась, зияла содранной кожей, а под ней — плоть “мясная”, красного кирпича...»

Отношение к миру — и личное, и персонажей — писатель раскрывает через восприятие природы, которая входит в его прозу на правах активно действующего лица. Пейзажи у него всегда психологически насыщенные, вызывают гамму настроений, иногда почти одушевленные. Так, главный герой вышеназванной повести, отслуживший в десантных войсках Антон Волчихин, любуясь цветущими фруктовыми садами, в листве которых играют лучи предзакатного солнца, с наслаждением вдыхая аромат цветущих де-

ревьев, одновременно ощущает тревогу и волнение:

И было другое, противоположное, горестное чувство: сквозь цветущие яблони, вишни, груши там и сям серыми замшелыми тенями печально полулежали дворовые постройки, ни души там, ни голоса. И никто уже не зажжет света в этих домах, а в банях не заблестят светом одинокие оконца. Никогда не соберутся девки на лужок возле бывшей конторы, не запоют хором русскую песню...

Девки, лужок, песни хором — прямо-таки цветной осколок былой пасторали! Которой уже нет и, очевидно, не будет. В когда-то живом, одухотворенном пространстве теперь «ни души... ни голоса». Значит, еще одна частица России при всей наружной красоте духовно омертвела и онемела, и на радостные переливы красок ложится печать грядущего апокалипсиса... Доколе?

Писатель не называет причины охватившего Россию духовного кризиса, в который вверх подавляющее большинство ее граждан дикий капитализм, но зримо и страшно изображает его последствия. У миллионов людей, выросших и воспитанных в СССР, не было иммунитета против заманчивых, но ложных и противных нашему менталитету западных ценностей. Мировоззренческая фальшь, внедряемая в массовое сознание новейшими информационными технологиями, не распознавалась, но быстро деформировала, высмеивала и в конечном счете перечеркнула, разметала и втоптала в грязь прежние величественные идеалы и ориентиры.

И потому орнаментом деревенского бытия стали водочный (а чаще — самогонный) перегар, табачный дым, пренебрежение былым честным трудом, запоздалые сетования на власть... А то и бесшабашность, переходящая в гниль: «Мы не немцы, мы не турки, можем хряпнуть политурки!» На фоне подоб-

ного существования ярко видна и другая жуткая примета эпохи — бесправие маленького человека. Можно утверждать, что с вместе с реставрацией буржуазного общества в нашей стране в русскую почвенническую литературу вернулся и метод критического реализма с его обличительным пафосом, разоблачением общественных язв и хищнической сути «рыночного» переустройства. «Посылка из Америки» — прямое тому доказательство: нищая деревня, обездоленный крестьянин — частые объекты изображения в дореволюционной русской классике.

\* \* \*

И все же В. Килякова нельзя считать приверженцем исключительно одной темы. Он уверенно осваивает иные жанровые модификации рассказа — в «Божьей Шишечке» дан портрет чиновника, получившего всевозможные блага, но разьедаемого губительным скептицизмом, переходящим в цинизм; в «Будьте любезны» — абрис экзистенциального одиночества, а в «Дочери Севера» торжествует романтическая любовь. Чутко, со знанием детской ментальности показана драма ребенка, впервые увидевшего обратную сторону охоты («Именины»).

С болью пишет Киляков и о жутких реалиях т. н. чеченской кампании («Несгибаемый Каюмов», «Худая жизнь») — но, думаю, не стоит дальше обрисовывать каждый сюжет, иначе что останется читателю?

А ему будет чем заняться — как писатель, В. Киляков сделал рискованный шаг, широко распахнув двери в свою творческую лабораторию. В обращении «Благочестивому читателю», где соединились и очерк, и публицистика, и авторская исповедь, в размышлениях над рассказами В. Шукшина «И охладает в людях любовь...» и в интервью «Ищу следы невидимые...» раскрывается его мировоззренческое и творческое кредо. Немало суждений об истории, религии, политике, литературе подчеркнуто полемичны, вызывают желание спорить, и это — привлекательная черта. Наша литература в ее лучших образцах всегда нацеливала на поиски вселенских истин, заостряя вечные вопросы...

И не следует упрекать Василия Килякова в том, что он «вроде бы запоздал с эпитафией погибающей деревне» (М. Лобанов). Его проза не потеряла, а, напротив, усилила свою актуальность, поскольку каждая из поднятых в ней проблем животрепещет, требует срочных и действенных решений — управленческих и финансовых — не на бумаге, а на деле, причем в общегосударственном масштабе. Повсеместная мерзость запустения на искони хлебопашеских российских просторах, экономическое удушение деревни и изоциренное социальное издевательство над ее тружениками, деформация их нравственности от доселе неизвестной безысходности — неумолимая действительность нашего времени, поэтому твердый и гневный голос русского писателя должен быть услышан...



Владимир ЯРАНЦЕВ

## И БЫЛЬ, И СКАЗКА

*Мирошниченко Ю. Непридуманные рассказы и сказки. —  
Новосибирск, 2017.*

Книга новосибирского писателя и драматурга Юрия Мирошниченко делится на две почти равные части: рассказы и пьесы. Деление здесь не только жанровое. В рассказах автор, в отличие от пьес, сам является их героем. Но не все тут так просто, ибо и мемуарную часть своей книги, и вымышленную он объединяет одним словом — «непридуманные».

В трех пьесах-«сказках» под общим названием «Нос» в центре событий — факт, граничащий с вымыслом: у бывшего шахтера Петра Кулаженкова на склоне лет начинает расти нос. На этом, собственно, фантастика и заканчивается, и ничего сверхъестественно-гоголевского не происходит. Нос благополучно остается на его лице, будоража своей величиной родных, знакомых, коллег и далее по цепочке, захватывая, так сказать, все слои населения, вплоть до бизнесменов, врачей, художников, работников телевидения. И если бы сам Петр этого захотел, то через ТВ о нем и его носе узнала бы вся страна, да и весь мир — на то оно и ТВ.

Но герой выбрал другой путь: он стал «думать» («нос заставил меня думать»). Обо всем, от политики с экономикой до сущности идеализма. Так что уже во второй «сказке» действие останавливается, а главные фигуранты «Носа» собираются в бане, споря о насущном и важном. Образ шахтера Кулаженкова — добросовестного, неравнодушного работяги, способного на подвиг (работая в шахте, он с риском для собственной жизни спас попавших в завал) — при этом расширяется неизмеримо. Это уже настоящий интеллигент, мыслитель, читающий не кого-нибудь, а Томаса Манна, что неоднократно под-

черкивается репликами его сына Дениса. Невольная параллель между думающим шахтером «с носом» и одним из крупнейших авторов «интеллектуального романа» XX века дает двойкий эффект. Во-первых, понимаешь всю серьезность случившегося с Кулаженковым переворота. Герои «Смерти в Венеции» и «Доктора Фаустуса» гибнут физически и душевно в героических попытках постичь сложность мира в одиночку, уповая только на свое гениальное «Я». Финал «Носа» тоже вполне трагичен: избавленный от длинноносости, герой оказывается на грани отчаяния и помешательства.

А во-вторых, столь же отчетливо понимаешь комизм подобного умного чтения в обстановке вполне прозаической, житейской. Здесь жена-повар Нина стоит на страже домашнего благополучия, ее брат Николай, глава поселковой администрации, занимается бытовыми проблемами жителей, а сын Денис, столь иронично констатирующий увлечение отца Т. Манном, не склонен усложнять мир всяческими «надстройками» над бытием. Он-то в конечном счете и организует насильственную операцию Кулаженкову, хотя и не без кармических последствий для себя.

Так, наряду с Т. Манном, Платоном, Сократом, у которых он заимствует «идеал сильного, но обязательно простого человека», живущего «в гармонии с обществом и окружающей природой», в пьесе неизбежно начинает присутствовать С. Довлатов и его дух «только рассказчика». И хотя в самом конце произведения автор являет нам Н. В. Гоголя «в обнимку» с ассессором Ковалевым, С. Довлатов кажется здесь уместнее. Хотя бы потому,



что нос в одноименной повести Гоголя существует сам по себе, в ином измерении, символизируя мечты и фантазии Ковалева в гротескно-кошмарно-комической форме. У Ю. Мирошниченко разросшийся нос, оставаясь на лице героя пьесы и в «этом» измерении, куда более реален: сам автор сообщает в предисловии о прототипе Кулаженкова, написавшего ему некогда письмо. В первую очередь это комично и настраивает читателя на развлекательное чтение. И только затем понимаешь, что Петр — персонаж далеко не комический, и сквозь «носовой» фарсовый юмор начинает проступать нечто весьма серьезное — целый клубок проблем современной России, от педофилии («сквозной» образ начальника ЖКХ Хомченко) до «назначенных» и доморощенных олигархов (Тиньков, к которому носатый Петр обращается за помощью).

И надо обязательно знать, что эта книга — продолжение ранее изданных «Непридуманных пьес» Ю. Мирошниченко в двух томах. Там не раз можно увидеть эту взаимообусловленность и взаимопереход серьезного и комического, когда избыток сил героев, их несоразмерно высокие запросы в условиях «низменного» житейского быта и бытия оборачиваются анекдотом. В одной такой пьесе речь идет об эвтаназии, о которой деревенские жители говорят едва ли не с юмором. Такие пьесы обычно называют трагикомедиями или трагифарсами, наподобие пьес Н. Эрдмана. У Ю. Мирошниченко, однако, не все так «классично», литературно: очевиднее народный, даже простонародный характер его драматургии, и в «Носе» он достигает апогея. Выросший нос его героя буквально объединяет, организует местный социум (включая телеведущего Игоря, в пылу общения забывающего о съемках сенсационной операции) вокруг злободневных вопросов человека и человечества. И вот уже с пафосом народного трибуна (в пику демагогу и популисту из Госдумы Фердыку Бресентовичу Мараксари) Кулаженков говорит: «Нам нужны качественно другие люди. Но не те полумошенники, полуворы, которых

держат на крючке, чтобы ими легко было управлять... — нужны люди думающие, а главное — осознающие себя. Живущие не только сердцем, но и башкой».

Поэтому так трудно назвать эту трилогию с названием кратким «Нос» «сказкой». Несказочного, вполне реального в ней больше, но автор бескомпромиссен. Этот казус с жанром волей-неволей отражается и на прозаической части книги. Если в первых двух рассказах «Драматург» и «Талант, или Несколько слов о матах» больше документально-автобиографического, чем анекдотического, то в следующих двух — «Выборы в Верховный Совет РСФСР V созыва в марте 1959 года» и «А что с Пушкиным-то?» — верх берет юмор довлатовского толка, потешающийся над абсурдом советских политических ритуалов. И, наконец, пятый рассказ, а скорее повесть — «Министр Братченко» — выступает каким-то сплавом мемуарно-анекдотического, заставляя даже усомниться в стопроцентной реальности истории о том, как Ю. Мирошниченко поступил-таки во ВГИК.

Тут-то, наверное, и «зарыта собака»: во всех его произведениях есть что-то от сценариев, а значит, и от кино — искусства, не терпящего абстракций, празднословия, пустот и длиннот, самого демократичного и нескудного, почти площадного.

Но Ю. Мирошниченко не был бы самим собой, если бы остановился на каком-то одном жанре, герое, авторитете. Как и его Кулаженков, он не хочет быть похожим ни на кого. Ю. Мирошниченко по-русски, по-сибирски широк: жить и творить спокойно, чинно, стабильно, т. е. застойно-замшело, ему не по нраву. Не зря и непоседливый герой «Носа» не говорит, а чеканит: «Хочется жить, а жить стыдно» — за себя и за страну. Потому-то и не вменяется Кулаженков в уклад жизни олигархической России ни в чем и никак, даже своим гомерическим носом. И потому Юрий Мирошниченко, несомненно, запомнится своей книгой — не гладкой и причесанной, а, наоборот, размашистой и непредсказуемой, дающей пищу уму и сердцу.

**В. М. Шукшин: библиографический указатель.** — Барнаул: АКУНБ, 2018. — 637 с.

Указатель подготовлен специалистами Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова и издан в рамках реализации издательских проектов Научно-консультативного совета по издательской политике при губернаторе Алтайского края. Большую помощь в его подготовке оказали сотрудники Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина, Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая, Российской национальной библиотеки, исследователи творчества В. М. Шукшина из ведущих вузов России и зарубежных стран.

В издании с максимальной полнотой собраны и систематизированы материалы с 1958 по 2017 г. на 52 языках мира. Это около семи тысяч библиографических записей.

В указателе три основных раздела: «Произведения В. М. Шукшина», «Литература о жизни и творчестве», «Памяти В. М. Шукшина». В нем отражены сведения о монографиях, сборниках, авторефератах диссертаций, материалах научных конференций, учебных пособиях, аудиовизуальных и электронных документах, статьях из сборников, центральных, краевых и местных периодических изданий. Издание снабжено вспомогательными указателями: именованным указателем; указателем заглавий литературных произведений и фильмов В. М. Шукшина и произведений, созданных на их основе; указателем языков.

Издание адресовано ученым и исследователям, филологам, лингвистам, киноведам, театроведам; специалистам музеев и библиотек.

*Информация предоставлена отделом краеведения Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова*

**Главное, ребята, сердцем не стареть! Экскурс в комсомольскую юность. Новосибирская область. 60—70—80-е годы XX века.** — Новосибирск: Сибирское книжное издательство, 2018. — 712 с.

В год столетия ВЛКСМ в Новосибирске выпущен сборник воспоминаний о комсомольской организации города и НСО. Комсомол, как считают создатели сборника (среди которых клуб «29 октября», комсомольский актив и администрация Новосибирской области), не просто часть советской истории. Это уникальный общественный феномен, который заслуживает пристального и тщательного исследования. Книгу открывает историческая справка об образовании и работе Союза молодежи в области в целом, далее материалы распределены по разделам: об областной, городской, районных организациях ВЛКСМ, крупных комитетах с правами райкомов, первичных комсомольских организациях. В сборнике огромное количество иллюстраций. Старшему поколению это издание напомнит об активной, творческой юности, а молодежи даст возможность узнать о комсомоле из серьезного и объемного источника, а не только из обрывочных публикаций в СМИ или Интернете. Особый интерес книга может представлять для современных организаторов молодежного движения.

**Лавров И. На любви и восхищении. Избранная проза, документы, фотографии, письма, автографы.** — Новосибирск: Новосибирский миниатюрист, 2018. — 436 с.

Эта книга издана клубом «Новосибирский миниатюрист», существующим при Новосибирском обществе книголю-

бов с 1991 года. Она продолжает серию «Забывшие литературные имена», в которой ранее уже вышли сборники Алексея Ачаира, Вивиана Итина, Кондратия Тупикова (Урманова), «Венок героям» (стихи поэтов-сибиряков, погибших в Великую Отечественную войну). Как известно, к миниатюрным изданиям относят книги размером не более ста миллиметров по длинной стороне. Крошечный сборник Ильи Лаврова, буквально помещающийся на ладони, содержит главы из романа-воспоминания «Мои бессонные ночи», избранные рассказы и миниатюры, а также некоторые документы, фотографии, письма и автографы сибирского писателя из фондов Городского центра истории Новосибирской книги. В заключение приводятся основные вехи его жизненного пути. Составитель, автор вступительной статьи и примечаний — известный новосибирский литературовед, критик и публицист А. В. Горшенин.

**Павловская А. Станция Марс. Сборник стихотворений. — Москва: Арт Хаус медиа, 2018. — 102 с.**

Станция Марс у Анны Павловской — некое таинственное пространство, где встречаются и проникают друг в друга бытие и небытие, миф, прабывь. Это место не привязано к земле, но на ракете до него не долететь, разве что птицы мистическим образом находят туда дорогу. Для человека, наделенного поэтическим даром, оно не менее реально, чем тот мир, где вынужденно обитает его тело. Пространство это соткано из предчувствий посмертной судьбы, тоски по ушедшим близким, отчаяния, надежды и других столь тонких и мимолетных чувств, что им и названия-то в человеческом языке не подобрать. Тем более что у каждого станция Марс своя.

Читатели «Сибирских огней» уже знакомы с творчеством Анны Павловской, в журнале неоднократно публиковались подборки ее стихотворений.

**Право на «ссылку»: современная сибирская критика. Сборник статей участников семинара, организованного журналом «Сибирские огни» в 2017 г. — Новосибирск, 2018. — 106 с.**

Книга появилась в результате общения и совместной работы молодых критиков, живущих в разных городах Сибири. В августе 2017 г. они впервые встретились на семинаре в рамках Всесибирского литературного совещания, организованного редакцией журнала «Сибирские огни» (при поддержке министерства культуры Новосибирской области, администрации Ордынского района и бизнес-группы «NORDАЗИЯ»), где в процессе общения «пришли к парадоксальному, на первый взгляд, выводу: можно говорить о наличии сибирских критиков — людей, профессионально пишущих о литературе, и одновременном отсутствии сибирской критики как таковой». Последнее обусловлено тем, что культурные центры Сибири: Красноярск, Омск, Томск, Новосибирск и прочие — обладают каждый своей особой аурой и живущие в них критики неминуемо привязаны к местной специфике. Участники семинара создали в интернет-пространстве «Сибирскую критическую школу», где среди прочих задач стараются выработать некие общие принципы, которые можно будет положить в основу понятия «сибирская критика».

Сборник намеренно полифоничен, в нем представлены рецензии, юбилейные заметки, интервью, обзоры, критические очерки, потому что только так, по мнению его составителей, и можно говорить о современной сибирской литературной жизни.

*Лариса Подистова*

Евгений МАЛИКОВ

## «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

Ошибется тот, кто скажет, что иметь в России фамилию Иванов — все равно что не иметь никакой фамилии. Нет, быть Ивановым в России столь же почетно, сколь славно быть Неизвестным Солдатом в любой точке планеты. Как война безымянными героями, так и Русь Ивановыми держится.

Ивановы — они запредельно русские. По ним можно писать учебники. Именно о них повествуют былины и сказы. Они — и народ сирый, и герои великие. Праведники небесные и грешники отчаянные. Они — наше всё, заостренное во всех направлениях.



Но и среди них есть свои Ивановы — эти уже настолько безбрежны, что и сказать о них затруднительно. Они свидетельствуют за себя сами. А еще чаще о них говорит работа, которая при внешней простоте всегда преисполнена глубочайшего внутреннего напряжения, в ней присутствует та неуловимость, которая посрамляет любителей ложной многозначительности. Она одним — соблазн, другим — искушение. И при этом она — любая.

Я уверен, что падают Ивановы не менее творчески, чем фотографируют. И наоборот, чтобы, не приведи господь, не унижить труд хлебороба...

Есть, например, такой Иванов — новосибирский фотограф, Женя, Евгений Львович.

Его творчество порождает споры. Многие кадры вызывают протест «недоэстетов». Ему не нужно ездить в экспедиции, чтобы изучать жизнь. Его персонажи всегда рядом. Он сам — не божество с фотокамерой, на миг снизошедшее до нас. Он — среди нас. Его фотографии — не только лицо народа, к которому он принадлежит. Они — в той же степени автопортрет. Его герои — это он сам. Новосибирский фотограф Женя Иванов.

Его тайна — утерянный личный номер Неизвестного Солдата.

От обычных зевак Иванова отличает не огромная рыжая борода, а умение выхватить из обыденности сюжет, умение оценить повседневность с точки зрения вечности — и только потом нажать на гашетку фоторужья. Он охотник,



который ведет отстрел без лицензии. Не браконьер, но часть той среды, в которой промышляет. Не гость — всегда хозяин вмещающего ландшафта. Он бережен к окружающему миру, но и беспощаден в мастерстве подметить то, чего «внешнему» не дано.

Мне глубоко симпатичен Евгений Львович как человек, и я с великим трепетом отношусь к его творчеству — чем то близок он мне в той самой части, где спрятаны корни национального.

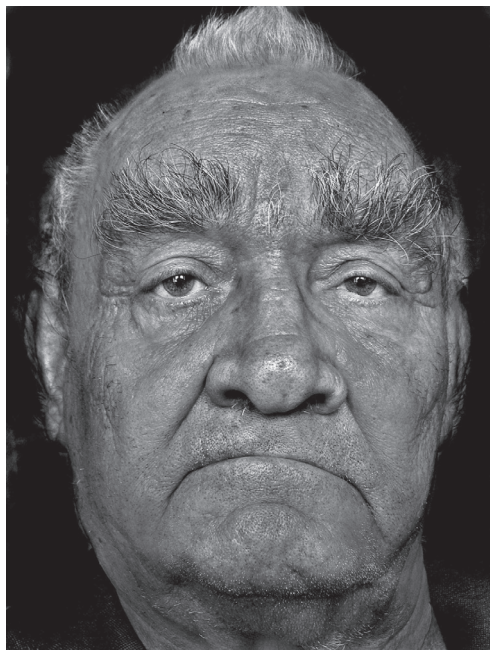
Иванов, как не многие в наши дни, воплотил в своем фотовзгляде не оригинальность эквилибриста, не зубо-скальство массовика-затейника и не презрительную ухмылку постороннего. Он оказался способен увидеть в наших суровых буднях не помойку с отбросами человечества, а бесконечный подвиг русской повседневности — простой героизм жизни, которая не измеряется уровнем потребления, которая благополучна ровно настолько, насколько это нужно для выживания. Здесь борьба за жизнь хотя непрерывна, но все ж не окрашена истерическими тонами, а инстинкт этниче-

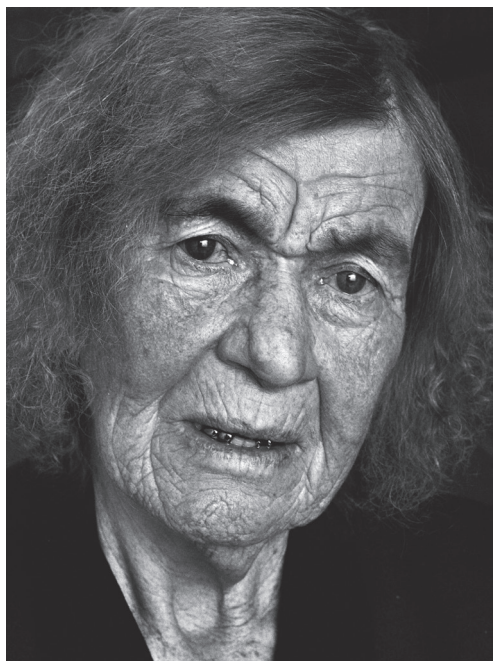
ского самосохранения чаще приносится в жертву всеобщности, чем служит основой для бытоулучшения.

Иванов — мастер с универсальным взглядом. Как истинному художнику, чьи произведения переживут породившее их время, ему удалось не показать, но увидеть нас так, как хотели бы многие, но не сумели. И в этом секрет того, что его фотосерии (а Евгений Иванов предпочитает работать именно в них) неизменно получают высочайшую оценку специалистов.

Сам Иванов принадлежит к тому редкому типу художников, чье наследие не отнесешь к горной породе, нуждающейся в кураторском «обогащении». Из Иванова ничего не нужно «лепить» — естественно, он создает свое «полное собрание сочинений», но миру являет лишь избранное, определяет которое сам. И в этом его вкус никогда не подводит.

Он не раз становился призером фотоконкурсов. Он побеждал на «Сибирском фотосалоне» с циклом «Жизнь — игра», на конкурсе «Пресс-фото России» он взял первое место в номинации «Люди — фотопроjekt» за ряд снимков «Мой друг — уличный музыкант». На международной фотобиеннале в Сургуте его «Панорамы частной жизни ветеранов Великой





Отечественной войны» уступили лишь одному выставочному проекту. Но вот зато на фотосалоне «Сибирь-2006» Евгений Львович Иванов получил золотую медаль в номинации «Цветная фотография».

Что же такого в «победном» проекте Иванова, что он заставляет замирать перед ликами стариков, не раз виденных нами на русских улицах? Это время, морщинами отразившееся на народном лице, покрывшее трещинами не только его, но и самую нашу душу.

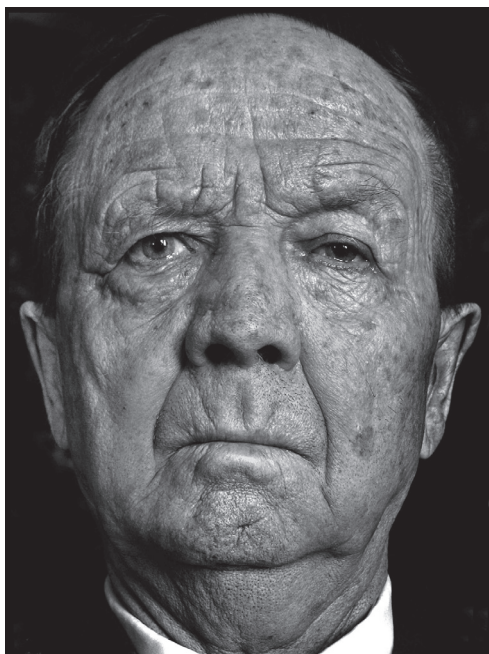
Мы на сломе эпох: с одной стороны подпирает великое прошлое, аскетичное и жертвенное, с другой — нежно душит день настоящий, выдуманный специально для себя обществом потребления. Мы

зажаты между, но у нас всегда есть выбор — растительное существование или «широко закрытые» на трудности глаза.

Ремесло фотографа в случае верного выбора становится парадоксальным, ибо, будучи предельным реализмом, оно обязано отобразить романтику прощания с иллюзией, запечатлеть мечту в трагический момент ее исчезновения.

Мобилизация всех сил на этот заведомо проигранный бой — вот доблесть Неизвестного Солдата, способного сказать миру то, чего тот и слышать не хочет...

Но мы вместе с Евгением Ивановым стараемся докричаться до каждого и доказать, что истинно лишь то, что вечно, а вечно только повседневный героизм эпох тотальных мобилизаций.



**Все представленные в очерке фотографии Евгения Иванова — из серии «Солдаты победы», фотопроект «Память», 2005—2012 гг.**



## АВТОРЫ НОМЕРА

**Безрукова Елена Евгеньевна** родилась в 1976 г. в Барнауле. Окончила юридический факультет Алтайского государственного университета и факультет психологии Томского государственного университета. Публиковалась в журналах «Алтай», «Барнаул», «Сибирские огни», «Роман-журнал. XXI век» и др. Автор четырех поэтических книг. Лауреат премии журнала «Сибирские огни». Живет в Барнауле.

**Бойников Александр Михайлович** родился в 1960 г. в пос. Тетьково Кашинского района Калининской (ныне — Тверской) области. Окончил Калининский государственный университет. Кандидат филологических наук, член Союза писателей России. Автор книг «Поэзия Спиридона Дрожжина», «Аполлон Коринфский: Неизвестные страницы биографии, письма, стихотворения», нескольких сборников литературных памфлетов и фельетонов. Публиковался в столичных и региональных журналах. Живет в Твери.

**Красавина (Гаевская) Екатерина Иосифовна** родилась в 1941 г. в деревне Большая Тесь Новоселовского района Красноярского края. Живет в г. Конаково Тверской области. Публикуется впервые.

**Красногоров Валентин Самуилович** родился в 1934 г. в Ленинграде. Детские годы провел в Сибири, в пос. Юрга. Окончил Таллинский политехнический институт. Доктор технических наук. Драматург, прозаик, публицист, теоретик драмы. Автор более 50 пьес, поставленных в сотнях театров России и многих зарубежных стран. Живет в Санкт-Петербурге.

**Лобанова Елена Александровна** родилась в Краснодаре. Окончила музыкальное училище по классу фортепиано и филологический факультет Кубанского университета. Работала концертмейстером, учителем русского языка, корректором. Публиковалась в журналах «Родная Кубань», «Сибирские огни», «Новый берег», «Аврора» и др. Автор нескольких книг прозы. Член Союза российских писателей. Живет в Краснодаре.

**Лузанов Олег Николаевич** родился в 1964 г. в Курске. Окончил Ленинградское мореходное училище и Курский государственный технический университет. Пенсионер МВД, подполковник милиции. Публиковался в местных СМИ, альманахах «Курские перекрестки», «Современная поэзия и проза Соловьиного края». Лауреат нескольких литературных конкурсов. Автор нескольких сборников поэзии и прозы. Живет в Курске.

**Маликов Евгений Валерьевич** родился в Томске. Окончил физический факультет Томского государственного университета. Работу вузовского преподавателя совмещает с деятельностью публициста и критика. Был репортером и редактором в ряде сибирских изданий, обозревателем отдела «Искусство» в «Литературной газете». Автор ряда книг о балете и оперной режиссуре. Член Союза журналистов России. Живет в Москве.

**Полюга Михаил Юрьевич** родился в 1953 г. в Бердичеве (Украина). Окончил Харьковский юридический институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор 19 книг поэзии и прозы. Публиковался в литературных периодических изданиях Украины, России, Германии, Израиля. Член Национального союза писателей Украины и Союза российских писателей. Живет в Бердичеве.

**Руденко Александр Анатольевич** родился в 1953 г. в Москве. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор ряда поэтических книг, а также книг переводов поэзии. Стихи переводились на болгарский, английский, испанский, французский, немецкий и другие языки. Член Союза писателей России. Почетный член Союза болгарских писателей и Союза переводчиков Болгарии. Лауреат Международной Ботевской премии. Живет в Болгарии и в России.

**Стефанов Илья** родился в 1937 г. в селе Журавка Новосибирской области. Окончил геологоразведочный факультет Томского политехнического института, кандидат наук. Работал на предприятиях, связанных с геологоразведкой месторождений нефти и газа. Автор нескольких поэтических книг и романа в стихах «Золотой ларец». Публиковался в журнале «Новосибирск». Живет в Новосибирске.

**Фроловская Мария** родилась в 1990 г. в Москве. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького и Государственный музыкальный колледж им. Гнесиных. Работает педагогом вокала. Лауреат фестиваля поэзии «Мцыри» и национальной премии «Русские рифмы». Публикуется впервые. Живет в Москве.

**Яранцев Владимир Николаевич** родился в 1958 г. в Калининне. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Гуманитарные науки Сибири», «Сибирские огни». Кандидат филологических наук. Живет в Новосибирске.

# СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА



## МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

**Работают отделы:**

**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

**Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

### ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

**630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15**

**E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [sibirskieogni.pf](http://sibirskieogni.pf)**

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 05.04.2019. Дата выхода № 5 за 2019 г. в свет 23.05.2019.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.